Тургенев Иван

Новь

Иван Тургенев

НОВЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

"Поднимать следует новь
не поверхностно скользящей сохой,
но глубоко забирающим плугом".
Из записок хозяина - агронома

I

Весною 1868 года, часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый. Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной полураскрытой дверью и, не позвонив в колокольчик, а только шумно вздохнув, ввалился в небольшую темную переднюю.

- Нежданов дома? - крикнул он густым и громким голосом.

- Его нет - я здесь, войдите, - раздался в соседней комнате другой, тоже довольно грубоватый, женский голос.

- Машурина? - переспросил новоприбывший.

- Она самая и есть. А вы - Остродумов?

- Пимен Остродумов,- отвечал тот и, старательно сняв сперва калоши, а потом повесив на гвоздь ветхую шинелишку, вошел в комнату, откуда раздался женский голос.

Низкая, неопрятная, со стенами, выкрашенными мутно-зеленой краской, комната эта едва освещалась двумя запыленными окошками. Только и было в ней мебели, что железная кроватка в углу, да стол посередине, да несколько стульев, да этажерка, заваленная книгами. Возле стола сидела женщина лет тридцати, простоволосая, в черном шерстяном платье, и курила папироску. Увидев вошедшего Остродумова, она молча подала ему свою широкую красную руку. Тот так же молча пожал ее и, опустившись на стул, достал из бокового кармана полусломанную сигару. Машурина дала ему огня - он закурил, и оба, не говоря ни слова и даже не меняясь взглядами, принялись пускать струйки синеватого дыма в тусклый воздух комнаты, уже без того достаточно пропитанный им.

В обоих курильщиках было нечто общее, хотя чертами лица они не походили друг на друга. В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб),

сказывалось что-то честное, и стойкое, и трудолюбивое.

- Видели вы Нежданова? - спросил, наконец, Остродумов.

- Видела; он сейчас придет. Книги в библиотеку понес.

Остродумов сплюнул в сторону.

- Что это он все бегать стал? Никак его не поймаешь.

Машурина достала другую папиросу.

- Скучает,- промолвила она, тщательно ее разжигая.

- Скучает! - повторил с укоризной Остродумов. - Вот баловство! Подумаешь, занятий у нас с ним нету. Тут дай бог все дела обломать как следует - а он скучает!

- Письмо из Москвы пришло? - спросила Машурина погодя немного.

- Пришло... третьего дня.

- Вы читали?

Остродумов только головой качнул.

- Ну... и что же?

- Что? Скоро ехать надо будет. Машурина вынула папиросу изо рта.

- Это отчего же? Там, слышно, идет все хорошо.

- Идет своим порядком. Только человек один подвернулся ненадежный. Так вот... сместить его надо; а не то и вовсе устранить. Да и другие есть дела. Вас тоже зовут.

- В письме?

- Да, в письме.

Машурина встряхнула своими тяжелыми волосами. Небрежно скрученные сзади в небольшую косу, они спереди падали ей на лоб и на брови.

- Ну, что ж! - промолвила она, - коли выйдет распоряжение - рассуждать тут нечего!

- Известно, нечего. Только без денег никак нельзя; а где их взять, самые эти деньги?

Машурина задумалась.

- Нежданов должен достать, - проговорила она вполголоса, словно про себя.

- Я за этим самым и пришел, - заметил Остродумов.

- Письмо с вами? - спросила вдруг Машурина.

- Со мной. Хотите прочесть?

- Дайте... или нет, не нужно. Вместе прочтем... после.

- Верно говорю, - пробурчал Остродумов, - не сомневайтесь.

- Да я и не сомневаюсь.

И оба затихли опять, и только струйки дыма по-прежнему бежали из их безмолвных уст и поднимались, слабо змеясь, над их волосистыми головами.

В передней раздался стук калош.

- Вот он! - шепнула Машурина.

Дверь слегка приотворилась, и в отверстие просунулась голова - но только не голова Нежданова.

То была круглая головка с черными, жесткими волосами, с широким морщинистым лбом, с карими, очень живыми глазками под густыми бровями, с утиным, кверху вздернутым носом и маленьким розовым, забавно сложенным ртом. Головка эта осмотрелась, закивала, засмеялась - причем выказала множество крошечных белых зубков - и вошла в комнату вместе со своим тщедушным туловищем, короткими ручками и немного кривыми, немного хромыми ножками. И Машурина и Остродумов, как только увидали эту головку, оба выразили на лицах своих нечто вроде снисходительного презрения, точно каждый из них внутренно произнес: "А! этот!" и не проронили ни единого слова, даже не пошевельнулись. Впрочем, оказанный ему прием не только не смутил новопоявившегося гостя, но, кажется, доставил ему некоторое удовлетворение.

- Что сие означает? - произнес он пискливым голоском. - Дуэт? Отчего же не трио? И где же главный тенор?

- Вы о Нежданове любопытствуете, господин Паклин? - проговорил с серьезным видом Остродумов.

- Точно так, господин Остродумов: о нем.

- Он, вероятно, скоро прибудет, господин Паклин.

- Это очень приятно слышать, господин Остродумов.

Хроменький человек обратился к Машуриной. Она сидела насупившись и продолжала, не спеша, попыхивать из папироски.

- Как вы поживаете, любезнейшая... любезнейшая. Ведь вот как это досадно! Всегда я забываю, как вас по имени и по отчеству!

Машурина пожала плечами.

- И совсем это не нужно знать! Вам моя фамилия известна. Чего же больше! И что за вопрос: как вы поживаете? Разве вы не видите, что я живу?

- Совершенно, совершенно справедливо! - воскликнул Паклин, раздувая ноздри и подергивая бровями, - не были бы вы живы - ваш покорный слуга не имел бы удовольствия вас здесь видеть и беседовать с вами! Припишите мой вопрос застарелой дурной привычке. Вот и насчет имени и отчества... Знаете: как-то неловко

говорить прямо: Машурина! Мне, правда, известно, что вы и под письмами вашими иначе не подписываетесь, как Бонапарт! - то бишь: Машурина! Но все-таки в разговоре ...

- Да кто вас просит со мной разговаривать?

Паклин засмеялся нервически, как бы захлебываясь.

- Ну, полноте, милая, голубушка, дайте вашу руку, не сердитесь, ведь я знаю: вы предобрая - и я тоже добрый... Ну?..

Паклин протянул руку... Машурина посмотрела на него мрачно - однако подала ему свою.

- Если вам непременно нужно знать мое имя, - промолвила она все с тем же мрачным видом, - извольте: меня зовут Феклой.

- А меня - Пименом, - прибавил басом Остродумов.

- Ах, это очень... очень поучительно! Но в таком случае скажите мне, о Фекла! и вы, о Пимен! скажите мне, отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем как я...

- Машурина находит,- перебил Остродумов,- и неона одна это находит, что, так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя.

Паклин круто повернулся на каблуках.

- Вот она, вот постоянная ошибка людей, которые обо мне судят, почтеннейший Пимен! Во-первых, я не всегда смеюсь, а во-вторых - это ничему не мешает и положиться на меня можно, что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах! Я честный человек, почтеннейший Пимен!

Остродумов промычал что-то сквозь зубы, а Паклин покачал головою и повторил уже без всякой улыбки:

- Нет! я не всегда смеюсь! Я вовсе не веселый человек! Вы посмотрите-ка на меня!

Остродумов посмотрел на него. Действительно, когда Паклин не смеялся, когда он молчал, лицо его принимало выражение почти унылое, почти запуганное; оно становилось забавным и даже злым, как только он раскрывал рот. Остродумов, однако, ничего не сказал.

Паклин снова обратился к Машуриной:

- Ну, а учение как подвигается? Делаете вы успехи в вашем истинно человеколюбивом искусстве? Чай, штука трудная - помогать неопытному гражданину при его первом вступлении на свет божий?

- Ничего, труда нет, коли он немного больше вас ростом, - ответила Машурина, только что сдавшая экзамен на повивальную бабушку, и самодовольно ухмыльнулась.

Года полтора тому назад она, бросив свою родную, дворянскую, небогатую семью в южной России, прибыла в Петербург с шестью целковыми в кармане; поступила в родовспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девица... и очень целомудренная девица. Дело не удивительное! - скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано об ее наружности. Дело удивительное и редкое! - позволим себе сказать мы.

Услышав ее отповедь, Паклин снова рассмеялся.

- Вы молодец, моя милая! - воскликнул он. - Славно меня отбрили! Поделом мне! Зачем я таким карликом остался! Однако где же это пропадает наш хозяин?

Паклин не без умысла переменил предмет разговора. Он никак не мог помириться с крохотным своим ростом, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тем чувствительнее, что он страстно любил женщин. Чего бы он не дал, чтоб нравиться им! Сознание своей мизерной наружности гораздо больнее грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение его в обществе. Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника, ходок по тяжебным делам, аферист. Он управлял имениями, домами и зашиб-таки копейку; но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти. Молодой Паклин (звали его: Сила... Сила Самсоныч, что он также считал насмешкой над собою) воспитывался в коммерческом училище, где отлично выучился немецкому языку.

После различных, довольно тяжелых передряг он попал наконец в частную контору на 1500 рублей серебром годового содержания. Этими деньгами он кормил себя, больную тетку да горбатую сестру. Во время нашего рассказа ему только что пошел двадцать восьмой год. Паклин знался со множеством студентов, молодых людей, которым он нравился своей цинической бойкостью, веселой желчью самоуверенной речи, односторонней, но несомненной начитанностью, без педантизма. Лишь изредка ему доставалось от них. Раз он как-то опоздал на политическую сходку... Войдя, он тотчас начал торопливо извиняться... "Трусоват был Паклин бедный", - запел кто-то в углу - и все расхохотались. Паклин наконец засмеялся сам, хоть и скребло у него на сердце. "Правду сказал, мошенник!" - подумал он про себя. С Неждановым он познакомился в греческой кухмистерской, куда ходил обедать и где выражал подчас весьма свободные и резкие мнения. Он уверял, что главной причиной его демократического настроения была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень.

- Да... именно... где пропадает наш хозяин? - повторил Паклин. - Я замечаю: он с некоторых пор словно не в духе. Уж не влюблен ли он, боже сохрани!

Машурина нахмурилась.

- Он пошел в библиотеку за книгами, а влюбляться ему некогда и не в кого.

"А в вас?" - чуть было не сорвалось с губ у Паклина.

- Я потому желаю его видеть, - промолвил он громко, - что мне нужно переговорить с ним по одному важному делу.

- По какому это делу? - вмешался Остродумов. - По нашему?

- А, может быть, и по вашему... то есть по нашему, общему.

Остродумов хмыкнул. В душе он усомнился, но тут же подумал: "А черт его знает! Вишь, он какой пролаз!"

- Да вот он идет наконец, - проговорила вдруг Машурина - и в ее маленьких, некрасивых глазах, устремленных на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нежное, какое-то светлое, глубокое, внутреннее пятнышко...

Дверь отворилась - и на этот раз, с картузом на голове, со связкой книг под мышкой, вошел молодой человек лет двадцати трех, сам Нежданов.

II

При виде гостей, находившихся в его комнате, он остановился на пороге двери, обвел их всех глазами, сбросил картуз, уронил книги прямо на пол - и, молча добравшись до кровати, прикорнул на ее крае. Его красивое белое лицо, казавшееся еще белее от темно-красного цвета волнистых рыжих волос, выражало неудовольствие и досаду.

Машурина слегка отвернулась и закусила губу; Остродумов проворчал:

- Наконец-то!

Паклин первый приблизился к Нежданову.

- Что с тобой, Алексей Дмитриевич, российский Гамлет? Огорчил кто тебя? Или так - без причины - взгрустнулось?

- Перестань, пожалуйста, российский Мефистофель, - отвечал раздраженно Нежданов. - Мне не до того, чтобы препираться с тобою плоскими остротами.

Паклин засмеялся.

- Ты неточно выражаешься: коли остро, так не плоско, коли плоско, так не остро.

- Ну, хорошо, хорошо... Ты, известно, умница.

- А ты в нервозном состоянии,- произнес с расстановкою Паклин.-

Али в самом деле что случилось?

- Ничего не случилось особенного; а случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно.

- То-то ты в газетах публиковал, что ищешь кондиции и согласен на отъезд,проворчал опять Остродумов.

- И, конечно, с величайшим удовольствием уеду отсюда! Лишь бы нашелся дурак - место предложил!

- Сперва надо здесь свою обязанность исполнить,- значительно проговорила Машурина, не переставая глядеть в сторону.

- То есть? - спросил Нежданов, круто обернувшись к ней. Машурина стиснула губы.

- Вам Остродумов скажет.

Нежданов обернулся к Остродумову. Но тот только крякнул и откашлялся: погоди, мол.

- Нет, не шутя, в самом деле, - вмешался Паклин, - ты узнал что-нибудь, неприятность какую?

Нежданов подскочил на постели, словно его что подбросило.

- Какая тебе еще неприятность нужна? - закричал он внезапно зазвеневшим голосом. - Пол- России с голода помирает, "Московские ведомости" торжествуют, классицизм хотят ввести, студенческие кассы запрещаются, везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь - шагу нам ступить некуда... а ему все мало, он ждет еще новой неприятности, он думает, что я шучу... Басанова арестовали, - прибавил он, несколько понизив тон, - мне в библиотеке сказывали.

Остродумов и Машурина оба разом приподняли головы.

- Любезный друг, Алексей Дмитриевич, - начал Паклин, - ты взволнован дело понятное... Да разве ты забыл, в какое время и в какой стране мы живем? Ведь у нас утопающий сам должен сочинить ту соломинку, за которую ему приходится ухватиться! Где уж тут миндальничать?! Надо, брат, черту в глаза уметь смотреть, а не раздражаться по-ребячьи...

- Ах, пожалуйста, пожалуйста! - перебил тоскливо Нежданов и даже сморщился, словно от боли. - Ты, известное дело, энергический мужчина - ты ничего и никого не боишься...

- Я-то никого не боюсь?! - начал было Паклин.

- Кто только мог выдать Басанова? - продолжал Нежданов, - не понимаю!

- А известное дело - приятель. Они на это молодцы, приятели-то. С

ними держи ухо востро! Был у меня, например, приятель - и, казалось, хороший человек: так обо мне заботился, о моей репутации! Бывало, смотришь: идет ко мне... "Представьте, кричит, какую об вас глупую клевету распустили: уверяют, что вы вашего родного дядюшку отравили, что вас ввели в один дом, а вы сейчас к хозяйке сели спиной - и так весь вечер и просидели! И уж плакала она, плакала от обиды! Ведь этакая чепуха! этакая нелепица! Какие дураки могут этому поверить!" - И что же? Год спустя рассорился я с этим самым приятелем ... И пишет он мне в своем прощальном письме: "Вы, который уморили своего дядю! Вы, который не устыдились оскорбить почтенную даму, севши к ней спиной!.." - и т. д. и т. д. - Вот каковы приятели!

Остродумов переглянулся с Машуриной.

- Алексей Дмитриевич! - брякнул он своим тяжелым басом, - он явно желал прекратить возникавшее бесполезное словоизвержение, - от Василия Николаевича письмо из Москвы пришло.

Нежданов слегка дрогнул и потупился.

- Что он пишет? - спросил он наконец.

- Да вот... нам вот с ней...- Остродумов указал бровями на Машурину,ехать надо.

- Как? и ее зовут?

- Зовут и ее.

- За чем же дело стало?

- Да известно за чем... за деньгами

Нежданов поднялся с кровати и подошел к окну.

- Много нужно?

- Пятьдесят рублей... Меньше нельзя.

Нежданов помолчал.

- У меня теперь их нет, - прошептал он наконец, постукивая пальцами по стеклу, - но... я могу достать. Я достану.Письмо у тебя?

- Письмо-то? Оно... то есть... конечно...

- Да что вы все от меня хоронитесь? - воскликнул Паклин. - Неужто я не заслужил вашего доверия? Если бы я даже не вполне сочувствовал... тому, что вы предпринимаете, - неужто же вы полагаете, что я в состоянии изменить или разболтать?

- Без умысла... пожалуй! - пробасил Остродумов.

- Ни с умыслом, ни без умысла! Вот госпожа Машурина глядит на меня и улыбается... а я скажу...

- Я нисколько не улыбаюсь, - окрысилась Машурина.

- А я скажу, - продолжал Паклин, - что у вас, господа, чутья нет;

что вы не умеете различить, кто ваши настоящие друзья! Человек смеется - вы и думаете: он несерьезный ...

- А то небось нет? - вторично окрысилась Машурина.

- Вы вот, например, - подхватил с новой силой Паклин, на этот раз даже не возражая Машуриной, - вы нуждаетесь в деньгах... а у Нежданова их теперь нет... Так я могу дать.

Нежданов быстро отвернулся от окна.

- Нет... нет... это к чему же? Я достану... Я возьму часть пенсии вперед... Помнится, они остались мне должны. А вот что, Острадумов: покажи-ка письмо.

Остродумов остался сперва некоторое время неподвижным, потом осмотрелся кругом, потом встал, нагнулся всем телом и, засучив панталоны, вытащил из-за голенища сапога тщательно сложенный клочок синей бумаги; вытащив этот клочок, неизвестно зачем подул на него и подал Нежданову.

Тот взял бумажку, развернул ее, прочел внимательно и передал Машуриной. Та сперва встала со стула, потом тоже прочла и возвратила бумажку Нежданову, хотя Паклин протягивал за нею руку.

Нежданов пожал плечом и передал таинственное письмо Паклину. Паклин в свою очередь пробежал глазами бумажку и, многозначительно сжав губы, торжественно и тихо положил ее на стол. Тогда Остродумов взял ее, зажег большую спичку, распространившую сильный запах серы, и сперва высоко поднял бумажку над головою, как бы показывая ее всем присутствовавшим, сжег ее дотла на спичке, не щадя своих пальцев, и бросил пепел в печку. Никто не произнес слова, никто даже не пошевелился в течение этой операции. Глаза у всех были опущены. Остродумов имел вид сосредоточенный и дельный, лицо Нежданова казалось злым, в Паклине проявилось напряжение; Машурина - священнодействовала.

Так прошло минуты две... Потом всем стало немного неловко. Паклин первый почувствовал необходимость нарушить безмолвие.

- Так что же? - начал он. - Принимается моя жертва на алтарь отечества или нет? Позволяется мне поднести если не все пятьдесят, то хоть двадцать пять или тридцать рублей на общее дело?

Нежданов вдруг вспыхнул весь. Казалось, в нем накипела досада... Торжественное сжигание письма ее не уменьшило - она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу.

- Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно... не нужно! Я этого не допущу и не приму. Я достану деньги, я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи !

- Ну, брат, - промолвил Паклин, - я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ!

- Скажи прямо, что я аристократ!

- Да ты и точно аристократ... до некоторой степени.

Нежданов принужденно засмеялся.

- То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын. Напрасно трудишься, любезный... Я и без тебя этого не забываю.

Паклин всплеснул руками.

- Алеша, помилуй, что с тобою! Как можно так понимать мои слова! Я не узнаю тебя сегодня. - Нежданов сделал нетерпеливое движение головой и плечами. - Арест Басанова тебя расстроил, но ведь он сам так неосторожно вел себя...

- Он не скрывал своих убеждений, - сумрачно вмешалась Машурина, - не нам его осуждать!

- Да; только ему следовало бы тоже подумать о других, которых он теперь скомпрометировать может.

- Почему вы так о нем полагаете?..- загудел в свою очередь Остродумов. Басанов человек с характером твердым; он никого не выдаст. А что до осторожности... знаете что? Не всякому дано быть осторожным, господин Паклин!

Паклин обиделся и хотел было возразить, но Нежданов остановил его.

- Господа! - воскликнул он, - сделайте одолжение, бросимте на время политику!

Наступило молчание.

- Я сегодня встретил Скоропихина, - заговорил наконец Паклин, - нашего всероссийского критика, и эстетика, и энтузиаста. Что за несносное создание! Вечно закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей... Половой на бегу заткнул ее пальцем вместо пробки, в горлышке застрял пухлый изюм - она все брызжет и свистит, а как вылетит из нее вся пена - на дне остается всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но причиняет одну лишь резь... Превредный для молодых людей индивидуй!

Сравнение, употребленное Паклиным, хотя верное и меткое, не вызвало улыбки ни на чьем лице. Один Остродумов заметил, что о молодых людях, которые способны интересоваться эстетикой, жалеть нечего, даже если Скоропихин и собьет их с толку.

- Но помилуйте, постойте, - воскликнул с жаром Паклин, - он тем более горячился, чем менее встречал себе сочувствия, - тут вопрос,

положим, не политический, но все-таки важный. Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведение уж по тому самому не годится никуда, что оно старо... Да в таком случае художество, искусство вообще - не что иное, как мода, и говорить серьезно о нем не стоит! Если в нем нет ничего незыблемого, вечного - так черт с ним! В науке, в математике, например: не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? Вы готовы признать их авторитет, а Рафаэль или Моцарт - дураки? И ваша гордость возмущается против их авторитета? Законы искусства труднее уловить, чем законы науки... согласен; но они существуют - и кто их не видит, тот слепец; добровольный или недобровольный - все равно!

Паклин умолк... и никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали - точно всем было немножко совестно за него. Один Остродумов проворчал:

- И все-таки я тех молодых людей, которых сбивает Скоропихин, нисколько не жалею.

"А ну вас с богом! - подумал Паклин. - Уйду!"

Он пришел было к Нежданову с тем, чтобы сообщить ему свои соображения насчет доставки "Полярной звезды" из-за границы ("Колокол" уже не существовал), но разговор принял такой оборот, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Паклин уже взялся за шапку, как вдруг, без всякого предварительного шума и стука, в передней раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука которого веяло чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным.

- Господин Нежданов дома?

Все переглянулись в изумлении.

- Дома господин Нежданов? - повторил баритон.

- Дома, - отвечал наконец Нежданов.

Дверь отворилась скромно и плавно, и, медленно снимая вылощенную шляпу с благообразной, коротко остриженной головы, в комнату вошел мужчина лет под сорок, высокого росту, стройный и величавый. Одетый в прекраснейшее драповое пальто с превосходнейшим бобровым воротником, хотя апрель месяц уже близился к концу, он поразил всех - Нежданова, Паклина, даже Машурину... даже Остродумова! - изящной самоуверенностью осанки и ласковым спокойствием привета. Все невольно поднялись при его появлении.

III

Изящный мужчина подошел к Нежданову и, благосклонно

осклабясь, проговорил:

- Я уже имел удовольствие встретиться и даже беседовать с вами, господин Нежданов, третьего дня, если изволите припомнить, - в театре. (Посетитель остановился, как бы выжидая; Нежданов слегка кивнул головою и покраснел.) Да!.. а сегодня я явился к вам вследствие объявления, помещенного вами в газетах... Я бы желал переговорить с вами, если только не стесню господ присутствующих (посетитель поклонился Машуриной и повел рукой, облеченной в сероватую шведскую перчатку, в направлении Паклина и Остродумова) и не помешаю им...

- Нет... отчего же... - отвечал не без некоторого труда Нежданов. Эти господа позволят... Не угодно ли вам присесть?

Посетитель приятно перегнул стан и, любезно взявшись за спинку стула, приблизил его к себе, но не сел, - так как все в комнате стояли, - а только повел кругом своими светлыми, хотя и полузакрытыми глазами.

- Прощайте, Алексей Дмитрич,- проговорила вдруг Машурина, - я зайду после.

- И я, - прибавил Остродумов. - Я тоже... после. Минуя посетителя и как бы в пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вон, никому не поклонившись. Остродумов отправился вслед за нею, без нужды стуча сапогами и даже фыркнув раза два: "Вот, мол, тебе, бобровый воротник!" Посетитель проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором. Он устремил его потом на Паклина, как бы ожидая, что и тот последует примеру двух удалившихся людей; но Паклин, на лице которого с самого появления незнакомца засветилась особенная сдержанная улыбка, отошел в сторону и приютился в уголку. Тогда посетитель опустился на стул. Нежданов сел тоже.

- Моя фамилия - Сипягин, может быть, слыхали, - с горделивой скромностью начал посетитель.

Но прежде следует рассказать, каким образом Нежданов встретился с ним в театре.

По случаю приезда Садовского из Москвы давали пьесу Островского "Не в свои сани не садись". Роль Русакова была, как известно, одной из любимых ролей знаменитого актера. Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер; но в ту минуту как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова три рублевых ассигнации: "Им (то

есть Нежданову), вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо; так вы дайте мне, пожалуйста, поскорей билет в первом ряду... мне к спеху!" - "Извините, господин офицер, - промолвил резким голосом Нежданов, - я сам желаю взять билет в первом ряду", - и тут же бросил в окошко три рубля - весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет - и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александринского театра.

Он был плохо одет, - без перчаток, в нечищеных сапогах, чувствовал себя смущенным и досадовал на, себя за самое это чувство. Возле него, с правой стороны, - сидел усеянный звездами генерал; с левой - тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого два дня спустя так взволновало Машурину и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова, как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное; Сипягин, напротив, бросал на него хотя косвенные, но не враждебные взоры. Все лица, окружавшие Нежданова, казались, во-первых, более особами, нежели лицами; во-вторых они все очень хорошо знали друг друга и менялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаниями и приветами - иные опять-таки через голову Нежданова; а он сидел неподвижно и неловко в своем широком, покойном кресле, точно пария какой. Горько, и стыдно, и скверно было у него на душе; мало наслаждался он комедией Островского и игрою Садовского. И вдруг - о, чудо! - во время одного антракта сосед его с левой стороны - не звездоносный генерал, а другой, без всякого знака отличия на груди, заговорил с ним учтиво и мягко, с какой-то заискивавшей снисходительностью. Он заговорил о пьесе Островского, желая узнать от Нежданова как от "одного из представителей молодого поколения", какое было его мнение о ней? Изумленный, чуть не испуганный, Нежданов отвечал сперва отрывисто и односложно... даже сердце у него застучало; но потом ему стало досадно на себя: с чего это он волнуется? Не такой же ли он человек, как все? И он пустился излагать свое мнение, не стесняясь, без утайки, под конец даже так громко и с таким увлечением, что явно обеспокоивал соседа-звездоносца.

Нежданов был горячим поклонником Островского; но при всем уважении к таланту, выказанному автором в комедии "Не в свои сани не садись", не мог одобрить в ней явное желание унизить цивилизацию в карикатурном лице Вихорева. Учтивый сосед слушал его с большим вниманием, с участием - и в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии Островского, а вообще о разных

житейских, научных и даже политических предметах. Он, очевидно, интересовался своим молодым и красноречивым собеседником. Нежданов по-прежнему не только не стеснялся, но даже несколько наддавал, как говорится, пару. "Коли, мол, любопытствуешь - так на же вот!" В соседе-генерале он возбуждал уже не простое беспокойство, а негодование и подозрительность. По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно распростился с Неждановым - но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя. Дожидаясь кареты на лестнице, он столкнулся с хорошим своим приятелем, флигель-адъютантом князем Г.

- Я смотрел на тебя из ложи, - сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы, - знаешь ли ты, с кем ты это беседовал?

- Нет, не знаю; ты?

- Неглупый небось малый, а?

- Очень неглупый; кто он такой?

- Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул по-французски: - Мой брат. Да; он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу ... Отец никак этого не ожидал - оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу... il lui a fait un sort... Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой... получил, опять-таки по милости отца, хорошее воспитание. Только совсем с толку сбился, республиканец какой-то... Мы его не принимаем... Il est impossible! Однако прощай; мою карету кричат.

- Князь удалился, а на следующий день Сипягин прочел в "Полицейских ведомостях" объявление, помещенное Неждановым, и поехал к нему...

- Моя фамилия - Сипягин, - говорил он Нежданову, сидя перед ним на соломенном стуле и озаряя его своим внушительным взглядом,- я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат; у меня один сын - девяти лет; мальчик, скажу прямо, очень даровитый. Большую часть лета и осени мы проводим в деревне, в С...ой губернии, в пяти верстах от губернского города. Так вот: не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакации, учить моего сына российскому языку и истории - тем предметам, о которых вы упоминаете в вашем объявлении? Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом... Согласны вы? В таком случае остается только узнать ваши условия, хотя я не полагаю, прибавил Сипягин с легкой ужимкой, - чтобы на этот счет могли возникнуть у нас с вами какие-

либо затруднения.

Во все время, пока Сипягин говорил, Нежданов неотступно глядел на него, на его небольшую, несколько назад закинутую головку, на его узкий и низкий, но умный лоб, тонкий римский нос, приятные глаза, правильные губы, с которых так и лилась умильная речь, на его длинные, на английский манер, висячие бакены глядел и недоумевал. "Что это такое? - думал он. - Зачем этот человек словно заискивает во мне? Этот аристократ - и я?! Как мы сошлись? И что его привело ко мне?" [лдн-книги1]

Он до того погрузился в свои думы, что не разинул рта даже тогда, когда Сипягин, окончив свою речь, умолк, ожидая ответа. Сипягин скользнул взглядом в угол, где, пожирая его глазами не хуже Нежданова, приютился Паклин. "Уж не присутствие ли этого третьего лица мешало Нежданову высказаться?" Сипягин возвел брови горе, как бы подчиняясь странности той обстановки, в которую попал, по собственной, впрочем, воле, - и, вслед за бровями возвысив голос, повторил свой вопрос.

Нежданов встрепенулся.

- Конечно, - заговорил он несколько торопленным образом, - я... согласен... с охотой... хотя я должен признаться ... что не могу не чувствовать некоторого удивления ... так как у меня нет никакой рекомендации... да и самые мнения, которые я высказал третьего дня в театре, должны были скорей отклонить вас...

- В этом вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексей ... Алексей Дмитрич! так, кажется? - промолвил, осклабясь, Сипягин. - Я, смею сказать, известен как человек убеждений либеральных, прогрессивных; и напротив, ваши мнения, за устранением всего того, что в них свойственно молодости, склонной - не взыщите! - к некоторому преувеличению, эти ваши мнения нисколько не противоречат моим - и даже нравятся мне своим юношеским жаром!

Сипягин говорил без малейшей запинки: как мед по маслу, катилась его круглая, плавная речь.

- Жена моя разделяет мой образ мыслей,- продолжал он, - ее воззрения, быть может, даже ближе подходят к вашим, чем к моим; понятное дело: она моложе! Когда на другой день после нашего свидания я прочел в газетах ваше имя, которое вы, замечу кстати, против общего обыкновения опубликовали вместе с вашим адресом (а узнал я ваше имя уже в театре), то... это... этот факт меня поразил. Я увидал в нем - в этом сопоставлении - некий... извините суеверность выражения... некий, так сказать, перст рока!

Вы упомянули о рекомендации; но мне никакой рекомендации не нужно. Ваша наружность, ваша личность возбуждают мою симпатию. Сего мне довольно. Я привык верить своему глазу. Итак - я могу надеяться? Вы согласны?

- Согласен... конечно... - отвечал Нежданов, - и постараюсь оправдать ваше доверие. Только об одном позвольте мне теперь же вас предуведомить: быть учителем вашего сына я готов, но не гувернером. Я на это не способен - да и не хочу закабалиться, не хочу лишиться моей свободы.

Сипягин легонько повел по воздуху рукою, как бы отгоняя муху.

- Будьте спокойны, мой любезнейший... Вы не из той муки из которой пекутся гувернеры; да мне гувернера и не нужно. Я ищу учителя - и нашел его. Ну, а как же условия? Денежные условия? презренный металл?

Нежданов затруднялся, что сказать...

- Послушайте, - промолвил Сипягин, нагнувшись вперед всем корпусом и ласково тронув концами пальцев колено Нежданова, - между порядочными людьми подобные вопросы разрешаются двумя словами. Предлагаю вам сто рублей в месяц; путевые издержки туда и назад, конечно, на мой счет. Вы согласны?

Нежданов опять покраснел.

- Это гораздо больше, чем я намерен был запросить... потому что... я Прекрасно, прекрасно... - перебил Сипягин Я смотрю на это дело как на решенное... а на вас - как на домочадца. - Он приподнялся со стула и вдруг весь повеселел и распустился, словно подарок получил. Во всех его движениях проявилась некоторая приятная фамильярность и даже шутливость. - Мы уезжаем на днях, - заговорил он развязным тоном, - я люблю встречать весну в деревне, хотя я, по роду своих занятий, прозаический человек и прикован к городу... А потому позвольте считать первый ваш месяц начиная с нынешнего же дня. Жена моя с сыном теперь уже в Москве. Она отправилась вперед. Мы их найдем в деревне... на лоне природы. Мы с вами поедем вместе... холостяками... Хе, хе! - Сипягин кокетливо и коротко посмеялся в нос. - А теперь...

Он достал из кармана пальто серебряный с чернью портфельчик и вынул оттуда карточку.

- Вот мой здешний адрес. Зайдите - хоть завтра. Так... часов в двенадцать. Мы еще потолкуем. Я разовью вам кое-какие свои мысли насчет воспитания... Ну и день отъезда мы решим. - Сипягин взял руку Нежданова. - И знаете что? прибавил он, понизив голос и искоса

поставив голову. - Если вы нуждаетесь в задатке... Пожалуйста, не церемоньтесь! Хоть месяц вперед!

Нежданов просто не знал, что отвечать, - и с тем же недоуменьем глядел на это светлое, приветное - и в то же время столь чуждое лицо, которое так близко на него надвинулось и так снисходительно улыбалось ему.

- Не нуждаетесь? а? - шепнул Сипягин.

- Я, если позволите, вам это завтра скажу, - произнес наконец Нежданов.

- Отлично! Итак - до свиданья! До завтра! - Сипягин выпустил руку Нежданова и хотел было удалиться ...

- Позвольте вас спросить, - промолвил вдруг Нежданов, - вы вот сейчас сказали мне, что уже в театре узнали, как меня зовут. От кого вы это узнали?

- От кого? Да от одного вашего хорошего знакомого и, кажется, родственника, князя... князя Г.

- Флигель-адъютанта?

- Да; от него.

Нежданов покраснел - сильнее прежнего - и раскрыл рот... но ничего не сказал. Сипягин снова пожал ему руку, только молча на этот раз - и, поклонившись сперва ему, а потом Паклину, надел шляпу перед самой дверью и вышел вон, унося на лице своем самодовольную улыбку; в ней выражалось сознание глубокого впечатления, которое не мог не произвести его визит.

IV

Не успел Сипягин перешагнуть порог двери, как Паклин соскочил со стула и, бросившись к Нежданову, принялся его поздравлять.

- Вот какого ты осетра залучил! - твердил он, хихикая и топоча ногами. Ведь это ты знаешь ли кто? Известный Сипягин, камергер, в некотором роде общественный столп, будущий министр!

- Мне он совершенно неизвестен, - угрюмо промолвил Нежданов.

Паклин отчаянно взмахнул руками.

- В том-то и наша беда, Алексей Дмитрич, что мы никого не знаем! Хотим действовать, хотим целый мир кверху дном перевернуть, а живем в стороне от самого этого мира, водимся только с двумя-тремя приятелями, толчемся на месте, в узеньком кружке...

- Извини, - перебил Нежданов, - это неправда. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения.

- Стой, стой, стой, стой! - в свою очередь, перебил Паклин. - Во-

первых, что касается врагов, то позволь тебе припомнить стих Гете:

Wer den Dichter will versteh'n,
Muss in Dichter's Lande geh'n...

а я говорю:

Wer die Feinde will versteh'n
Muss in Feindes Lande geh'n...

Чуждаться врагов своих, не знать их обычая и быта - нелепо! Не... ле... по!.. Да! да! Коли я хочу подстрелить волка в лесу - я должен знать все его лазы... Во-вторых, ты вот сейчас сказал: сближаться с народом... Душа моя! В тысяча восемьсот шестьдесят втором году поляки уходили "до лясу" - в лес; и мы уходим теперь в тот же лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!

- Так что ж, по-твоему, делать?

- Индийцы бросаются под колесницу Джаггернаута, - продолжал Паклин мрачно, - она их давит, и они умирают - в блаженстве. У нас есть тоже свой Джаггернаут... Давить-то он нас давит, но блаженства не доставляет.

- Так что ж, по-твоему, делать? - повторил чуть не с криком Нежданов. Повести с "направлением" писать, что ли?

Паклин расставил руки и наклонил головку к левому плечу.

- Повести - во всяком случае - писать ты бы мог, так как в тебе есть литературная жилка... Ну, не сердись, не буду! Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали; но я с тобою согласен: сочинять этакие штучки с "начинкой", да еще с новомодными оборотами: "Ах! я вас люблю ! - подскочила она...", "Мне все равно! - почесался он" - дело куда невеселое! Оттого-то я и повторяю: сближайтесь со всеми сословиями, начиная с высшего! Не все же полагаться на одних Остродумовых! Честные они, хорошие люди - зато глупы! глупы!! Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы от сапогов - и те не такие, какие бывают у умных людей! Ведь отчего он сейчас ушел отсюда? Он не хотел остаться в одной комнате, дышать одним воздухом с аристократом!

- Прошу тебя не отзываться так об Остродумове при мне, - с запальчивостью подхватил Нежданов. - Сапоги он носит толстые, потому что они дешевле.

- Я не в том смысле, - начал было Паклин...

- Если он не хочет остаться в одной комнате с аристократом, - продолжал, возвысив тон, Нежданов, - то я его хвалю за это; а главное: он собой пожертвовать сумеет, - и, если нужно, на смерть пойдет, чего мы с тобой никогда не сделаем!

Паклин скорчил жалкую рожицу и указал на хроменькие, тоненькие свои ножки.

- Где же мне сражаться, друг мой, Алексей Дмитрич! Помилуй! Но в сторону все это... Повторяю: я душевно рад твоему сближению с господином Сипягиным и даже предвижу большую пользу от этого сближения - для нашего дела. Ты попадешь в высший круг! Увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в "Письмах об Испании"; изучай их, брат, изучай! Если б ты был эпикурейцем, я бы даже боялся за тебя... право! Но ведь ты не с этой целью едешь на кондицию!

- Я еду на кондицию, - подхватил Нежданов, - чтобы зубов не положить на полку... "И чтоб от вас всех на время удалиться", - прибавил он про себя.

- Ну, конечно! конечно! Потому я и говорю тебе: изучай! Какой, однако, запах за собою этот барин оставил! - Паклин потянул воздух носом. - Вот оно, настоящее-то "амбре", о котором мечтала городничиха в "Ревизоре"!

- Он обо мне князя Г. расспрашивал, - глухо заговорил Нежданов, снова уткнувшись в окно,- ему, должно быть, теперь вся моя история известна.

- Не должно быть, а наверное! Что ж такое? Пари держу, что ему именно от этого и пришла в голову мысль взять тебя в учители. Что там ни толкуй, а ведь ты сам аристократ - по крови. Ну и значит свой человек! Однако я у тебя засиделся; мне пора в мою контору, к эксплуататорам ! До свидания, брат!

Паклин подошел было к двери, но остановился и вернулся.

- Послушай, Алеша,- сказал он вкрадчивым тоном, - ты мне вот сейчас отказал - у тебя теперь деньги будут, я знаю, но все-таки позволь мне пожертвовать, хотя малость на общее дело! Ничем другим не могу, так хоть карманом! Смотри: я кладу на стол десятирублевую бумажку! Принимается?

Нежданов ничего не отвечал и не пошевельнулся.

- Молчание - знак согласия! Спасибо! - весело воскликнул Паклин и исчез.

Нежданов остался один... Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо.

Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя Г., богача, генерал-адъютанта, и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов. Первоначальное воспитание Нежданов

получил в пансионе одного швейцарца, дельного и строгого педагога, - а потом поступил в университет. Сам он желал сделаться юристом; но генерал, отец его, ненавидевший нигилистов, пустил его "по эстетике", как с горькой усмешкой выражался Нежданов, то есть по историко-филологическому факультету. Отец Нежданова виделся с ним всего три-четыре раза в год, но интересовался его судьбою и, умирая, завещал ему - "в память Настеньки" (его матери) - капитал в 6000 рублей серебром, проценты с которого, под именем "пенсии", выдавались ему его братьями, князьями Г.

Паклин недаром обзывал его аристократом; все в нем изобличало породу: маленькие уши, руки, ноги, несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос, слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен; фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность; но прирожденное великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе.

Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, он силился быть циничным и грубым на словах; идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий в одно и то же время, он, как позорного порока, стыдился и этой робости своей, и своего целомудрия и считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежное и чуждался людей; легко озлоблялся - и никогда не помнил зла. Он негодовал на своего отца за то, что тот пустил его "по эстетике"; он явно, на виду у всех, занимался одними политическими и социальными вопросами, исповедовал самые крайние мнения (в нем они не были фразой!) - и втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи. Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их, и из петербургских друзей только Паклин, и то по свойственному ему чутью, подозревал ее существование. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную слабость.

По милости воспитателя-швейцарца, он знал довольно много фактов и не боялся труда; он даже охотно работал - несколько, правда, лихорадочно и непоследовательно. Товарищи его любили... их привлекала его внутренняя правдивость, и доброта, и чистота; но не под счастливой звездою родился Нежданов; нелегко ему жилось.

Он сам глубоко это чувствовал - и сознавал себя одиноким, несмотря на привязанность друзей.

Он продолжал стоять перед окном - и думал, грустно и тяжко думал о предстоявшей ему поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы... Он не жалел о Петербурге; он не оставлял в нем ничего особенно ему дорогого; притом же он знал, что вернется к осени. А все-таки раздумье его брало: он ощущал невольную унылость.

"Какой я учитель! - приходило ему в голову, - какой педагог?!" Он готов был упрекнуть себя в том, что принял обязанность преподавателя. А между тем подобный упрек был бы несправедлив. Нежданов обладал достаточными сведениями и, несмотря на его неровный нрав, дети шли к нему без принужденья и он сам легко привязывался к ним. Грусть, овладевшая Неждановым, была то чувство, присущее всякой перемене местопребывания, чувство, которое испытывают все меланхолики, все задумчивые люди; людям характера бойкого, сангвинического, оно незнакомо: они скорей готовы радоваться, когда нарушается повседневный ход жизни, когда меняется ее обычная обстановка. Нежданов до того углубился в свои думы, что понемногу, почти бессознательно, начал их передавать словами; бродившие в нем ощущения уже складывались в мерные созвучия...

- Фу ты, черт! - воскликнул он громко, - я, кажется, собираюсь стихи сочинять! - Он встрепенулся, отошел от окна; увидав лежащую на столе десятирублевую бумажку Паклина, сунул ее в карман и принялся расхаживать по комнате.

- Надо будет взять задаток, - размышлял он сам с собою, - благо этот барин предлагает. Сто рублей... да у братьев - у их сиятельств - сто рублей... Пятьдесят на долги, пятьдесят или семьдесят на дорогу... а остальные Остродумову. Да вот, что Паклин дал, - тоже ему... Да еще с Меркулова надо будет что-нибудь получить...

Пока он вел в голове эти расчеты - прежние созвучия опять зашевелились в нем. Он остановился, задумался... и, устремив глаза в сторону, замер на месте... Потом руки его, как бы ощупью, отыскали и открыли ящик стола, достали из самой его глубины исписанную тетрадку...

Он опустился на стул, все не меняя направления взгляда, взял перо и, мурлыча себе под нос, изредка взмахивая волосами, перечеркивая, марая, принялся выводить строку за строкою...

Дверь в переднюю отворилась наполовину - и показалась голова Машуриной. Нежданов не заметил ее и продолжал свою работу. Машурина долго, пристально посмотрела на него - и, направо и налево покачав головою, подалась назад... Но Нежданов вдруг выпрямился, оглянулся и, промолвив с досадой:

- А! Вы! - швырнул тетрадку в ящик стола.

Тогда Машурина твердой поступью вошла в комнату.

- Остродумов прислал меня к вам, - проговорила она с расстановкой, - за тем, чтобы узнать, когда можно будет получить деньги. - Если вы сегодня достанете, так мы сегодня же вечером уедем.- Сегодня нельзя, - возразил Нежданов и нахмурил брови, - приходите завтра.

- В котором часу?

- В два часа.

- Хорошо.

Машурина помолчала немного и вдруг протянула руку Нежданову...

- Я, кажется, вам помешала; извините меня. Да притом ... я вот уезжаю. Кто знает, увидимся ли мы? Я хотела проститься с вами.

Нежданов пожал ее красные холодные пальцы.

- Вы видели у меня этого господина? - начал он. - Мы с ним условились. Я еду к нему на кондицию. Его имение в С...ой губернии, возле самого С.

По лицу Машуриной мелькнула радостная улыбка.

- Возле С.! Так мы, может быть, еще увидимся. Может быть, нас туда пошлют. - Машурина вздохнула. - Ах, Алексей Дмитрич...

- Что? - спросил Нежданов.

Машурина приняла сосредоточенный вид.

- Ничего. Прощайте! Ничего.

Она еще раз стиснула Нежданову руку и удалилась.

"А во всем Петербурге никто ко мне так не привязан, как эта...

чудачка! подумалось Нежданову. - Но нужно ж ей было мне помешать... Впрочем, все к лучшему!"

Утром следующего дня Нежданов отправился на городскую квартиру Сипягина, и там, в великолепном кабинете, наполненном мебелью строгого стиля, вполне сообразной с достоинством либерального государственного мужа и джентльмена, сидя перед громадным бюро, на котором в стройном порядке лежали никому и ни на что не нужные бумаги, рядом с исполинскими ножами из слоновой кости, никогда ничего не разрезывавшими, - он в течение целого часа выслушивал свободомыслящего хозяина, обдавался елеем его мудрых, благосклонных, снисходительных речей, получил наконец сто рублей задатка, а десять дней спустя тот же Нежданов, полулежа на бархатном диване в особом отделении первоклассного вагона, о бок с тем же мудрым, либеральным государственным мужем и джентльменом, мчался в Москву по тряским рельсам Николаевской дороги.

V

В гостиной большого каменного дома с колоннами и греческим фронтоном, построенного в двадцатых годах нынешнего столетия известным агрономом и "дантистом" - отцом Сипягина, жена его, Валентина Михайловна, очень красивая дама, ждала с часу на час прибытия мужа, возвещенного телеграммой. Убранство гостиной носило отпечаток новейшего, деликатного вкуса: все в ней было мило и приветно, все, от приятной пестроты кретонных обоев и драпри до разнообразных очертаний фарфоровых, бронзовых, хрустальных безделушек, рассыпанных по этажеркам и столам, все мягко и стройно выдавалось - и сливалось - в веселых лучах майского дня, свободно струившихся сквозь высокие, настежь раскрытые окна. Воздух гостиной, напоенный запахом ландышей (большие букеты этих чудесных весенних цветов белели там и сям), по временам едва колыхался, возмущенный приливом легкого ветра, тихо кружившего над пышно раскинутым садом. Прелестная картина! И сама хозяйка дома, Валентина Михайловна Сипягина, довершала эту картину, придавала ей смысл и жизнь. Это была высокого росту женщина, лет тридцати, с темно-русыми волосами, смуглым, но свежим, одноцветным лицом, напоминавшим облик Сикстинской Мадонны, с удивительными, глубокими, бархатными глазами. Ее губы были немножко широки и бледны, плечи немного высоки, руки немного велики... Но за всем тем всякий, кто бы увидал, как она свободно и грациозно двигалась по гостиной, то наклоняя к цветам свой тонкий, едва перетянутый стан и с улыбкой нюхая их, то переставляя какую-

нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя перед зеркалом свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, - всякий, говорим мы, наверное, воскликнул бы про себя или даже громко, что он не встречал более пленительного создания!

Хорошенький кудрявый мальчик лет девяти, в шотландском костюме, с голыми ножками, сильно напомаженный и завитой, вбежал стремительно в гостиную и внезапно остановился при виде Валентины Михайловны.

- Что тебе, Коля? - спросила она. Голос у ней был такой же мягкий и бархатный, как и глаза.

- Вот что, мама, - начал с замешательством мальчик, - меня тетушка прислала сюда... велела принести ландышей ... для ее комнаты... у нее нету...

Валентина Михайловна взяла своего сынишку за подбородок и приподняла его напомаженную головку.

- Скажи тетушке, чтобы она послала за ландышами к садовнику; а эти ландыши - мои... Я не хочу, чтобы их трогали. Скажи ей, что я не люблю, чтобы нарушались мои порядки. Сумеешь ли ты повторить мои слова?

- Сумею... - прошептал мальчик.

- Ну-ка скажи.

- Я скажу... я скажу... что ты не хочешь.

Валентина Михайловна засмеялась. И смех у нее был мягкий.

- Я вижу, тебе еще нельзя давать никаких поручений. Ну, все равно, скажи, что вздумается.

Мальчик быстро поцеловал руку матери, всю украшенную кольцами, и стремглав бросился вон.

Валентина Михайловна проводила его глазами, вздохнула, подошла к золоченой проволочной клетке, по стенкам которой, осторожно цепляясь клювом и лапками, пробирался зеленый попугайчик, подразнила его концом пальца; потом, опустилась на низкий диванчик и, взявши с круглого резного столика последний No "Revue des Deux Mondes", принялась его перелистывать.

Почтительный кашель заставил ее оглянуться. На пороге двери стоял благообразный слуга в ливрейном фраке и белом галстуке.

- Чего тебе, Агафон? - спросила Валентина Михайловна все тем же мягким голосом.

- Семен Петрович Калломейцев приехали-с. Прикажете принять?

- Проси; разумеется, проси. Да вели сказать Марианне Викентьевне, чтобы она пожаловала в гостиную.

Валентина Михайловна бросила на столик No "Revue des Deux Mondes" и, прислонившись к спинке дивана, подняла глаза кверху и задумалась, что очень к ней шло.

Уже по тому, как Семен Петрович Калломейцев, молодой мужчина лет тридцати двух, вошел в комнату - развязно, небрежно и томно; как он вдруг приятно просветлел, как поклонился немного вбок и как эластически выпрямился потом; как заговорил не то в нос, не то слащаво; как почтительно взял, как внушительно поцеловал руку Валентины Михайловны - уже по всему этому можно было догадаться, что новоприбывший гость не был житель провинции, не деревенский, случайный, хоть и богатый сосед, а настоящий петербургский "гранжанр" высшего полета. К тому же и одет он был на самый лучший английский манер: цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки; на довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая лорнетка; бледно-матовый тон шведских перчаток соответствовал бледно-серому колеру клетчатых панталон.

Острижен был г-н Калломейцев коротко, выбрит гладко; лицо его, несколько женоподобное, с небольшими, близко друг к другу поставленными глазками, с тонким вогнутым носом, с пухлыми красными губками, выражало приятную вольность высокообразованного дворянина. Оно дышало приветом... и весьма легко становилось злым, даже грубым: стоило кому-нибудь, чем-нибудь задеть Семена Петровича, задеть его консерваторские, патриотические и религиозные принципы о! тогда он делался безжалостным! Все его изящество испарялось мгновенно; нежные глазки зажигались недобрым огоньком; красивый ротик выпускал некрасивые слова - и взывал, с писком взывал к начальству!

Фамилия Семена Петровича происходила от простых огородников. Прадед его назывался по месту происхождения: Коломенцов... Но уже дед его переименовал себя в Коломейцева; отец писал: Калломейцев, наконец Семен Петрович поставил букву на место е - и, не шутя, считал себя чистокровным аристократом; даже намекал на то, что их фамилия происходит, собственно, от баронов фон Галленмейер, из коих один был австрийским фельдмаршалом в Тридцатилетнюю войну. Семен Петрович служил в министерстве двора, имел звание камер-юнкера; патриотизм помешал ему пойти по дипломатической части, куда, казалось, все его призывало: и воспитание, и привычка к свету, и успехи у женщин, и самая наружность... mais quitter? - la Russie? - jamais! У Калломейцева было хорошее состояние, были

связи; он слыл за человека надежного и преданного - "un peu trop... feodal dans ses opinions", - как выражался о нем известный князь Б., одно из светил петербургского чиновничьего мира. В С...ю губернию Калломейцев приехал на двухмесячный отпуск, чтобы хозяйством позаняться, то есть "кого пугнуть, кого поприжать". Ведь без этого невозможно!

- Я полагал, что найду уже здесь Бориса Андреича, - начал он, любезно покачиваясь с ноги на ногу и внезапно глядя вбок, в подражание одному очень важному лицу.

Валентина Михайловна слегка прищурилась.

- А то бы вы не приехали?

Калломейцев даже назад запрокинулся, до того вопрос г-жи Сипягиной показался ему несправедливым и ни с чем не сообразным!

- Валентина Михайловна! - воскликнул он, - помилуйте, возможно ли предполагать...

- Ну, хорошо, хорошо, садитесь, Борис Андреич сейчас здесь будет. Я за ним послала коляску на станцию. Подождите немного... Вы увидите его. Который теперь час?

- Половина третьего, - промолвил Калломейцев, вынув из кармана жилета большие золотые часы, украшенные эмалью. Он показал их Сипягиной. - Вы видели мои часы? Мне их подарил Михаил, знаете... сербский князь... Обренович. Вот его шифр - посмотрите. Мы с ним большие приятели. Вместе охотились. Прекрасный малый! И рука железная, как следует правителю. О, он шутить не любит! Не...хе...хет!

Калломейцев опустился на кресло, скрестил ноги и начал медленно стаскивать свою левую перчатку.

- Вот нам бы здесь, в нашей губернии, такого Михаила!

- А что? Вы разве чем недовольны?

Калломейцев наморщил нос.

- Да все это земство! Это земство! К чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает... лишние мысли (Калломейцев поболтал в воздухе обнаженной левой рукой, освобожденной от давления перчатки)... и несбыточные надежды (Калломейцев подул себе на руку). Я говорил об этом в Петербурге... mais, bah! Ветер не туда тянет. Даже супруг ваш... представьте! Впрочем, он известный либерал!

Сипягина выпрямилась на диванчике.

- Как? И вы, мсье Калломейцев, вы делаете оппозицию правительству?

- Я? Оппозицию? Никогда! Ни за что! Mais j'ai mon franc parler. Я иногда критикую, но покоряюсь всегда!

- А я так напротив: не критикую - и не покоряюсь.

- Ah!, mais c'est un mot! Я, если позволите, сообщу ваше замечание моему другу - Ladislas, vous savez, он собирается написать роман из большого света и уже прочел мне несколько глав. Это будет прелесть! Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-meme.

- Где это появится?

- Конечно, в "Русском вестнике". Это наша "Revue des Deux Mondes". Я вот вижу, вы ее читаете.

- Да; но, знаете ли, она очень скучна становится.

- Может быть... может быть... И "Русский вестник", пожалуй, тоже, - с некоторых пор, говоря современным языком, - крошечку подгулял.

Калломейцев засмеялся во весь рот; ему показалось, что это очень забавно сказать "подгулял" да еще "крошечку".

- Mais c'est un journal qui se respecte - продолжал он. - А это главное. Я, доложу вам, я... русской литературой интересуюсь мало; в ней теперь все какие-то разночинцы фигюрируют. Дошли наконец до того, что героиня романа кухарка, простая кухарка, parole d'honneur! Но роман Ладисласа я прочту непременно. Il y aura le petit mot pour rire... и направление! направление! Нигилисты будут посрамлены - в этом мне порукой образ мыслей Ладисласа, qui est tres correct.

- Но не его прошедшее, - заметила Сипягина.

- Ah! jetons un voile sur les erreurs de sa jeunesse! - воскликнул Калломейцев и стащил правую перчатку.

Госпожа Сипягина опять слегка прищурилась. Она немного кокетничала своими удивительными глазами.

- Семен Петрович, - промолвила она, - позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что... извините меня... это устарелая манера.

- Зачем? зачем? Не все же так отлично владеют родным наречьем, как, например, вы. Что касается до меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных; я дорожу его чистотою! Перед Карамзиным я склоняюсь!.. Но русский, так сказать, ежедневный язык... разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание de tout a l"heure: ""C"est un mot?!"" - Это слово?! Помилуйте!

- Я бы сказала: это - удачное слово.

Калломейцев засмеялся.

- "Удачное слово"! Валентина Михайловна! Да разве вы не чувствуете, что тут... семинарией сейчас запахло ... Всякая соль исчезла...

- Ну, вы меня не переубедите. Да что же это Марианна?! - Она позвонила в колокольчик; вошел казачок.

- Я велела попросить Марианну Викентьевну сойти в гостиную. Разве ей не доложили?

Казачок не успел ответить, как за его спиной на пороге двери появилась молодая девушка, в широкой темной блузе, остриженная в кружок, Марианна Викентьевна Синецкая, племянница Сипягина по матери.

VI

- Извините меня, Валентина Михайловна, - сказала она, приблизившись к Сипягиной, - я была занята и замешкалась.

Потом она поклонилась Калломейцеву и, отойдя немного в сторону, села на маленькое патэ, в соседстве попугайчика, который, как только увидел ее, захлопал крыльями и потянулся к ней.

- Зачем же это ты так далеко села, Марианна, - заметила Сипягина, проводив ее глазами до самого патэ. - Тебе хочется быть поближе к твоему маленькому другу? Представьте, Семен Петрович,- обратилась она к Калломейцеву, попугайчик этот просто влюблен в нашу Марианну ...

- Это меня не удивляет!

- А меня терпеть не может.

- Вот это удивительно! Вы его, должно быть, дразните?

- Никогда; напротив. Я его сахаром кормлю. Только он из рук моих ничего не берет. Нет... это симпатия... и антипатия...

Марианна исподлобья глянула на Сипягину... и Сипягина глянула на нее.

Эти две женщины не любили друг друга.

В сравнении с теткой Марианна могла казаться почти "дурнушкой". Лицо она имела круглое, нос большой, орлиный, серые, тоже большие и очень светлые глаза, тонкие брови, тонкие губы. Она стригла свои русые густые волосы и смотрела букой. Но от всего ее существа веяло чем-то сильным и смелым, чем-то стремительным и страстным. Ноги и руки у ней были крошечные; ее крепко и гибко сложенное маленькое тело напоминало флорентийские статуэтки XVI века; двигалась она стройно и легко.

Положение Синецкой в доме Сипягиных было довольно тяжелое. Ее отец, очень умный и бойкий человек полупольского происхождения, дослужился генеральского чина, но сорвался вдруг, уличенный в громадной казенной краже; его судили... осудили, лишили чинов, дворянства, сослали в Сибирь.

Потом простили... вернули; но он не успел выкарабкаться вновь и умер в крайней бедности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Марианны (кроме ее, у нее не было детей), не перенесла удара, разгромившего все ее благосостояние, и умерла вскоре после мужа. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя в доме. Но жить в зависимости было ей тошно; она рвалась на волю всеми силами неподатливой души - и между ее теткою и ею кипела постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считала ее нигилисткой и безбожницей; с своей стороны, Марианна ненавидела в Сипягиной свою невольную притеснительницу. Дяди она чуждалась, как и всех других людей. Она именно чуждалась их, а не боялась; нрав у нее был не робкий.

- Антипатия, - повторил Калломейцев, - да, это странная вещь. Всем, например, известно, что я глубоко религиозный человек, православный в полном смысле слова; а поповскую косичку, пучок - видеть не могу равнодушно: так и закипает во мне что-то, так и закипает!

Калломейцев при этом даже представил, поднявши раза два сжатую руку, как у него в груди закипает.

- Вас вообще волосы беспокоят, Семен Петрович, - заметила Марианна, - я уверена, что вы тоже не можете видеть равнодушно, если у кого они острижены, как у меня.

Сипягина медленно приподняла брови и преклонила голову, как бы удивляясь той развязности, с которой нынешние молодые девушки вступают в разговор, а Калломейцев снисходительно осклабился.

- Конечно, - промолвил он, - я не могу не сожалеть о тех прекрасных кудрях, подобных вашим, Марианна Викентьевна, которые падают под безжалостным лезвием ножниц; но антипатии во мне нет; и во всяком случае... ваш пример мог бы меня... меня... конвертировать!

Калломейцев не нашел русского слова, а по-французски не хотел говорить после замечания хозяйки.

- Слава богу, Марианна у меня еще очков не носит, - вмешалась Сипягина, и с воротничками и с рукавчиками пока еще не рассталась; зато естественными науками, к искреннему моему сожалению, занимается; и женским вопросом интересуется тоже... Не правда ли, Марианна?

Все это было сказано с целью смутить Марианну; но она не смутилась.

- Да, тетушка, - отвечала она, - я читаю все, что об этом написано; я стараюсь понять, в чем состоит этот вопрос.

- Что значит молодость! - обратилась Сипягина к Калломейцеву,- вот мы с вами уже этим не занимаемся, а?

Калломейцев сочувственно улыбнулся: надо ж было поддержать веселую шутку любезной дамы.

- Марианна Викентьевна, - начал он, - исполнена еще тем идеализмом... тем романтизмом юности... который ... со временем...

- Впрочем, я клевещу на себя, - перебила его Сипягина, - вопросы эти меня интересуют тоже. Я ведь не совсем еще состарилась.

- И я всем этим интересуюсь, - поспешно воскликнул Калломейцев, - только я запретил бы об этом говорить!

- Запретили бы об этом говорить? - переспросила Марианна.

- Да! Я бы сказал публике: интересоваться не мешаю ... но говорить... тссс! - Он поднес палец к губам. - Во всяком случае, печаьтно говорить запретил бы! безусловно!

Сипягина засмеялась.

- Что ж? по-вашему, не комиссию ли назначить при министерстве для разрешения этого вопроса?

- А хоть бы и комиссию. Вы думаете, мы бы разрешили этот вопрос хуже, чем все эти голодные щелкоперы, которые дальше своего носа ничего не видят и воображают, что они... первые гении? Мы бы назначили Бориса Андреевича председателем.

Сипягина еще пуще засмеялась.

- Смотрите, берегитесь; Борис Андреич иногда таким бывает якобинцем...

- Жако, жако, жако, - затрещал попугай.

Валентина Михайловна махнула на него платком.

- Не мешай умным людям разговаривать!.. Марианна, уйми его.

Марианна обернулась к клетке и принялась чесать ногтем попугайчика по шее, которую тот ей тотчас подставил.

- Да, - продолжала Сипягина, - Борис Андреич иногда меня самое удивляет. В нем есть жилка... жилка... трибуна.

- C'est parce qu'il est orateur! - сгоряча подхватил по-французски Калломейцев. - Ваш муж обладает даром слова, как никто, ну и блестеть привык... ses propres paroles le grisent, а к тому же и желание популярности...Впрочем, он теперь несколько рассержен, не правда ли? Il boude? Eh?

Сипягина повела глазами на Марианну.

- Я ничего не заметила, - промолвила она после небольшого молчания.

- Да, - продолжал задумчивым тоном Калломейцев, - его немножко

обошли на Святой.

Сипягина опять указала ему глазами на Марианну.

Калломейцев улыбнулся и прищурился: "Я, мол, понял" .

- Марианна Викентьевна! - воскликнул он вдруг, без нужды громко, - вы в нынешнем году опять намерены давать уроки в школе?

Марианна отвернулась от клетки.

- И это вас интересует, Семен Петрович?

- Конечно; очень даже интересует.

- Вы бы этого не запретили?

- Нигилистам запретил бы даже думать о школах; а под руководством духовенства - и с надзором за духовенством - сам бы заводил!

- Вот как! А я не знаю, что буду делать в нынешнем году. В прошлом все так дурно шло. Да и какая школа летом!

Когда Марианна говорила, она постепенно краснела, как будто ее речь ей стоила усилия, как будто она заставляла себя ее продолжать. Много еще в ней было самолюбия.

- Ты не довольно подготовлена? - спросила Сипягина с ироническим трепетанием в голосе.

- Может быть.

- Как! - снова воскликнул Калломейцев. - Что я слышу!! О боги! Для того, чтобы учить крестьянских девочек азбуке, - нужна подготовка?

Но в эту минуту в гостиную с кликом: "Мама, мама! папа едет!" - вбежал Коля, а вслед за ним, переваливаясь на толстых ножках, появилась седовласая дама в чепце и желтой шали и тоже объявила, что Боренька сейчас будет!

Эта дама была тетка Сипягина, Анна Захаровна по имени. Все находившиеся в гостиной лица повскакали с своих мест и устремились в переднюю, а оттуда спустились по лестнице на главное крыльцо. Длинная аллея стриженых елок вела от большой дороги прямо к этому крыльцу; по ней уже скакала коляска, запряженная четверней. Валентина Михайловна, стоявшая впереди всех, замахала платком, Коля запищал пронзительно; кучер лихо осадил разгоряченных лошадей, лакей слетел кубарем с козел да чуть не вырвал дверец коляски вместе с петлями и замком - и вот, с снисходительной улыбкой на устах, в глазах, на всем лице, одним ловким движением плеч сбросив с себя шинель, Борис Андреевич спустился на землю. Валентина Михайловна красиво и быстро вскинула ему обе руки вокруг шеи - и трижды с ним поцеловалась. Коля топотал ногами и

дергал отца сзади за полы сюртука... но тот сперва облобызался с Анной Захаровной, предварительно сняв с головы пренеудобный и безобразный шотландский дорожный картуз, потом поздоровался с Марианной и Калломейцевым, которые тоже вышли на крыльцо (Калломейцеву он дал сильный английский shakehands, "в раскачку" - словно в колокол позвонил) - и только тогда обратился к сыну; взял его под мышки, поднял и приблизил к своему лицу.

Пока все это происходило, из коляски, тихонько, словно виноватый, вылез Нежданов и остановился близ переднего колеса, не снимая шапки и посматривая исподлобья ... Валентина Михайловна, обнимаясь с мужем, зорко глянула через его плечо на эту новую фигуру; Сипягин предупредил ее, что привезет с собою учителя.

Все общество, продолжая меняться приветами и рукопожатиями с прибывшим хозяином, двинулось вверх по лестнице, уставленной с обеих сторон главными слугами и служанками. К ручке они не подходили - эта "азиатщина" была давно отменена - и только кланялись почтительно, а Сипягин отвечал их поклонам больше бровями и носом, чем головою.

Нежданов тоже поплелся вверх по широким ступеням. Как только он вошел в переднюю, Сипягин, который уже искал его глазами, представил его жене, Анне Захаровне, Марианне; а Коле сказал: "Это твой учитель. Прошу его слушаться! Подай ему руку!" Коля робко протянул руку Нежданову, потом уставился на него; но, видно, не найдя в нем ничего особенного или приятного, снова ухватился за своего "папу". Нежданов чувствовал себя неловко, так же, как тогда в театре. На нем было старое, довольно невзрачное пальто; дорожная пыль насела ему на все лицо и на руки. Валентина Михайловна сказала ему что-то любезное, но он хорошенько не расслышал ее слов и не отвечал, а только заметил, что она особенно светло и ласково взирала на своего мужа и жалась к нему.

В Коле ему не понравился его завитой, напомаженный хохол; при виде Калломейцева он подумал: "Экая облизанная мордочка!" - а на другие лица он вовсе не обратил внимания. Сипягин раза два с достоинством повертел головою, как бы осматривая свои пенаты, причем удивительно отчеканивались его длинные висячие бакенбарды и несколько крутой, маленький затылок.

Потом он сильным, вкусным, от дороги нисколько не охрипшим голосом крикнул одному из лакеев: "Иван! проводи господина учителя в зеленую комнату да чемодан их туда снеси", - и объявил Нежданову, что он может теперь отдохнуть, и разобраться, и почиститься - а обед у

них в доме подают ровно в пять часов. Нежданов поклонился и отправился вслед за Иваном в "зеленую" комнату, находившуюся во втором этаже.

Все общество перешло в гостиную. Там еще раз повторились приветствия; полуслепая старушка-нянька явилась с поклоном. Этой, из уважения к ее летам, Сипягин дал поцеловать свою руку и, извинившись перед Калломейцевым, удалился в спальню, сопровождаемый своей супругой.

VII

Обширная и опрятная комната, в которую слуга ввел Нежданова, выходила окнами в сад. Они были раскрыты, и легкий ветер слабо надувал белые шторы: они округлялись, как паруса, приподнимались и падали снова. По потолку тихо скользили золотистые отблески; во всей комнате стоял весенний, свежий, немного сырой запах. Нежданов начал с того, что услал слугу, выложил вещи из чемодана, умылся и переоделся. Путешествие его уморило; двухдневное постоянное присутствие человека незнакомого, с которым он говорил много, разнообразно - и бесплодно, раздражило его нервы; что-то горькое, не то скука, не то злость, тайно забралось в самую глубь его существа; он негодовал на свое малодушие - а сердце все ныло!

Он подошел к окну и стал глядеть на сад. То был прадедовский черноземный сад, какого не увидишь по сию сторону Москвы. Расположенный по длинному скату пологого холма, он состоял из четырех ясно обозначенных отделений. Перед домом, шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными прямыми дорожками, группами акаций и сиреней и круглыми "клумбами"; налево, минуя конный двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома возвышались большим сплошным четырехугольником липовые скрещенные аллеи. Направо вид преграждался дорогой, заслоненной двойным рядом серебристых тополей; из-за купы плакучих берез виднелась крутая крыша оранжереи. Весь сад нежно зеленел первой красою весеннего расцветания; не было еще слышно летнего, сильного гуденья насекомых; молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да две горлинки ворковали все на одном и том же дереве, да куковала одна кукушка, перемещаясь всякий раз, да издалека, из-за мельничного пруда, приносился дружный грачиный гам, подобный скрипу множества тележных колес.

И надо всей этой молодою, уединенной, тихой жизнью, округляя свои груди, как большие, ленивые птицы, тихо плыли светлые облака.

Нежданов глядел, слушал, втягивал воздух сквозь раскрытые, похолодевшие губы...

И ему словно легче становилось; тишина находила и на него.

А между тем внизу, в спальне, речь шла тоже о нем. Сипягин рассказывал жене, как он с ним познакомился, и что ему сказал князь Г., и какие разговоры они вели во время путешествия.

- Умная голова! - повторял он, - и с сведениями; правда, он красный, да ведь у меня, ты знаешь, это ничего не значит; по крайней мере, у этих людей есть амбиция. Да и Коля слишком молод; никаких глупостей он от него не переймет.

Валентина Михайловна слушала своего мужа с ласковой и в то же время насмешливой улыбкой, точно он каялся ей в немного странной, но забавной выходке; ей даже как будто приятно было, что ее "seigneur et maitre", такой солидный человек и важный чиновник, все еще в состоянии вдруг взять да выкинуть шалость, не хуже двадцатилетнего. Стоя перед зеркалом в белой как снег рубашке, в голубых шелковых помочах, Сипягин принялся причесывать свою голову на английский фасон, в две щетки; а Валентина Михайловна, взобравшись с ботинками на турецкую низкую кушетку, начала сообщать ему разные сведения о хозяйстве, о бумажной фабрике, которая - увы! - не шла так хорошо, как бы следовало, о поваре, которого надо будет переменить, о церкви, с которой свалилась штукатурка, о Марианне, о Калломейцеве ...

Между обоими супругами существовало нелицемерное доверие и согласие; они действительно жили в "любви и совете", как говаривалось в старину; и когда Сипягин, окончив свой туалет, рыцарски попросил у Валентины Михайловны "ручку", когда она подала ему обе и с нежной гордостью глядела, как он попеременно целовал их, - то чувство, которое выразилось на лицах у обоих, было чувство хорошее и правдивое, хотя у ней оно светилось в очах, достойных Рафаэля, а у него в простых генеральских "гляделках".

Ровно в пять часов Нежданов сошел вниз к обеду, возвещенному даже не звуком колокола, а протяжным завываньем китайского "гонга". Все общество уже собралось в столовой. Сипягин снова его приветствовал с высоты своего галстука и указал ему место за столом между Анной Захаровной и Колей. Анна Захаровна была перезрелая дева, сестра покойного старика Сипягина; от нее попахивало камфарой, как от залежалого платья, и вид она имела беспокойный и унылый. Она исполняла в доме роль Колиного дядьки или гувернера; ее сморщенное лицо выказало неудовольствие, когда Нежданова

посадили между ею и ее питомцем. Коля сбоку поглядывал на своего нового соседа; умный мальчик скоро догадался, что учителю неловко, что он конфузится: он же не поднимал глаз и почти ничего не ел. Коле это понравилось: он до тех пор боялся, как бы учитель не оказался строгим и сердитым. Валентина Михайловна тоже поглядывала на Нежданова.

"Он смотрит студентом, - думалось ей, - и в свете он не живал, но лицо у него интересное, и оригинальный цвет волос, как у того апостола, которого старые итальянские мастера всегда писали рыжим, и руки чистые". Впрочем, все за столом поглядывали на Нежданова и как бы щадили его, оставляя его в покое на первых порах; он это чувствовал, и был этим доволен, и в то же время почему-то злился. Разговор за столом вели Калломейцев и Сипягин.

Речь шла о земстве, о губернаторе, о дорожной повинности, о выкупных сделках, об общих петербургских и московских знакомых, о только что входившем в силу лицее г-на Каткова, о трудности достать рабочих, о штрафах и потравах, а также о Бисмарке, о войне 66-го года и о Наполеоне III, которого Калломейцев величал молодцом. Юный камер-юнкер высказывал мнения весьма ретроградные; он договорился наконец до того, что привел, правда в виде шутки, тост одного знакомого ему барина за некоторым именинным банкетом: "Пью за единственные принципы, которые признаю, - воскликнул этот разгоряченный помещик, - за кнут и за Редерер!"

Валентина Михайловна наморщила брови и заметила, что эта цитата - de tres mauvais gout.. Сипягин выражал, напротив, мнения весьма либеральные; вежливо и несколько небрежно опровергал Калломейцева; даже подтрунивал над ним.

- Ваши страхи насчет эмансипации, любезный Семен Петрович, - сказал он ему между прочим, - напоминают мне записку, которую наш почтеннейший и добрейший Алексей Иваныч Тверитинов подал в тысяча восемьсот шестидесятом году и которую он всюду читал по петербургским салонам. Особенно хороша была там одна фраза о том, как наш освобожденный мужик непременно пойдет, с факелом в руке, по лицу всего отечества. Надо было видеть, как наш милый Алексей Иванович, надувая щечки и тараща глазенки, произносил своим младенческим ротиком: "Ффакел! ффакел! пойдет с ффакелом!" Ну, вот совершилась эмансипация... Где же мужик с факелом?

- Тверитинов, - возразил сумрачным тоном Калломейцев, - ошибся только в том, что не мужики пойдут с факелами, а другие.

При этих словах Нежданов, который до того мгновения почти не

замечал Марианны - она сидела от него наискось, - вдруг переглянулся с нею и тотчас почувствовал, что они оба, эта угрюмая девушка и он, - одних убеждений и одного пошиба. Она не произвела никакого впечатления на него, когда Сипягин представил его ей; почему же он теперь переглянулся именно с нею? Он тут же поставил себе вопрос: не стыдно ли, не позорно ли сидеть и слушать подобные мнения, и не протестовать и давать своим молчаньем повод думать, что сам их разделяешь? Нежданов вторично глянул на Марианну, и ему показалось, что он в ее глазах прочел ответ на свой вопрос: "Погоди, мол; теперь еще не время... не стоит... после; всегда успеешь..."

Ему приятно было думать, что она его понимает. Он опять прислушался к разговору. Валентина Михайловна сменила своего мужа и высказывалась еще свободнее, еще радикальнее, нежели он. Она не постигала, "решительно не пос... ти... га... ла", как человек образованный и молодой может придерживаться такой застарелой рутины!

- Впрочем, - прибавила она, - я уверена, что вы это говорите только так, для красного словца! Что же касается до вас, Алексей Дмитрич, - обратилась она с любезной улыбкой к Нежданову (он внутренно изумился тому, что его имя и отчество были ей известны), - я знаю, вы не разделяете опасений Семена Петровича: мне Борис передал ваши беседы с ним во время дороги.

Нежданов покраснел, склонился над тарелкой и пробормотал что-то невнятное: он не то чтобы оробел, а не привык он перекидываться речами с такими блестящими особами. Сипягина продолжала улыбаться ему; муж покровительственно поддакивал ей... Зато Калломейцев воткнул, не спеша, свое круглое стеклышко между бровью и носом и уставился на студентика, который осмеливается не разделять его "опасений".

Ну, этим смутить Нежданова было трудно; напротив: он тотчас выпрямился и уставился в свою очередь на великосветского чиновника - и так же внезапно, как почувствовал в Марианне товарища, он в Калломейцеве почувствовал врага! И Калломейцев это почувствовал; выронил стеклышко, отвернулся и попытался усмехнуться... но ничего не вышло; одна Анна Захаровна, тайно благоговевшая перед ним, мысленно стала на его сторону и еще более вознегодовала на непрошеного соседа, отделившего ее от Коли.

Вскоре затем обед кончился. Общество перешло на террасу пить кофе; Сипягин и Калломейцев закурили сигары. Сипягин предложил было одну настоящую регалию Нежданову, но тот отказался.

- Ах, да! - воскликнул Сипягин, - я и забыл: вы курите только свои папиросы!

- Странный вкус, - заметил сквозь зубы Калломейцев.

Нежданов чуть не вспылил. "Разницу между регалией и папиросой я очень хорошо знаю, но я одолжаться не хочу", - чуть не сорвалось у него с языка... Однако он удержался; но тут же занес эту вторую дерзость своему врагу в "дебет".

- Марианна! - вдруг громким голосом промолвила Сипягина, - ты не церемонься перед новым лицом... кури с богом свою пахитоску. Тем более, прибавила она, обращаясь к Нежданову, - что, я слышала, в вашем обществе все барышни курят?

- Точно так-с, - отвечал сухо Нежданов. То было первое слово, сказанное им Сипягиной.

- А я вот не курю, продолжала она, ласково прищурив свои бархатные глаза... - Отстала от века.

Марианна медлительно и обстоятельно, словно назло тетке, достала пахитоску, коробочку со спичками и начала курить. Нежданов тоже закурил папиросу, позаимствовав огня у Марианны.

Вечер стоял чудесный. Коля с Анной Захаровной отправились в сад; остальное общество оставалось еще около часа на террасе, наслаждаясь воздухом. Беседа шла довольно оживленная... Калломейцев нападал на литературу; Сипягин и тут явился либералом, отстаивал ее независимость, доказывал ее пользу, упомянул даже о Шатобриане и о том, что император Александр Павлович пожаловал ему орден св. Андрея Первозванного!

Нежданов не вмешивался в это словопрение; Сипягина посматривала на него с таким выражением, как будто, с одной стороны, она одобряла его скромную воздержность, а с другой - немного удивлялась ей.

К чаю все перешли в гостиную.

- У нас, Алексей Дмитрич, - сказал Сипягин Нежданову, - такая скверная привычка: по вечерам мы играем в карты, да еще в запрещенную игру - в стуколку ... представьте! Я вас не приглашаю... но, впрочем, Марианна будет так добра, сыграет нам что-нибудь на фортепиано. Вы ведь, надеюсь, любите музыку, а? - И, не дожидаясь ответа, Сипягин взял в руки колоду карт. Марианна села за фортепиано и сыграла, ни хорошо ни худо, несколько "песен без слов" Мендельсона. "Charmant! Charmant quel touche!" - закричал издали, словно ошпаренный, Калломейцев; но восклицание это было им пущено более из вежливости, да и Нежданов, несмотря на надежду,

выраженную Сипягиным, никакого пристрастия к музыке не имел.

Между тем Сипягин с женой, Калломейцев, Анна Захаровна уселись за карты... Коля пришел проститься и, получив благословение от родителей да большой стакан молока вместо чаю, отправился спать; отец крикнул ему вслед, что завтра же он начнет свои уроки с Алексеем Дмитричем. Немного спустя увидав, что Нежданов торчит без дела посреди комнаты и напряженно переворачивает листы фотографического альбома, Сипягин сказал ему, чтоб он не стеснялся и шел бы к себе отдохнуть, так как он, вероятно, устал после дороги; что у них в доме главный девиз - свобода!

Нежданов воспользовался данным позволением и, раскланявшись со всеми, пошел вон; в дверях он столкнулся с Марианной и, снова заглянув ей в глаза, снова убедился, что будет с ней как товарищ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови. Он нашел комнату свою всю наполненную душистой свежестью: окна оставались открытыми целый день. В саду, прямо против его окна, коротко и звучно щелкал соловей; ночное небо тускло и тепло краснело над округленными верхушками лип: то готовилась выплыть луна.

Нежданов зажег свечку; ночные серые бабочки так и посыпались из темного сада и пошли на огонь, кружась и толкаясь, а ветер их отдувал и колебал сине-желтое пламя свечи.

"Странное дело! - думал Нежданов, уже лежа в постели. - Хозяева - люди, кажется, хорошие, либеральные, даже гуманные... а томно что-то на душе. Камергер... камер-юнкер... Ну, утро вечера мудренее... Сентиментальничать нечего".

Но в это мгновенье в саду сторож настойчиво и громко застучал в доску и раздался протяжный крик: "Слуша... а... ай!"

- Примеча... а... й! - отозвался другой заунывный голос.

- Фу ты, боже мой! точно в крепости!

VIII

Нежданов проснулся рано и, не дожидаясь появления слуги, оделся и сошел в сад. Очень он был велик и красив, этот сад, и содержался в отличном порядке: нанятые работники скребли лопатами дорожки; в яркой зелени кустов мелькали красные платки на головах крестьянских девушек, вооруженных граблями. Нежданов добрался до пруда; утренний туман с него слетел, но он еще дымился местами - в тенистых излучинах берегов. Невысокое солнце било розовым светом по шелковистому свинцу его широкой глади. Человек пять плотников возилось около плота; тут же колыхалась, слабо переваливаясь с боку

на бок и пуская от себя легкую рябь по воде, новая раскрашенная лодка. Людские голоса звучали редко и сдержанно: ото всего веяло утром, тишиной и споростью утренней работы, веяло порядком и правильностью установленной жизни. И вот, на повороте аллеи, Нежданову предстало само олицетворение порядка и правильности - предстал Сипягин.

На нем был сюртук горохового цвета, вроде шлафрока, и пестрый картуз; он опирался на английскую бамбуковую трость, и только что выбритое лицо его дышало довольством; он шел осматривать свое хозяйство. Сипягин приветливо поздоровался с Неждановым.

- Ага! - воскликнул он, - я вижу, вы из молодых, да ранний! (Он, вероятно, хотел этой не совсем уместной поговоркой выразить свое одобрение Нежданову за то, что тот, так же как и он сам, недолго оставался в постели.) Мы в восемь часов пьем общий чай в столовой, а в двенадцать завтракаем; в десять часов вы дадите Коле ваш первый урок в русском языке, а в два - в истории. Завтра, девятого мая, он именинник и уроков не будет; но сегодня прошу начать!

Нежданов наклонил голову, а Сипягин простился с ним на французский манер, несколько раз сряду быстро поднеся руку к собственным губам и носу, и пошел далее, бойко размахивая тростью и посвистывая - вовсе не как важный чиновник или сановник, а как добрый русский country-gentleman. До восьми часов Нежданов оставался в саду, наслаждаясь тенью старых деревьев, свежестью воздуха, пением птиц; завывания гонга призвали его в дом - и он нашел все общество в столовой. Валентина Михайловна очень ласково обошлась с ним; в утреннем туалете она показалась ему совершенной красавицей. Лицо Марианны выражало обычную сосредоточенность и суровость. Ровно в десять часов произошел первый урок в присутствии Валентины Михайловны: она сперва осведомилась у Нежданова, не будет ли она мешать, и все время очень скромно держала себя.

Коля оказался мальчиком понятливым; после неизбежных первых колебаний и неловкостей урок сошел благополучно. Валентина Михайловна осталась, по-видимому, весьма довольна Неждановым и несколько раз приветливо заговаривала с ним. Он упирался... но не слишком. Валентина Михайловна присутствовала также на втором уроке - из русской истории. Она с улыбкой объявила, что по этому предмету нуждается в наставнике не хуже самого Коли, и так же чинно и тихо держала себя, как в течение первого урока. От двух до пяти Нежданов сидел у себя в комнате, писал письма в Петербург - и чувствовал себя... так себе: скуки не было, не было и тоски; натянутые

нервы понемножку смягчались.

Они напряглись снова во время обеда, хотя Калломейцев отсутствовал и ласковая предупредительность хозяйки не изменялась; но самая эта предупредительность несколько сердила Нежданова. К тому же его соседка, старая девица Анна Захаровна, явно враждовала и дулась, а Марианна продолжала серьезничать, и самый Коля уже слишком бесцеремонно толкал его ногами. Сипягин также казался не в духе. Он был очень недоволен управляющим своей писчебумажной фабрики, немцем, которого нанял за большие деньги. Сипягин принялся бранить вообще всех немцев, причем объявил, что он до некоторой степени славянофил, хоть и не фанатик, и упомянул об одном молодом русском, некоем Соломине, который, по слухам, на отличную ногу поставил фабрику соседа-купца; очень ему хотелось познакомиться с этим Соломиным.

К вечеру приехал Калломейцев, имение которого находилось всего в десяти верстах от "Аржаного" - так называлась деревня Сипягина. Приехал также мировой посредник, помещик из числа тех, которых столь метко охарактеризовал Лермонтов двумя известными стихами:

Весь спрятан в галстук, фрак до пят...

Усы, дискант - и мутный взгляд.

Приехал другой сосед, с унылым, беззубым лицом, но чрезвычайно чисто одетый; приехал уездный доктор, весьма плохой врач, любивший щеголять учеными терминами: он уверял, например, что предпочитает Кукольника Пушкину, потому что в Кукольнике много "протоплазмы". Сели играть в стуколку. Нежданов удалился к себе в комнату - и за полночь читал и писал.

На следующий день, 9-го мая, были Колины именины.

Целым домом, в трех открытых колясках с лакеями на запятках, отправились "господа" к обедне в церковь, а до нее и четверти версты не было. Все произошло очень парадно и пышно. Сипягин возложил на себя ленту; Валентина Михайловна оделась в прелестное парижское платье бледно-сиреневого цвета и в церкви, во время обедни, молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат; книжечка эта смущала иных стариков; один из них не воздержался и спросил у своего соседа: "Что это она, прости господи, колдует, что ли?" Благовоние цветов, наполнявших церковь, сливалось с сильным запахом новых насеренных армяков, дегтярных сапогов и котов - и над теми и другими испарениями удушливо-приятно царил ладан. Дьячки и пономари на клиросах пели удивительно старательно. С помощью присоединившихся к ним фабричных они покусились даже на концерт!

Была минута, когда всем присутствовавшим стало несколько... жутко.

Теноровый голос (он принадлежал фабричному Климу, человеку в злейшей чахотке) выводил один, без всякой поддержки, хроматические минорные и бемольные тоны; они были ужасны, эти тоны, но оборвись они - и весь концерт немедленно бы провалился ... Однако дело... ничего... обошлось. Отец Киприан, священник самой почтенной наружности, с набедренником и камилавкой, произнес проповедь весьма поучительную, по тетрадке; к сожалению, старательный батюшка счел за нужное привести имена какие-то премудреных ассирийких царей, чем весьма себя затруднил в прононсе - и хотя выказал некоторую ученость, однако вспотел же сильно!

Нежданов, давно не бывавший в церкви, забился в уголок между бабами: они только изредка косились на него, истово крестясь, низко кланяясь и степенно утирая носы своих малюток; зато крестьянские девочки, в новых армячонках, с поднизями на лбах, и мальчики, в подпоясанных рубашонках с расшитыми оплечьями и красными ластовицами, внимательно оглядывали нового богомольца, повернувшись прямо к нему лицом... И Нежданов смотрел на них и думал - разные думы.

После обедни, длившейся весьма долго, - молебен Николаю-чудотворцу, как известно, едва ли не самый продолжительный из всех молебнов православной церкви, - все духовенство, по приглашению Сипягина, двинулось к господскому дому и, совершив еще несколько приличных случаю обрядов, окропив даже комнаты святой водой, получило обильный завтрак, в течение которого велись обычные, благонадежные, но несколько утомительные разговоры. И хозяин и хозяйка - хотя в этот час дня никогда не завтракали - однако тут и прикусили и пригубили. Сипягин даже рассказал анекдот, вполне пристойный, но смехотворный, что, при его красной ленте и сановитости, произвело впечатление, можно сказать, отрадное, а в отце Киприане возбудило чувство и благодарности и удивления. В "отместку", а также для того, чтоб показать, что и он при случае может сообщить нечто любознательное, отец Киприан рассказал о своем разговоре с архиереем, когда тот, объезжая епархию, вызвал всех священников уезда к себе в город, в монастырь. - "Он у нас строгий-престрогий, - уверял отец Киприан, сперва расспросит о природе, о порядках, а потом экзамен делает ... Обратился он тоже ко мне. - Твой какой храмовой праздник? - Спаса преображения, говорю. - А тропарь на этот день знаешь? - Еще бы не знать! - Пой! - Ну, я сейчас: "Преобразился еси на горе, Христе боже наш..." - Стой! Что есть преображение и как надо его понимать ? - Одно слово, говорю: хотел Христос ученикам славу свою показать! - Хорошо, говорит; вот тебе от меня образок на память. Я ему в ноги. Благодарю, мол, владыко!.. - Так я от него не тощ вышел".

- Я имею честь лично знать преосвященного, - с важностью заметил Сипягин. - Достойнейший пастырь!

- Достойнейший! - подтвердил и отец Киприан. - Благочинным напрасно только слишком доверяется...

Валентина Михайловна упомянула о крестьянской школе и указала при этом на Марианну как на будущую учительницу; диакон (ему был поручен надзор над школой) - человек атлетического сложения и с длинной волнистой косою, смутно напоминавшей расчесанный хвост орловского рысака, - хотел было выразить свое одобрение; но, не сообразив силы своей гортани, так густо крякнул, что и сам оробел, и других испугал. После этого духовенство скоро удалилось.

Коля, в своей новой курточке с золотыми пуговками, был героем дня: ему делали подарки, его поздравляли, целовали ему руки и с переднего крыльца, и с заднего - фабричные, дворовые, старухи и

девки; мужики, те больше по старой крепостной памяти гудели перед домом вокруг столов, уставленных пирогами и штофами с водкой.

Коля и стыдился, и радовался, и гордился, и робел, и ластился к родителям, и выбегал из комнаты; а за обедом Сипягин велел подать шампанского - и, прежде чем выпить за здоровье сына, произнес спич. Он говорил о том, что значит "служить земле", и по какой дороге он желал бы, чтобы пошел его Николай (он именно так его назвал), и чего вправе ожидать от него: во-первых, семья; во-вторых, сословие, общество; в-третьих, народ - да, милостивые государи, народ, - и в-четвертых, - правительство! Постепенно возвышаясь, Сипягин достиг наконец истинного красноречия, причем, наподобие Роберта Пиля, закладывал руку за фалду фрака; пришел в умиление от слова "наука" и кончил свой спич латинским восклицанием: Laboremus!, которое тут же перевел на русский язык. Коля с бокалом в руке отправился вдоль стола благодарить отца и целоваться со всеми.

Нежданову опять пришлось поменяться взглядами с Марианной... Оба они, вероятно, ощущали одно и то же... Но друг с другом они не говорили.

Впрочем, Нежданову все, что он видел, казалось более смешным и даже занимательным, нежели досадным или противным, а любезная хозяйка, Валентина Михайловна, являлась ему умной женщиной, которая знает, что разыгрывает роль, и в то же время тайно радуется, что есть другое лицо, тоже умное и догадливое, которое ее постигает ...Нежданов, вероятно, сам не подозревал, до какой степени его самолюбие было польщено ее обхождением с ним. На следующий день уроки возобновились, и жизнь побежала обычной колеей.

Неделя прошла незаметно... О том, что испытал, что передумал Нежданов, лучше всего может дать понятие отрывок из его письма к некоему Силину, бывшему его товарищу по гимназии и лучшему его другу. Силин этот жил не в Петербурге, а в отдаленном губернском городе, у зажиточного родственника, от которого зависел вполне. Положение его определилось так, что ему нечего было и думать когда-нибудь вырваться оттуда; человек он был немощный, робкий и недальний, но замечательно чистой души. Политикой он не занимался, почитывал кое-какие книжки, играл от скуки на флейте и боялся барышень.

Силин страстно любил Нежданова - сердце у него было вообще привязчивое. Ни перед кем Нежданов так беззаветно не высказывался, как перед Владимиром Силиным; когда он писал к нему, ему всегда казалось, что он беседует с существом близким и знакомым - но

жильцом другого мира, или с собственной совестью. Нежданов не мог даже представить себе, как бы он снова зажил с Силиным по-товарищески, в одном городе... Он, вероятно, тотчас охладел бы к нему: очень мало было у них общего; но писал он к нему охотно и много - и вполне откровенно. С другими он - на бумаге, по крайней мере - все как будто фальшивил или рисовался; с Силиным - никогда!

Плохо владея пером, Силин отвечал мало, короткими неловкими фразами; но Нежданов и не нуждался в пространных ответах: он знал и без того, что друг его поглощает каждое его слово, как дорожная пыль брызги дождя, хранит его тайны, как святыню, и, затерянный в глухом и безвыходном уединении, только и живет, что его жизнью. Никому в свете Нежданов не говорил о своих сношениях с ним и дорожил ими чрезвычайно.

"Ну, дружище, чистый Владимир! - так писал он ему, он всегда называл его чистым, и недаром! - поздравь меня: попал я на подножный корм и могу теперь отдохнуть и собраться с силами. Я живу на кондиции у богатого сановника Сипягина, учу его сынишку, ем чудесно (я в жизни так не едал!), сплю крепко, гуляю всласть по прекрасным окрестностям - а главное: вышел на время из-под опеки петербургских друзей; и хоть сначала скука грызла лихо, но теперь как будто легче стало. Вскорости придется надеть известную тебе лямку, то есть полезть в кузов, так как я назвался груздем (меня, собственно, затем и отпустили сюда); но пока я могу жить драгоценной животной жизнью, расти в брюхо - и, пожалуй, стихи сочинять, коли приспичит охота. Так называемые наблюдения отлагаются до другого времени: имение мне кажется благоустроенным, вот только разве фабрика подгуляла; отделенные по выкупу мужики какие-то недоступные; нанятые дворовые - уж очень все пристойные физиономии. Но мы это разберем впоследствии.

Хозяева - учтивые, либеральные; барин все снисходит, все снисходит - а то вдруг возьмет и воспарит: преобразованный мужчина! Барыня - писаная красавица и очень, должно быть, себе на уме; так и караулит тебя, - а уж как мягка! Совсем бескостная! Я ее побаиваюсь; ты ведь знаешь, какой я дамский кавалер! Соседи есть - скверные; старуха одна меня притесняет... Но больше всех меня занимает одна девушка, родственница ли, компаньонка ли - господь ее знает! - с которой я почти двух слов не сказал, но в которой я чувствую своего поля ягоду..."

Тут следовало описание наружности Марианны - всей ее повадки; а потом он продолжал:

"Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна - это для меня не подлежит сомнению. Почему она несчастна - этого я до сих пор еще не знаю. Что она натура честная - это мне ясно; добра ли она - это еще вопрос. Да и существуют ли вполне добрые женщины - если они не глупы? И нужно ли это? Впрочем, я женщин вообще мало знаю. Хозяйка ее не любит... И она ей платит тем же... Но кто из них прав - неизвестно. Я полагаю, что скорей хозяйка не права... так как уж очень она вежлива с нею; а у той даже брови нервически подергиваются, когда она говорит с своей патроншей. Да; очень она нервическое существо; это тоже по моей части. И вывихнута она так же, как я, хотя, вероятно, не одним и тем же манером.

Когда все это немножко распутается - напишу тебе...

Она со мной почти никогда не беседует, как я уже сказал тебе; но в немногих ее словах, ко мне обращенных (всегда внезапно и неожиданно), звучит какая-то жесткая откровенность... Мне это приятно.

Кстати, что родственник твой, все еще держит тебя на сухоядении - и не собирается умирать?

Читал ли ты в "Вестнике Европы" статью о последних самозванцах в Оренбургской губернии? В 34-м году это происходило, брат! Журнал я этот не люблю, и автор - консерватор; но вещь интересная и может навести на мысли..."

IX

Май уже перевалился за вторую половину; стояли первые жаркие летние дни. Окончив урок истории, Нежданов отправился в сад, а из сада перешел в березовую рощу, которая примыкала к нему с одной стороны. Часть этой рощи свели купцы лет пятнадцать тому назад; по всем вырубленным местам засел сплошной березняк. Нежно-матовыми серебряными столбиками, с сероватыми поперечными кольцами, стояли частые стволы деревьев; мелкие листья ярко и дружно зеленели, словно кто их вымыл и лак на них навел; весенняя травка пробивалась острыми язычками сквозь ровный слой прошлогодней темно-палевой листвы. Всю рощу прорезали узкие дорожки; желтоносые черные дрозды с внезапным криком, словно испуганные, перелетывали через эти дорожки, низко, над самой землей, и бросались в чащу сломя голову.

Погулявши с полчаса, Нежданов присел наконец на срубленный пень, окруженный серыми, старыми щепками: они лежали кучкой, так, как упали, отбитые когда-то топором. Много раз их покрывал зимний

снег и сходил с них весною, и никто их не трогал. Нежданов сидел спиною к сплошной стене молодых берез, в густой, но короткой тени; он не думал ни о чем, он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому - и в молодом и в старом сердце всегда примешивается грусть...взволнованная грусть ожидания - в молодом, неподвижная грусть сожаления - в старом... Нежданову вдруг послышался шум приближавшихся шагов.

То шел не один человек, и не мужик в лаптях или тяжелых сапогах, и не босоногая баба.

Казалось, двое шли не спеша, мерно...

Женское платье прошуршало слегка... Вдруг раздался глухой голос, голос мужчины:

- Итак, это ваше последнее слово? Никогда?

- Никогда! - повторил другой, женский голос, показавшийся Нежданову знакомым, - и мгновение спустя из-за угла дорожки, огибавшей в этом месте молодой березняк, выступила Марианна в сопровождении человека смуглого, черноглазого, которого Нежданов до того мгновения не видал.

Оба остановились как вкопанные при виде Нежданова; а он до того удивился, что даже не поднялся с пня, на котором сидел... Марианна покраснела до корней волос, но тотчас же презрительно усмехнулась... К кому относилась эта усмешка - к ней самой за то, что она покраснела, или к Нежданову?.. А спутник ее нахмурил свои густые брови и сверкнул желтоватыми белками беспокойных глаз. Потом он переглянулся с Марианной - и оба, повернувшись спиною к Нежданову, пошли прочь, молча, не прибавляя шагу, между тем как он провожал их изумленным взором.

Полчаса спустя он вернулся домой в свою комнату - и, когда, призванный завываньями гонга, вошел в гостиную, он увидал в ней того самого черномазого незнакомца, который наткнулся на него в роще. Сипягин подвел к нему Нежданова и представил его как своего beaufrere'a, брата Валентины Михайловны - Сергея Михайловича Маркелова.

- Прошу вас, господа, любить друг друга и жаловать! - воскликнул Сипягин с столь свойственной ему величественно-приметной и в то же время рассеянной улыбкой.

Маркелов отвесил безмолвный поклон; Нежданов отвечал таковым же... а Сипягин, слегка закидывая назад свою небольшую головку и подергивая плечами, отошел в сторону: "Я, мол, вас свел, а будете ли вы точно любить и жаловать друг друга - это для меня довольно

индифферентно!"

Тогда Валентина Михайловна приблизилась к неподвижно стоявшей чете, снова представила их друг другу - и с особенной, ласковой светлостью взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам, заговорила с братом.

- Что это, cher Serge, ты нас совсем забываешь! Даже на именины Коли не приехал. Или занятий у тебя так много накопилось? Он со своими крестьянами какие-то новые порядки заводит, - обратилась она к Нежданову, преоригинальные: им три четверти всего, а себе одну четверть; и то он еще находит, что много ему достается.

- Сестра любит шутить, - обратился в свою очередь Маркелов к Нежданову, но я готов с ней согласиться, что одному человеку взять четверть того, что принадлежит целой сотне, действительно много.

- А вы, Алексей Дмитриевич, заметили, что я люблю шутить? - спросила Сипягина все с тою же ласковой мягкостью и взора и голоса.

Нежданов не нашелся что ответить; а тут доложили о приезде Калломейцева. Хозяйка пошла к нему навстречу, и несколько минут спустя дворецкий появился и певучим голосом провозгласил, что кушанье готово. За обедом Нежданов невольно все посматривал на Марианну и на Маркелова. Они сидели рядом, оба с опущенными глазами, со стиснутыми губами, с сумрачным и строгим, почти озлобленным выражением лица.

Нежданов особенно дивился тому: каким образом мог Маркелов быть братом Сипягиной? Так мало сходства замечалось между ними. Одно разве: у обоих кожа была смуглая; но у Валентины Михайловны матовый цвет лица, рук и плечей составлял одну из ее прелестей... у ее брата он переходил в ту черноту, которую вежливые люди величают бронзой, но которая русскому глазу напоминает голенище. Волосы Маркелов имел курчавые, нос несколько крючковатый, губы крупные, впалые щеки, втянутый живот и жилистые руки. Весь он был жилистый, сухой - и говорил медным, резким, отрывочным голосом. Сонный взгляд, угрюмый вид - как есть желчевик! Он ел мало, больше катал шарики из хлеба - и лишь изредка вскидывал глазами на Калломейцева, который только что вернулся из города, где видел губернатора - по не совсем приятному для него, Калломейцева, делу, о котором он, впрочем, тщательно умалчивал, - и заливался соловьем.

Сипягин по-прежнему осаживал его, когда он чересчур заносился, но много смеялся его анекдотам и бонмо хотя и находил, qu'il est un affreux reactionnaire".

Калломейцев уверял между прочим, что пришел в совершенный

восторг от названия, которое мужики - oui, oui! les simples mougiks - дают адвокатам. "Брехунцы! брехунцы !- повторял он с восхищением. - Ce peuple russe est delicieux!" Потом он рассказал, как, посетив однажды народную школу, он поставил ученикам вопрос: "Что есть строфокамил?" И так как никто не умел ответить, ни даже сам учитель - то он, Калломейцев, поставил другой вопрос: "Что есть пифик?" - причем привел стих Хемницера: "И пифик слабоум, списатель зверских лиц!" И на это ему никто не ответил. Вот вам и народные школы!

- Но позвольте, - заметила Валентина Михайловна, - я сама не знаю, что это за звери такие?

- Сударыня! - воскликнул Калломейцев, - вам этого и не нужно знать!

- А для чего же это народу нужно.

- А для того, что лучше ему знать пифика или строфокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита!

Но тут Сипягин снова осадил Калломейцева, объявив, что Адам Смит - одно из светил человеческой мысли и что было бы полезно всасывать его принципы (он налил себе рюмку шато д'икему)... вместе с молоком (он провел у себя под носом и понюхал вино)... матери! - Он проглотил рюмку. Калломейцев тоже выпил и похвалил вино.

Маркелов не обращал особенного внимания на разглагольствования петербургского камер-юнкера, но раза два вопросительно посмотрел на Нежданова и, подбросив хлебный шарик, чуть было не попал им прямо в нос красноречивому гостю...

Сипягин оставлял своего зятя в покое; Валентина Михайловна также не заговаривала с ним; видно было, что они оба, и муж и жена, привыкли считать Маркелова за чудака, которого лучше не задирать.

После обеда Маркелов отправился в биллиардную курить трубку, а Нежданов пошел в свою комнату. В коридоре он наткнулся на Марианну. Он хотел было пройти мимо... она остановила его резким движением руки.

- Господин Нежданов, - заговорила она не совсем твердым голосом, - мне, по-настоящему, должно быть все равно, что вы обо мне ни думаете; но я все-таки полагаю ... я полагаю (она не находила слова)... Я полагаю уместным сказать вам, что, когда вы встретили сегодня в роще меня с господином Маркеловым... Скажите, вы, вероятно, подумали, отчего это они оба смутились и зачем это они пришли сюда - словно на свидание?

- Мне действительно показалось немного странным ... - начал было

Нежданов.

- Господин Маркелов, - подхватила Марианна, - сделал мне предложение; и я ему отказала. Вот все, что я имела сказать вам; засим - прощайте. И думайте обо мне что хотите.

Она быстро отвернулась и пошла скорыми шагами по коридору.

Нежданов вернулся к себе в комнату и, присев перед окном, задумался: "Что за странная девушка - и к чему эта дикая выходка, это непрошеная откровенность? Что это такое - желание пооригинальничать, или просто фразерство, или гордость? Вернее всего, что гордость. Ей невтерпеж малейшее подозрение...

Она не выносит мысли, что другой ложно судит о ней. Странная девушка!"

Так размышлял Нежданов; а внизу на террасе шел разговор о нем, и он очень хорошо все слышал.

- Чует мой нос, - уверял Калломейцев, - чует, что это - красный. Я еще в бытность мою чиновником по особым поручениям у московского генерал-губернатора - avec Ladislas - навострился на этих господ - на красных, да вот еще на раскольников. Чутьем, бывало, беру, верхним. - Тут Калломейцев "кстати" рассказал, как он однажды, в окрестностях Москвы, поймал за каблук старика-раскольника, на которого нагрянул с полицией и "который едва было не выскочил из окна избы... И так до той минуты смирно сидел на лавке, бездельник!" Калломейцев забыл прибавить, что этот самый старик, посаженный в тюрьму, отказался от всякой пищи - и уморил себя голодом.

- А ваш новый учитель, - продолжал ретивый камер-юнкер, - красный, непременно! Обратили ли вы внимание на то, что он никогда первый не кланяется?

- Да зачем же он станет первый кланяться? - заметила Сипягина, - мне это, напротив, в нем нравится.

- Я гость в доме, где он служит, - воскликнул Калломейцев, - да, да, служит, за деньги, comme un salarie... Стало быть, я ему старшой. И он должен мне кланяться первый.

- Вы очень взыскательны, мой любезнейший, - вмешался Сипягин с ударением на ей, - все это пахнет, извините, чем-то весьма отсталым. Я купил его услуги, его работу, но он остался человеком свободным.

- Узды он не чувствует, - продолжал Калломейцев, - узды: le frein! Все эти красные таковы. Говорю вам: у меня на них нос чудный! Вот разве Ladislas со мной - в этом отношении - потягаться может. Попадись он мне, этот учитель, в руки - я бы его подтянул! Я бы его вот как подтянул! Он бы у меня запел другим голосом; и как бы шапку

ломать передо мной стал... прелесть!

- Дрянь, хвастунишка! - чуть было не закричал сверху Нежданов... Но в это мгновение дверь его комнаты растворилась - и в нее, к немалому изумлению Нежданова, вошел Маркелов.

Нежданов приподнялся с своего места ему навстречу, а Маркелов прямо подошел к нему и, без поклона и без улыбки, спросил его: точно ли он Алексей Дмитриев Нежданов, студент С. Петербургского университета?

- Да... точно, - отвечал Нежданов.

Маркелов достал из бокового кармана распечатанное письмо.

- В таком случае прочтите это. От Василия Николаевича, - прибавил он, значительно понизив голос.

Нежданов развернул и прочел письмо. Это было нечто вроде полуофициального циркуляра, в котором податель, Сергей Маркелов, рекомендовался как один из "наших", вполне заслуживавших доверия; далее следовало наставление о безотлагательной необходимости взаимнодействия, о распространении известных правил. Циркуляр был между прочим адресован и Нежданову, тоже как верному человеку.

Нежданов протянул руку Маркелову, попросил его сесть и сам опустился на стул. Маркелов начал с того, что, ни слова не говоря, закурил папиросу. Нежданов последовал его примеру.

- Вы с здешними крестьянами уже успели сблизиться ? - спросил наконец Маркелов.

- Нет, пока еще не успел.

- Да вы давно ли сюда прибыли?

- Скоро две недели будет.

- Занятий много?

- Не слишком.

Маркелов угрюмо кашлянул.

- Гм! Народ здесь довольно пустой, - продолжал он, - темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бедность происходит.

- Бывшие мужики вашего зятя, сколько можно судить, не бедствуют, - заметил Нежданов.

- Зять мой - хитрец; глаза отводить мастер. Крестьяне здешние - точно, ничего; но у него есть фабрика. Вот где нужно старание приложить. Тут только копни: что в муравьиной кучке, сейчас заворошатся. Книжки у вас с собою есть?

- Есть... да немного.

- Я вам доставлю. Как же это вы так!

Нежданов ничего не отвечал. Маркелов тоже умолк и только дым пускал ноздрями.

- Какой, однако, мерзавец этот Калломейцев, - промолвил он вдруг. - Я за обедом думал: встать, подойти к этому барину - и расшибить в прах всю его нахальную физиономию, чтобы другим повадно не было. Да нет! Теперь есть дела поважнее, чем бить камер-юнкеров. Теперь не время сердиться на дураков за то, что они говорят глупые слова; теперь время мешать им глупые дела делать.

Нежданов качнул головой утвердительно, а Маркелов опять принялся за папироску.

- Тут между всей этой дворовой челядью есть один малый дельный, - начал он снова, - не слуга ваш Иван... это - рыба какая-то; а другой... ему имя Кирилл, он при буфете. (Кирилл этот был известен как горький пьяница.) Вы обратите на него внимание. Забубенная голова... да ведь нам деликатничать не приходится. А что об моей сестре скажете? - прибавил он, внезапно подняв голову и уставив свои желтые глаза на Нежданова. - Эта еще похитрее будет, чем мой зятек. Как вы об ней полагаете?

- Я полагаю, что она очень приятная и любезная дама... И к тому же она очень красива.

- Гм! Как это вы, господа, в Петербурге тонко выражаетесь ... Удивляюсь! Ну... а насчет... - начал было он, но вдруг насупился, потемнел в лице и не докончил начатой фразы. - Нам, я вижу, надо с вами хорошенько потолковать, заговорил он опять. - Здесь невозможно. Черт их знает! Под дверьми, пожалуй, подслушивают. Знаете ли, что я вам предлагаю? Сегодня суббота; завтра вы, чай, моему племяннику уроков не даете?.. Не правда ли?

- У меня завтра с ним репетиция в три часа.

- Репетиция! Точно в театре. Это, должно быть, моя сестрица такие слова выдумывает. Ну, все равно. Хотите? Поедемте сейчас ко мне. Моя деревня отсюда в десяти верстах. Лошади у меня хорошие: сомчат духом, вы у меня переночуете, проведете утро, а завтра к трем часам я вас обратно доставлю. Согласны.

- Извольте, - промолвил Нежданов. С самого прихода Маркелова он находился в возбужденном и стесненном состоянии. Внезапное сближение с ним его смущало, и в то же время его влекло к нему. Он чувствовал, он понимал, что перед ним существо, вероятно, тупое, но, несомненно, честное - и сильное. К тому же эта странная встреча в роще, это неожиданное объяснение Марианны...

- Ну и прекрасно! - воскликнул Маркелов. - Вы пока приготовьтесь;

а я пойду, велю заложить тарантас. Ведь вам, я надеюсь, нечего спрашиваться у здешних хозяев?

- Я их предуведомлю. Без этого, я полагаю, мне отлучиться нельзя.

- Я им скажу, - подхватил Маркелов. - Вы не беспокойтесь. Они теперь дуются в карты - и не заметят вашего отсутствия. Мой зять все в государственные люди метит, а только за ним и есть, что в карты отлично играет. Ну, и то сказать: через этот фортель многие выходят!.. Так будьте готовы. Я сейчас распоряжусь.

Маркелов удалился; а час спустя Нежданов сидел рядом с ним на большой кожаной подушке, в широком, развалистом, очень старом и очень покойном тарантасе; приземистый кучерок на облучке непрестанно свистал каким-то удивительно приятным, птичьим свистом; тройка пегих лошадок с заплетенными черными гривами и хвостами быстро неслась по ровной дороге; и уже застланные первою ночною тенью (в минуту отъезда пробило десять часов) плавно проносились - иные взад, другие вперед, смотря по отдалению, - отдельные деревья, кусты, поля, луга и овраги.

Небольшая деревенька Маркелова (в ней было всего двести десятин, и приносила она около 700 рублей дохода - звали ее Борзенково) находилась в трех верстах от губернского города, от которого имение Сипягина отстояло в семи верстах. Чтобы попасть в Борзенково, надо было проехать через город. Не успели новые знакомцы обменяться и полусотней слов, как уже замелькали перед ними дрянные подгородные мещанские домишки с продавленными тесовыми крышами, с тусклыми пятнами света в перекривленных окошках; а там загремели под колесами камни губернской мостовой, тарантас запрыгал, заметался из стороны в сторону... и, подпрыгивая при каждом толчке, поплыли мимо глупые каменные двухэтажные купеческие дома с фронтонами, церкви с колоннами, трактирные заведения...

Дело было под воскресенье; на улицах уже не было прохожих, но в кабаках еще толпился народ. Хриплые голоса вырывались оттуда, пьяные песни, гнусливые звуки гармоник; из внезапно раскрытых дверей било грязным теплом, едким запахом спирта, красным отблеском ночников. Почти перед каждым кабаком стояли крестьянские тележонки, запряженные мохнатыми, пузатыми клячами; покорно понурив кудластые головы, они, казалось, спали; растерзанный, распоясанный мужик в пухлой зимней шапке, свесившейся мешком на затылок, выходил из кабака и, прислонившись грудью к оглоблям, пребывал недвижим, что-то слабо ощупывая и

разводя и шаря руками; или худощавый фабричный в картузе набекрень, с выпущенной китайчатой рубахой и босой - сапоги-то остались в заведении - делал несколько нерешительных шагов, останавливался, чесал спину - и, внезапно ахнув, возвращался вспять...

- Одолевает вино русского человека! - сумрачно заметил Маркелов.

- С горя, батюшка Сергей Михайлович! - промолвил, не оборачиваясь, кучер, который перед каждым кабаком переставал свистать и словно в себя углублялся. Пошел! пошел! - ответил Маркелов, с сердцем потрясая воротником шинели. Тарантас перебрался через обширную базарную площадь, всю провонявшую капустой и рогожей, миновал губернаторский дом с пестрыми будками у ворот, частный дом с башней, бульвар с только что посаженными и уже умиравшими деревцами, гостиный двор, наполненный собачьим лаем и лязгом цепей, и, понемногу выбравшись за заставу, обогнав длинный, длинный обоз, выступивший в путь по холодку, снова очутился в вольном загородном воздухе, на большой, вербами обсаженной дороге - и снова покатил шибче и ровней.

Маркелов - надо же сказать о нем несколько слов - был шестью годами старше своей сестры, Сипягиной. Воспитывался он в артиллерийском училище, откуда вышел офицером; но уже в чине поручика он подал в отставку, по неприятности с командиром - немцем. С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев. Отставка рассорила его с отцом, с которым он так и не виделся до самой его смерти, а унаследовав от него деревеньку, поселился в ней. В Петербурге он часто сходился с разными умными, передовыми людьми, перед которыми благоговел; они окончательно определили его образ мыслей. Читал Маркелов немного - и больше все книги, идущие к делу, Герцена в особенности. Он сохранил военную выправку, жил спартанцем и монахом. Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манером и вышла за адъютанта - тоже из немцев. Маркелов возненавидел также и адъютантов. Он пробовал писать специальные статьи о недостатках нашей артиллерии, но у него не было никакого таланта изложения: ни одной статьи он не мог даже довести до конца - и все-таки продолжал исписывать большие листы серой бумаги своим крупным, неуклюжим, истинно детским почерком.

Маркелов был человек упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных, - и на все готовый.

Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку: чего он не

понимал, то для него не существовало; но презирал он и ненавидел фальшь и ложь. С людьми высшего полета, с "реаками", как он выражался, он был крут и даже груб; с народом - прост; с мужиком обходителен, как с своим братом.

Хозяин он был - посредственный: у него в голове вертелись разные социалистические планы, которые он так же не мог осуществить, как не умел закончить начатых статей о недостатках артиллерии. Ему вообще не везло никогда и ни в чем; в корпусе он носил название "неудачника". Человек искренний, прямой, натура страстная и несчастная, он мог в данном случае оказаться безжалостным, кровожадным, заслужить название изверга - и мог также пожертвовать собою, без колебания и без возврата. Тарантас, на третьей версте от города, внезапно въехал в мягкий мрак осиновой рощи, с шорохом и трепетанием незримых листьев, с свежей горечью лесного запаха, с неясными просветами вверху, с перепутанными тенями внизу. Луна уже встала на небосклоне, красная и широкая, как медный щит. Вынырнув из-под деревьев, тарантас очутился перед небольшой помещичьей усадьбой. Три освещенных окна яркими четырехугольниками выступали на переднем фасе низенького дома, заслонившего собою диск луны; настежь раскрытые ворота, казалось, не запирались никогда. На дворе, в полумраке, виднелась высокая кибитка с привязанными сзади к балчуку двумя белыми ямскими лошадьми; два щенка, тоже белых, выскочили откуда-то и залились пронзительным, но не злобным лаем. В доме зашевелились люди, тарантас подкатил к крыльцу, и, с трудом вылезая и отыскивая ногою железную подножку, проделанную, как водится, доморощенным кузнецом на самом неудобном месте, Маркелов сказал Нежданову:

- Вот мы и дома - и вы найдете здесь гостей, которых знаете хорошо, но никак не ожидаете встретить. Пожалуйте!

XI

Этими гостями оказались наши старинные знакомые, Остродумов и Машурина. Оба сидели в небольшой, крайне плохо убранной гостиной маркеловского дома и при свете керосиновой лампы пили пиво и курили табак. Они не удивились прибытию Нежданова; они знали, что Маркелов намеревался привезти его с собой, но Нежданов очень удивился им. Когда он вошел, Остродумов промолвил: "Здравствуй, брат!" - и только; Машурина сперва побагровела вся, потом протянула руку. Маркелов объяснил Нежданову, что Остродумов и Машурина присланы по "общему делу", которое теперь скоро должно осуществиться; что они с неделю тому назад выехали из Петербурга;

что Остродумов остается в С...й губернии для пропаганды, а Машурина едет в К. для свидания с одним человеком.

Маркелов внезапно раздражился, хотя никто ему не противоречил; сверкая глазами, кусая усы, он начал говорить взволнованным, глухим, но отчетливым голосом о совершаемых безобразиях, о необходимости безотлагательного действия, о том, что, в сущности, все готово - и мешкать могут одни трусы; что некоторая насильственность необходима, как удар ланцета по нарыву, как бы зрел этот нарыв ни был!

Он несколько раз повторил это сравнение с ланцетом: оно ему, очевидно, нравилось, он его не придумал, а вычитал где-то. Казалось, что, потеряв всякую надежду на взаимность со стороны Марианны, он уже ничего не жалел, а только думал о том, как бы приняться поскорей "за дело". Он говорил, точно топором рубил, безо всякой хитрости, резко, просто и злобно: слова однообразно и веско выскакивали одно за другим из побледневших его губ, напоминая отрывистый лай строгой и старой дворовой собаки. Он говорил о том, что хорошо знает окрестных мужиков, фабричных - и что есть между ними дельные люди, - как, например, голоплецкий Еремей, - которые сию минуту пойдут на что угодно. Этот голоплецкий Еремей, Еремей из деревни Голоплек, беспрестанно приходил ему на язык. Через каждые десять слов он ударял правой рукою - не ладонью, а ребром руки - по столу, а левой тыкал в воздух, отделив указательный палец. Эти волосатые, сухие руки, этот палец, этот гудевший голос, эти пылавшие глаза производили впечатление сильное. В течение дороги Маркелов с Неждановым говорил мало; в нем желчь накоплялась... но тут его прорвало. Машурина и Остродумов одобряли его улыбкой, взором, иногда коротким восклицанием; а с Неждановым произошло нечто странное. Сперва он пытался возражать; упомянул о вреде поспешности, преждевременных необдуманных поступков; главное - он дивился тому, что как это уж так все решено - и сомнений нет, и не для чего ни справляться с обстоятельствами, ни даже стараться узнать, чего, собственно, хочет народ?..

Но потом все нервы его натянулись как струны, затрепетали - и он с каким-то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот. Что побудило его к этому - сказать трудно: раскаяние ли в том, что он как будто ослабел в последнее время, досада ли на себя и на других, потребность ли заглушить какой-то внутренний червь, желание ли, наконец, показать

себя перед новоприбывшими эмиссарами ... или слова Маркелова, точно, подействовали на него, зажгли в нем кровь? До самой зари продолжалась беседа; Остродумов и Машурина не вставали с своих стульев, а Маркелов и Нежданов не садились. Маркелов стоял на одном и том же месте, ни дать ни взять часовой; а Нежданов все расхаживал по комнате - неровными шагами, то медленно, то торопливо. Говорили о предстоявших мерах и средствах, о роли, которую каждый должен был взять на себя, разбирали и связывали в пачки разные книжонки и отдельные листы; упомянули о купце из раскольников, некоем Голушкине, весьма надежном, хотя и необразованном человеке, о молодом пропагандисте Кислякове, который очень, мол, знающ, но уже чересчур юрок и слишком высокого мнения о собственных талантах; произнесли также имя Соломина...

- Это тот, что бумагопрядильной фабрикой заведывает ? - спросил Нежданов, вспомнив сказанное о нем за столом у Сипягиных.

- Он самый и есть, - промолвил Маркелов, - надо вам с ним познакомиться; мы его еще не раскусили, но дельный, дельный человек.

Еремей из Голоплек опять явился на сцену. К нему присоединился сипягинский Кирилло и еще какой-то Менделей, по прозвищу Дутик; только на этого Дутика положиться было трудно: в трезвом виде храбр, а в пьяном труслив; и почти всегда пьян бывает.

- Ну, а собственно из ваших людей, - спросил Нежданов Маркелова, - есть на кого положиться? Маркелов отвечал, что есть; однако ни одного из них не назвал по имени и пустился толковать о городских мещанах и семинаристах, которые были, впрочем, более полезны тем, что очень крепки телесной силой и уж как примутся действовать кулаками - так уж ну! Нежданов полюбопытствовал насчет дворян. Маркелов отвечал ему, что есть человек пять-шесть из молодых, один из них даже немец - и самый радикальный; только известное дело: на немца рассчитывать нечего... как раз надует или продаст! Да вот надо подождать, какие сведения доставит Кисляков. Нежданов полюбопытствовал также насчет военных. Тут Маркелов запнулся, подергал свои длинные бакенбарды и объявил наконец, что ничего - пока - решительного нет... вот разве что Кисляков откроет.

- Да кто такой этот Кисляков? - нетерпеливо воскликнул Нежданов.

Маркелов значительно усмехнулся и сказал, что это человек ... такой человек...

- Я его, впрочем, знаю мало, - прибавил он, - всего два раза с ним

виделся; но какие письма этот человек пишет, какие письмам Я вам покажу... Вы удивитесь! просто - огонь! И какая деятельность! Раз пять или шесть всю Россию вдоль и поперек проскакал... и с каждой станции письмо в десять - двенадцать страниц!!

Нежданов вопросительно посмотрел на Остродумова; но тот сидел как истукан и даже бровью не шевельнул; а Машурина сложила губы в горькую усмешку и тоже хоть бы гукнула! Нежданов вздумал было порасспросить Маркелова насчет его преобразований в социальном духе, по хозяйству...но тут Остродумов вмешался.

- К чему об этом толковать теперь? - заметил он,- все равно надо будет все потом переделать.

Разговор возвратился опять на политическую почву. Тайный внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова; но чем эта грызь была сильней, тем громче и бесповоротнее говорил он. Он выпил всего один стакан пива; но ему от времени до времени казалось, что он совсем опьянел - и голова его кружилась, и сердце стучало с болезненной потяготой. Когда же, наконец, в четвертом часу ночи прения прекратились и собеседники, минуя спавшего в передней казачка, разбрелись по своим углам, Нежданов, прежде чем лег в постель, долго стоял неподвижно вперив глаза перед собою в пол. Ему чудился постоянный, горестный, душу щемивший звук во всем, что произносил Маркелов: самолюбие этого человека не могло не быть оскорбленным, он должен был страдать, его надежды на личное счастие рушились - и, однако, как он себя забывал, как отдавался тому, что признавал за истину! Ограниченный субъект, думалось Нежданову... Но не во сто ли раз лучше быть таким ограниченным субъектом, чем таким... таким, каким я, например, чувствую себя?!

Но тут он возмутился против собственного уничижения.

"Почему же так? Разве я тоже не сумею собой пожертвовать? Погодите, господа... И ты, Паклин, убедишься со временем, что я, хоть и эстетик, хоть и пишу стихи..."

Он сердито вскинул волосы рукою, скрипнул зубами и, торопливо сдернув с себя одежду, бросился в холодную и сырую постель.

- Спокойной ночи! - раздался за дверью голос Машуриной, - я - ваша соседка.

- Прощайте, - отвечал Нежданов и тут же вспомнил, что она в течение вечера не спускала с него глаз.

- Чего ей нужно? - шепнул он про себя, и стыдно ему стало. "Ах, хоть бы поскорее заснуть!"

Но с нервами сладить трудно... и солнце стояло уже довольно

высоко на небе, когда он наконец заснул тяжелым и безотрадным сном.

На другое утро он встал поздно, с головною болью. Он оделся, подошел к окну мезонина, в котором находилась его комната, и увидал, что у Маркелова, собственно, и усадьбы не было никакой: флигелек его стоял на юру, недалеко от рощи. Амбарчик, конюшня, погребок, избушка с полуобвалившейся соломенной крышей - с одной стороны; с другой - крохотный пруд, огородец, конопляник и другая избушка с такою же крышей; вдали рига, молотильный сарайчик и пустое гумно - вот и вся "благодать", представлявшаяся взорам. Все казалось бедным, утлым, и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо.

Нежданов сошел вниз. Машурина сидела в столовой за самоваром и, по-видимому, его дожидалась. Он узнал от нее, что Остродумов уехал по делу и раньше двух недель не вернется, а хозяин пошел возиться с батраками. Так как май уже близился к концу и спешных работ никаких не было, то Маркелов вздумал собственными средствами свести небольшую березовую рощу - и отправился туда с утра.

Нежданов чувствовал странную усталость на душе. Накануне так много было говорено о невозможности долее медлить, о том, что оставалось только "приступить". Но как приступить, к чему - да еще безотлагательно? У Машуриной нечего было спрашивать: она не ведала колебаний; она не сомневалась в том, что ей нужно было делать, а именно: ехать в К. Дальше она не заглядывала.

Нежданов не знал, что сказать ей, и, напившись чаю, надел шапку и пошел по направлению березовой рощи. На дороге ему попались мужики, ехавшие с навозницы, бывшие крестьяне Маркелова. Он заговорил с ними... толку большого он от них не добился.

Они тоже казались усталыми - но физической, обыкновенной усталостью, нисколько не похожею на то чувство, которое испытывал он. Прежний их помещик, по их словам, был барин простой, только чудаковатый; они пророчили ему разорение - потому порядков не знает и все на свой салтык норовит, не так, как отцы. И мудрен тоже бывает - не поймешь его, хоть ты что! - а добре добр! Нежданов отправился дальше и наткнулся на самого Маркелова.

Он шел, окруженный целой толпою работников; издали можно было видеть, как он им что-то пояснял, толковал, а потом махнул рукой... значит: бросил! Рядом с ним выступал его приказчик, малый молодой и подслеповатый, безо всякой представительности в осанке.

Приказчик этот беспрестанно повторял: "Это как будет вам угодно-с",- к великой досаде его начальника, который ожидал от него больше самостоятельности. Нежданов подошел к Маркелову - и увидал на лице его выражение такой же душевной усталости, какую ощущал он сам. Они поздоровались; Маркелов тотчас заговорил - правда, вкратце - о вчерашних "вопросах", о близости переворота; но выражение усталости не покидало его лица.

Он был весь в пыли, в поту; древесные стружки, зеленые нити моху прицепились к его платью, голос его охрип... Окружавшие его люди помалчивали: они не то трусили, не то посмеивались ...

Нежданов глядел на Маркелова - и слова Остродумова снова зазвучали в его голове: "К чему это? Все равно надо будет потом все переделать!" Один провинившийся работник начал упрашивать Маркелова, чтобы тот снял с него штраф... Маркелов сначала рассердился и закричал неистово, а потом простил... "Все равно надо будет потом все переделать..." Нежданов попросил у него лошадей и экипажа, чтобы вернуться домой; Маркелов словно удивился его желанию, однако отвечал, что все тотчас будет готово.

Он вернулся домой вместе с Неждановым... Он на ходу шатался от изнеможения.

- Что с вами? - спросил Нежданов.

- Измучился!! - свирепо проговорил Маркелов. - Как ты с этими людьми ни толкуй, сообразить они ничего не могут - и приказаний не исполняют... Даже по-русски не понимают. Слово: "участок" им хорошо известно... а "участие" ... Что такое участие? Не понимают! А ведь тоже русское слово, черт возьми! Воображают, что я хочу им участок дать! (Маркелов вздумал разъяснить крестьянам принцип ассоциации и ввести ее у себя, а они упирались. Один из них даже сказал по этому поводу: "Была яма глубока... а теперь и дна не видать...", а все прочие крестьяне испустили глубокий, дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова.)

Вошедши в дом, он отпустил свою свиту и стал распоряжаться насчет экипажа и лошадей и насчет завтрака. Прислуга его состояла из казачка, кухарки, кучера и какого-то очень древнего старика с заросшими ушами, в длиннополом мухояровом кафтане, бывшего камердинера его деда. Этот старик постоянно, с глубокой унылостью глядел на своего барина, а впрочем, ничего не делал и вряд ли был в состоянии сделать что-нибудь; но присутствовал неотлучно, прикорнув на сундучке.

Позавтракавши яйцами вкрутую, кильками и окрошкой (горчицу

подал казачок в старой помадной банке, соус в одеколонной склянке), Нежданов сел в тот же самый тарантас, в котором приехал накануне; но вместо трех лошадей ему заложили только двух: третью заковали - и она охромела. В течение завтрака Маркелов говорил мало, ничего не ел и дышал усиленно... Произнес два-три горьких слова о своем хозяйстве - и опять махнул рукой... "Все равно надо будет потом все переделать". Машурина попросила Нежданова довезти ее до города: ей понадобилось съездить туда для некоторых покупок; "а вернуться из города я могу пешком - а не то к обратному мужичку на телегу подсяду". Провожая их обоих до крыльца, Маркелов упомянул о том, что вскорости опять пришлет за Неждановым - и тогда... тогда (он встрепенулся и опять приободрился) надо будет окончательно условиться; что Соломин тоже тогда приедет; что он, Маркелов, ждет только известия от Василья Николаевича - и тогда останется одно: немедленно "приступить", так как народ (тот самый народ, который не понимает слова "участие") дольше ждать не согласен!

- А что же, вы хотели показать мне письма этого... как бишь его? Кислякова? - спросил Нежданов.

- После... после, - поспешно проговорил Маркелов. - Тогда уже все - разом.

Тарантас тронулся.

- Будьте готовы! - раздался в последний раз голос Маркелова. Он стоял на крыльце, а рядом с ним с тою же неизменной унылостью во взгляде, вытянув сгорбленный стан, заложив обе руки за спину, распространяя запах ржаного хлеба и мухояра и ничего не слыша, стоял "из слуг слуга", дряхлый дедовский камердинер.

До самого города Машурина молчала, только покуривала папиросу. Приближаясь к заставе, она вдруг громко вздохнула.

- Жаль мне Сергея Михайловича, - промолвила она, и лицо ее омрачилось.

- Захлопотался он совсем, - заметил Нежданов, - мне кажется, хозяйство его идет плохо.

- Мне не оттого его жаль.

- Отчего же?

- Несчастный он человек, неудачливый!.. Уж на что лучше его... ан нет! Не годится!

Нежданов посмотрел на свою спутницу.

- Да вам разве что-нибудь известно?

- Ничего мне не известно... а всякий это чувствует по себе. Прощайте, Алексей Дмитрич.

Машурина вылезла из тарантаса - а час спустя Нежданов - уже въезжал на двор сипягинского дома. Не очень хорошо он себя чувствовал... Ночь он провел без сна... и потом все эти словопрения... эти толки...

Красивое лицо выглянуло из окна и дружелюбно ему улыбнулось... Это Сипягина приветствовала его возвращение .

"Какие у ней глаза!" - подумалось ему.

XII

К обеду наехало много народу, а после обеда Нежданов, воспользовавшись общей суетой, ускользнул к себе в комнату. Ему хотелось остаться наедине с самим собою, хотя бы для того только, чтобы привести в порядок впечатления, вынесенные им из его поездки. За столом Валентина Михайловна несколько раз внимательно посмотрела на него, но, по-видимому, не имела возможности заговорить с ним; а Марианна, после той неожиданной выходки, столь его удивившей, как будто совестилась и избегала его.

Нежданов взял было перо в руки; ему захотелось побеседовать на бумаге с своим другом Силиным; но он не нашел, что сказать даже другу; или, быть может, так много противоположных мыслей и ощущений столпилось у него в голове, что он не попытался их распутатъ и отложил все до другого дня. В числе обедавших был также г. Калломейцев; никогда он не выказывал более высокомерия и джентльменской презрительности; но его развязные речи нисколько не действовали на Нежданова: он не замечал их. Его окружало какое-то облако; полутусклой завесой стояло оно между ним и остальным миром, и - странное дело! - сквозь эту завесу виднелись ему только три лица, и все три женских, и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Машурина и Марианна.

Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общего? И что хотят они. Он лег спать рано, но заснуть не мог. Его посетили не то что печальные, а темные мысли... мысли о неизбежном конце, о смерти. Они были ему знакомы. Долго он переворачивал их и так и сяк, то содрогаясь перед вероятностью ничтожества, то приветствуя ее, почти радуясь ей.

Он почувствовал наконец особенное, ему знакомое волнение... Он встал, сел за письменный стол и, немного подумав, почти без поправки, вписал следующее стихотворение в свою заветную тетрадку:

Милый друг, когда я буду
Умирать - вот мой приказ.
Всех моих писаний груду
Истреби ты в тот же час!
Окружи меня цветами.
Солнце в комнату впусти,
За раскрытыми дверями
Музыкантов помести.
Запрети им плач печальный!
Пусть, как будто в час пиров,
Резко взвизгнет вальс нахальный
Под ударами смычков!
Слухом гаснущем внимая
Замираниям струны.
Сам замру я, засыпая...
И, предсмертной тишины
Не смутив напрасным стоном,

Перейду я в мир иной,
Убаюкан легким звоном
Легкой радости земной!

Когда он писал слово "друг", он думал о том же Силине. Он продекламировал вполголоса свое стихотворение - и сам удивился тому, что у него вышло из-под пера. Этот скептицизм, это равнодушие, это легкомысленное безверие - как согласовалось все это с его принципами? с тем, что он говорил у Маркелова? Он бросил тетрадку в ящик стола и вернулся к своей постели. Но заснул он перед самым утром, когда уже первые жаворонки зазвенели в побелевшем небе.

На другой день - он только что кончил урок и сидел в биллиардной Сипягина вошла, оглянулась и, с улыбкой подойдя к нему, позвала его к себе в кабинет. На ней было легкое барежевое платье, очень простенькое и очень миленькое: обшитые рюшами рукава доходили только до локтей, широкая лента охватывала ее стан, волосы падали густыми космами на шею. Все в ней дышало приветом и лаской, бережной, ободряющей лаской,- все: и упрощенный блеск полузакрытых глаз, и мягкая леность голоса, движений, самой походки. Сипягина привела Нежданова в свой кабинет, уютный, приятный, весь пропитанный запахом цветов и духов, чистой свежестью женских одежд, постоянного женского пребывания; посадила его на кресло, села сама возле него и начала его расспрашивать об его поездке, о житье-бытье Маркелова - и так осторожно, кротко, хорошо!

Она выказала искреннее участие к судьбе брата, о котором до тех пор - при Нежданове - не упоминала ни разу; из иных ее слов можно было понять, что от ее внимания не ускользнуло чувство, внушенное ему Марианной; она слегка погрустила... о том ли, что со стороны Марианны не проявилось взаимности, о том ли, что выбор брата пал на девушку, в сущности ему чуждую, - это осталось неразъясненным. Но главное: она явно старалась приручить Нежданова, возбудить в нем доверие к ней, заставить его перестать дичиться. Валентина Михайловна даже немножко попеняла на него за то, что он имеет о ней ложное понятие.

Нежданов слушал ее, глядел ей на руки, на плечи, изредка бросал взор на ее розовые губы, на чуть-чуть колебавшиеся пряди волос. Сперва он отвечал очень кратко; он ощущал некоторое стеснение в горле и в груди... но мало-помалу ощущение это сменилось другим, все еще неспокойным, но не лишенным некоторой сладости; он никак не ожидал, что такая важная и красивая барыня, такая аристократка в

состоянии заинтересоваться им, простым студентом; а она не только им интересовалась - она как будто немножко кокетничала с ним.

Нежданов спрашивал себя: для чего она это все делает? - и не находил ответа; да, правду сказать, он и не нуждался в нем. Г-жа Сипягина заговорила о Коле; она даже начала уверять Нежданова, что, собственно, для того только и пожелала с ним сблизиться, чтобы серьезно побеседовать о своем сыне, - вообще чтобы узнать его мысли насчет воспитания русских детей. Несколько странною могла показаться внезапность, с которою возникло в ней это желание. Но дело было вовсе не в том, что именно говорила Валентина Михайловна, а в том, что на нее набежало нечто вроде чувственной струи; явилась потребность покорить, нагнуть к ногам своим эту непокорную голову.

Но здесь приходится вернуться несколько назад. Валентина Михайловна была дочь очень ограниченного и не бойкого генерала, с одной звездой и пряжкой за пятидесятилетнюю службу, и очень пронырливой и хитрой малоросски, одаренной, как многие ее соотечественницы, крайне простодушной и даже глуповатой наружностью, из которой она умела извлечь всю возможную пользу. Родители Валентины Михайловны были люди небогатые; однако она попала в Смольный монастырь, где хотя и считалась республиканкой, но была на виду и на хорошем счету, потому что прилежно училась и примерно вела себя.

По выходе из Смольного она поселилась вместе с матерью (брат уехал в деревню, отец, генерал со звездою и пряжкою, уже умер) в опрятной, но очень холодной квартире: когда в этой квартире говорили, можно было видеть пар, выходивший из уст; Валентина Михайловна смеялась и уверяла, что это - "как в церкви". Она храбро переносила все неудобства бедного, стесненного житья: у ней был удивительный ровный нрав.

С помощью матери ей удалось поддержать и приобрести знакомства и связи: о ней говорили все, даже в высших сферах, как о девушке очень милой, очень образованной - и очень приличной. У Валентины Михайловны было несколько женихов; из всех из них она выбрала Сипягина - и влюбила его в себя очень просто, быстро и ловко...

Впрочем, он и сам скоро понял, что ему лучше жены не найти. Она была умна, не зла... скорей добра, в сущности холодна и равнодушна... и не допускала мысли, чтобы кто-нибудь мог остаться равнодушным к ней. Валентина Михайловна была проникнута той особенной грацией,

которая свойственна "милым" эгоистам; в этой грации нет ни поэзии, ни истинной чувствительности, но есть мягкость, есть симпатия, есть даже нежность.

Только перечить этим прелестным эгоистам не следует: они властолюбивы и не выносят чужой самостоятельности. Женщины, подобные Сипягиной, возбуждают и волнуют людей неопытных и страстных; сами они любят правильность и тишину жизни. Добродетель им легко дается - они невозмутимы; но постоянное желание повелевать, привлекать и нравиться придает им подвижность и блеск: воля у них крепкая - и самое их обаяние частью зависит от этой крепкой воли... Трудно устоять человеку, когда по такому ясному, нетронутому существу забегают огоньки как бы невольной тайной неги; он так и ждет, что вот-вот наступит час - и лед растает; но светлый лед только играет лучами и не растаять и не помутиться ему никогда! Кокетничать немногого стоило Сипягиной: она очень хорошо знала, что опасности для нее нет и не может быть.

А между тем заставить чужие глаза то померкнуть, то заблистать, чужие щеки разгореться желанием и страхом, чужой голос задрожать и оборваться, смутить чужую душу - о, как это было сладко ее душе! Как весело было вспоминать поздно вечером, ложась в свое чистое ложе на безмятежный сон,- вспоминать все эти взволнованные слова, и взгляды, и вздохи! С какой довольной улыбкой уходила она тогда вся в себя, в сознательное ощущение своей неприступности, своей недосягаемости - и снисходительно отдавалась законным ласкам благовоспитанного супруга! Это было так приятно, что она даже умилялась подчас и готова была сделать доброе дело, помочь ближнему ... Она однажды основала маленькую богадельню после того, как один до безумия в нее влюбленный секретарь посольства попытался зарезаться! Она искренно молилась за него, хотя религиозное чувство с самых ранних лет в ней было слабо.

Итак, она беседовала с Неждановым и всячески старалась покорить его себе "под нози". Она допускала его до себя, она как бы раскрывалась перед ним - и с милым любопытством, с полуматеринской нежностью смотрела, как этот очень недурной и интересный и суровый радикал тихонько и неловко шел ей навстречу. День, час, минуту спустя все это исчезнет без следа, но пока ей весело, ей немножко смешно, немножко жутко - и немножко даже грустно. Позабыв его происхождение и зная, как подобное внимание ценится одинокими, отчужденными людьми, Валентина Михайловна начала было расспрашивать Нежданова об его молодости, об его семье...

Но мгновенно догадавшись по его смущенным и резким отзывам, что попала впросак, Валентина Михайловна постаралась загладить свою ошибку и распустилась еще немножко больше перед ним... Так в томный жар летнего полудня расцветшая роза распускает свои душистые лепестки, которые вскоре снова сожмет и свернет крепительная прохлада ночи. Вполне загладить свою ошибку ей, однако, не удалось.

Затронутый за больное место, Нежданов уже не мог довериться по-прежнему. То горькое, что он всегда носил, всегда ощущал на дне души, - шевельнулось опять; проснулись демократические подозрения и укоризны. "Не для этого приехал я сюда", - подумалось ему; вспомнились ему насмешливые наставления Паклина... и он воспользовался первой минутой молчания, встал, поклонился коротким поклоном - и вышел "очень глупо", как он невольно шепнул самому себе. Его смущение не ускользнуло от Валентины Михайловны... но, судя по улыбочке, с которой она проводила его взором, она растолковала это смущение выгодным для себя образом.

В биллиардной Нежданову попалась Марианна. Она стояла спиной к окну, недалеко от двери кабинета, тесно скрестив руки. Лицо ее находилось в почти черной тени; но так вопросительно, так настойчиво глядели на Нежданова ее смелые глаза, такое презрение, такую обидную жалость выражали ее сжатые губы, что он остановился в недоумении...

- Вы хотите мне что-то сказать? - невольно проговорил он.

Марианна не тотчас ответила.

- Нет... или да; хочу. Только не теперь.

- Когда же?

- А вот погодите. Может быть, завтра; может быть - никогда. Я ведь очень мало знаю, кто вы собственно такой.

- Однако, - начал Нежданов, - мне иногда казалось... что между нами...

- А вы меня совсем не знаете, - перебила Марианна. - Да вот погодите. Завтра, может быть. Теперь мне надо идти к моей...госпоже. До завтра. Нежданов ступил раза два - но вдруг вернулся.

- Ах да! Марианна Викентьевна... я все хотел вас спросить: не позволите ли вы мне пойти с вами в школу, посмотреть, как вы там занимаетесь, пока ее не закрыли.

- Извольте... Только я не о школе хотела с вами говорить.

- А о чем же?

- До завтра, - повторила Марианна. Но она не дождалась

завтрашнего дня - и разговор между ею и Неждановым произошел в тот же вечер - в одной из липовых аллей, начинавшихся недалеко от террасы.

XIII

Она сама первая приблизилась к нему.

- Господин Нежданов, - начала она торопливым голосом, - вы, кажется, совершенно очарованы Валентиной Михайловной?

Она повернулась, не дождавшись ответа, и пошла вдоль аллеи; и он пошел с ней рядом.

- Почему вы это думаете? - спросил он погодя немного.

- А разве нет? В таком случае она дурно распорядилась сегодня. Воображаю, как она хлопотала, как расставляла свои маленькие сети!

Нежданов ни слова не промолвил и только сбоку посмотрел на свою странную собеседницу.

- Послушайте, - продолжала она, - я не стану притворяться: я не люблю Валентины Михайловны - и вы это очень хорошо знаете. Я могу вам показаться несправедливой... но вы сперва подумайте...

Голос пресекся у Марианны. Она краснела, она волновалась ... Волнение у ней всегда принимало такой вид, как будто она злится.

Вы, вероятно, спрашиваете себя, - начала она снова, - зачем эта барышня мне все это рассказывает? Вы, должно быть, то же самое подумали, когда я вам сообщила известие...насчет господина Маркелова.

Она вдруг нагнулась, сорвала небольшой грибок, переломила его пополам и отбросила в сторону.

- Вы ошибаетесь, Марианна Викентьевна, - промолвил Нежданов, - я, напротив, подумал, что я внушаю вам доверие, и эта мысль мне была очень приятна.

Нежданов сказал не полную правду: эта мысль только теперь пришла ему в голову.

Марианна мгновенно глянула на него. До тех пор она все отворачивалась.

- Вы не то чтобы внушали мне доверие, - проговорила она, как бы размышляя, - вы ведь мне совсем чужой.

Но ваше положение и мое - очень схожи. Мы оба одинаково несчастливы; вот что нас связывает.

- Вы несчастливы? - спросил Нежданов.

- А вы - нет? - отвечала Марианна.

Он ничего не сказал.

- Вам известна моя история? - заговорила она с живостью, -

история моего отца? его ссылка? Нет? Ну, так знайте же, что он был взят под суд, найден виноватым, лишен чинов... и всего - и сослан в Сибирь. Потом он умер... мать моя тоже умерла. Дядя мой, господин Сипягин, брат моей матери, призрел меня я у него на хлебах, он мой благодетель, и Валентина Михайловна моя благодетельница, - а я им плачу черной неблагодарностью, потому что у меня, должно быть, сердце черствое - и чужой хлеб горек - и я не умею переносить снисходительных оскорблений - и покровительства не терплю... и не умею скрывать - и когда меня беспрестанно колют булавками, я только оттого не кричу, что я очень горда.

Произнося эти отрывочные речи, Марианна шла все быстрей и быстрей.

Она вдруг остановилась.

- Знаете ли, что моя тетка, чтобы только сбыть меня с рук, прочит меня... за этого гадкого Калломейцева? Ведь ей известны мои убежденья, ведь я в глазах ее нигилистка - а он! Я, конечно, ему не нравлюсь, я ведь некрасива, но продать меня можно. Ведь это тоже благодеяние!

- Зачем же вы... - начал было Нежданов и запнулся.

Марианна опять мгновенно глянула на него.

- Зачем я не приняла предложение господина Маркелова, хотите вы сказать? Не так ли? Да; но что же делать? Он хороший человек. Но я не виновата, я не люблю его.

Марианна снова пошла вперед, как бы желая избавить своего собеседника от обязанности чем-нибудь отозваться на это нежданное признание. Они оба достигли конца аллеи. Марианна проворно свернула на узкую дорожку, проложенную сквозь сплошной ельник, и пошла по ней. Нежданов отправился за Марианной. Он ощущал двойное недоумение: чудно ему казалось, каким образом эта дикая девушка вдруг так откровенничает с ним, и еще больше дивился тому, что откровенность эта его нисколько не поражает, что он находит ее естественной.

Марианна вдруг обернулась и стала посреди, дорожки, так что ее лицо пришлось на расстоянии аршина от лица Нежданова, - и глаза ее вонзились прямо в его глаза.

- Алексей Дмитрич, - заговорила она, - не думайте, что моя тетка зла... Нет! она вся - ложь, она комедиантка, она позерка - она хочет, чтобы все ее обожали как красавицу и благоговели перед нею, как перед святою! Она придумает задушевное слово, скажет его одному, а потом повторяет это же слово другому и третьему - и все с таким

видом, как будто она сейчас это слово придумала, и тут же кстати играет своими чудесными глазами! Она самое себя очень хорошо знает - она знает, что похожа на мадонну, и никого не любит! Притворяется, что все возится с Колей, а только всего и делает, что говорит о нем с умными людьми. Сама она никому зла не желает... Она вся - благоволение! Но пускай вам в ее присутствии все кости в теле переломают... ей ничего! Она пальцем не пошевельнет, чтобы вас избавить; а если ей это нужно или выгодно... тогда... о, тогда!

Марианна умолкла. Желчь душила ее, она решилась дать ей волю, она не могла удержаться - но речь ее невольно обрывалась. Марианна принадлежала к особенному разряду несчастных существ - (в России они стали попадаться довольно часто)... Справедливость удовлетворяет, но не радует их, а несправедливость, на которую они страшно чутки, возмущает их до дна души. Пока она говорила, Нежданов глядел на нее внимательно; ее покрасневшее лицо, с слегка разбросанными короткими волосами, с трепетным подергиваньем тонких губ, показалось ему и угрожающим, и значительным - и красивым. Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым, недвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса.

- Скажите, - спросил ее наконец Нежданов, - отчего вы меня назвали несчастливым? Разве вам известно мое прошедшее?

Марианна кивнула головою.

- Да.

- То есть... как же так известно? Вам кто-нибудь говорил обо мне?

- Мне известно... ваше происхождение.

- Вам известно...Кто же вам сказал?

- Да все та же - та же Валентина Михайловна, которою вы так очарованы. Она не преминула заметить при мне, по обыкновенью вскользь, но внятно - не с сожаленьем, а как либералка, которая выше всяких предрассудков, - что вот, мол, какая существует случайность в жизни вашего нового учителя! Не удивляйтесь, пожалуйста: Валентина Михайловна точно так же вскользь и с сожаленьем чуть не всякому посетителю сообщает, что вот, мол, в жизни моей племянницы какая существует... случайность: ее отца за взятки сослали в Сибирь. Какою аристократкой она себя ни воображай - она просто сплетница и позерка, эта ваша рафаэлевская Мадонна!

- Позвольте, - заметил Нежданов, - почему же она "моя"?

Марианна отвернулась и пошла опять по дорожке.

- У вас с нею был такой большой разговор, - произнесла она глухо.

- Я почти ни одного слова не вымолвил, - ответил Нежданов, - она одна все время говорила.

Марианна шла вперед молча. Но вот дорожка повернула в сторону - ельник словно расступился, и открылась впереди небольшая поляна с дуплистой плакучей березой посредине и круглой скамьей, охватывавшей ствол старого дерева. Марианна села на эту скамью; Нежданов поместился рядом. Над головами обоих тихонько покачивались длинные пачки висячих веток, покрытых мелкими зелеными листочками. Кругом в жидкой траве белели ландыши, и от всей поляны поднимался свежий запах молодой травы, приятно облегчавший грудь, все еще стесненную смолистыми испарениями елей.

- Вы хотите пойти со мной посмотреть здешнюю школу, - начала Марианна, что ж? пойдемте. Только... я не знаю. Удовольствия вам будет мало. Вы слышали: наш главный учитель - диакон. Он человек добрый, но вы не можете себе представить, о чем он беседует с учениками! Меж ними есть мальчик... его зовут Гарасей - он сирота, девяти лет, - и, представьте! он учится лучше всех! Переменив внезапно предмет разговора, Марианна сама как будто изменилась: она побледнела, утихла - и лицо ее выразило смущение, словно ей совестно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотелось навести Нежданова на какой-нибудь "вопрос" - школьный, крестьянский - лишь бы только не продолжать в прежнем тоне. Но ему в эту минуту было не до "вопросов".

- Марианна Викентьевна, - начал он, - скажу вам откровенно: я никак не ожидал всего того... что теперь произошло между нами. (При слове "произошло" она слегка насторожилась.) Мне кажется, мы вдруг - очень... очень сблизились. Да оно так и следовало. Мы давно подходим друг к другу; только голосу не подавали. А потому я буду с вами говорить без утайки. Вам тяжело и тошно в здешнем доме; но дядя ваш - он хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человек? - разве он не понимает вашего положения, не становится на вашу сторону?

- Мой дядя? Во-первых - он вовсе не человек; он чиновник - сенатор или министр... я уж не знаю. А во-вторых... я не хочу напрасно жаловаться и клеветать: мне вовсе не тошно и не тяжело здесь, то есть меня здесь не притесняют; маленькие шпильки моей тетки, в сущности, для меня ничто... Я совершенно свободна.

Нежданов с изумлением глянул на Марианну.

- В таком случае... все, что вы мне сейчас говорили...

- Вы вольны смеяться надо мною, - подхватила она, - но если я несчастна, то не своим несчастьем. Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси... нет, не страдаю - а негодую за них, возмущаюсь ... что я за них готова... голову сложить. Я несчастна тем, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умею! когда мой отец был в Сибири, а я с матушкой оставалась в Москве - ах, как я рвалась к нему!

И не то чтобы я очень его любила или уважала - но мне так хотелось изведать самой, посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные, загнанные... И как мне было досадно на себя и на всех этих спокойных, зажиточных; сытых!.. А потом, когда он вернулся, надломанный, разбитый, и начал унижаться, хлопотать и заискивать... ах, как это было тяжело! Как хорошо он сделал, что умер... и матушка тоже! Но вот я осталась в живых...

К чему?

Чтобы чувствовать, что у меня дурной нрав, что я неблагодарна, что со мной ладу нет - и что я ничего, ничего не могу ни для чего, ни для кого!

Марианна отклонилась в сторону, - рука ее скользнула на скамью. Нежданову стало очень жаль ее; он прикоснулся к этой повисшей руке... но Марианна тотчас ее отдернула, не потому, чтобы движение Нежданова показалось ей неуместным, а чтобы он - сохрани бог - не подумал, что она напрашивается на участие.

Сквозь ветки ельника мелькнуло вдали женское платье.

- Марианна выпрямилась.

- Посмотрите, ваша мадонна выслала свою шпионку.

Эта горничная должна наблюдать за мною и доносить своей барыне, где я бываю и с кем! Тетка, вероятно, сообразила, что я с вами, и находит, что это неприлично, особенно после сентиментальной сцены, которую она перед вами разыграла. Да и в самом деле - пора вернуться. Пойдемте.

Марианна встала; Нежданов тоже поднялся с своего места. Она глянула на него через плечо, и вдруг по ее лицу мелькнуло выражение почти детское, миловидное, немного смущенное.

- Вы ведь не сердитесь на меня? Вы не думаете, что порисовалась перед вами? Нет, вы этого не подумаете, - продолжала она, прежде чем Нежданов ей что-нибудь ответил. - Вы ведь такой же, как я - несчастный, - и нрав у вас тоже... дурной, как у меня. А завтра мы пойдем вместе в школу, потому что мы ведь теперь хорошие приятели.

Когда Марианна и Нежданов приблизились к дому, Валентина Михайловна посмотрела на них в лорнетку с высоты балкона - и с своей обычной кроткой улыбкой тихонько покачала головою; а возвращаясь через раскрытую стеклянную дверь в гостиную, в которой Сипягин уже сидел за преферансом с завернувшим на чаек беззубым соседом, промолвила громко и протяжно, отставляя слог от слога:

- Как сыро на воздухе! Это нездорово!

Марианна переглянулась с Неждановым; а Сипягин, который только что обремизил своего партнера, бросил на жену истинно министерский взор вбок и вверх через щеку - и потом перевел тот же сонливо-холодный, но проницательный взор на входившую из темного сада молодую чету.

XIV

Минуло еще две недели. Все шло своим порядком. Сипягин распределял ежедневные занятия если не как министр, то уже наверное как директор департамента, и держался по-прежнему - высоко, гуманно и несколько брезгливо; Коля брал уроки, Анна Захаровна терзалась постоянной, угнетенной злобой, гости наезжали, разговаривали, сражались в карты - и, по-видимому, не скучали; Валентина Михайловна продолжала заигрывать с Неждановым, хотя к ее любезности стало примешиваться нечто вроде добродушной иронии.

С Марианной Нежданов окончательно сблизился - и, к удивлению своему, нашел, что у ней характер довольно ровный и что с ней можно говорить обо всем, не натыкаясь на слишком резкие противоречия.

Вместе с нею он раза два посетил школу, но с первого же посещения убедился, что ему тут делать нечего. Отец диакон завладел ею вдоль и поперек, с разрешения Сипягина и по его воле. Отец диакон учил грамоте недурно, хотя по старинному способу - но на экзаменах предлагал вопросы довольно несообразные; например, он спросил однажды Гарасю, как, мол, он объясняет выражение: "Темна вода во облацех"? - на что Гарася должен был, по указанию самого отца диакона, ответствовать: "Сие есть необъяснимо". Впрочем, школа скоро и так закрылась, по случаю летнего времени, до осени. Памятуя наставления Паклина и других, Нежданов старался также сближаться с крестьянами, но вскорости заметил, что он просто изучает их, насколько хватало наблюдательности, а вовсе не пропагандирует! Он почти всю свою жизнь провел в городе - и между ним и деревенским людом существовал овраг или ров, через который он никак не мог перескочить.

Нежданову пришлось обменяться несколькими словами с пьяницей Кириллой и даже с Менделеем Дутиком, но - странное дело! - он словно робел перед ними, и, кроме очень общей и очень короткой ругани, он от них ничего не услышал. Другой мужик - звали его Фитюевым - просто в тупик его поставил. Лицо у этого мужика было необычайно энергическое, чуть не разбойничье... "Ну, этот, наверное, надежный!" - думалось Нежданову... И что же? Фитюев оказался бобылем; у него мир отобрал землю, потому что он - человек здоровый и даже сильный - не мог работать. "Не могу! - всхлипывал Фитюев сам, с глубоким, внутренним стоном, и протяжно вздыхал. - Не могу я работать! Убейте меня! А то я на себя руки наложу!" И кончал тем, что просил милостыньки - грошика на хлебушко ...

А лицо - как у Ринальдо Ринальдини! Фабричный народ - так тот совсем не дался Нежданову все эти ребята были либо ужасно бойкие, либо ужасно мрачные... и у Нежданова с ними тоже не вышло ничего. Он по этому поводу написал другу своему Силину большое письмо, в котором горько жаловался на свою неумелость и приписывал ее своему скверному воспитанию и пакостной эстетической натуре! Он вдруг вообразил, что его призвание - в деле пропаганды - действовать не живым, устным словом, а письменным; но задуманные им брошюры не клеились. Все, что он пытался выводить на бумаге, производило на него самого впечатление чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке - и он раза два - о ужас! невольно сворачивал на стихи или на скептические личные излияния.

Он даже решился (важный признак доверия и сближения!) говорить об этой своей неудаче с Марианной... и опять-таки, к удивлению своему, нашел в ней сочувствие - разумеется, не к своей беллетристике, а к той нравственной болезни, которой он страдал и которая не была ей чужда. Марианна не хуже его восставала на эстетику; а собственно, потому и не полюбила Маркелова, и не пошла за него, что в нем не существовало и следа той самой эстетики! Марианна, конечно, в этом даже себе самой не смела сознаться; но ведь только то и сильно в нас, что остается для нас самих полуподозренной тайной.

Так шли дни - туго, неровно, но не скучно.

Нечто странное происходило с Неждановым. Он был недоволен собою, своей деятельностью, то есть своим бездействием; речи его почти постоянно отзывались желчью и едкостью самобичевания; а на душе у него - где-то там, очень далеко внутри - было недурно; он испытывал даже некоторое успокоение. Было ли то следствием

деревенского затишья, воздуха, лета, вкусной пищи, удобного житья, происходило ли оно оттого, что ему в первый раз отроду случилось изведать сладость соприкосновения с женскою душою, - сказать трудно; но ему, в сущности, было даже легко, хотя он и жаловался - искренно жаловался - другу своему, Силину.

Впрочем, это настроение Нежданова было внезапно и насильственно прервано в один день.

Утром того дня он получил записку от Василия Николаевича, в которой предписывалось ему вместе с Маркеловым - в ожидании дальнейших инструкций немедленно познакомиться и сговориться с уже поименованным Соломиным и некоторым купцом Голушкиным, старообрядцем, проживавшим в С. Записка эта перетревожила Нежданова; упрек его бездействию послышался ему в ней. Горечь, которая все это время кипела у него на одних словах, теперь снова поднялась со дна его души.

К обеду приехал Калломейцев, расстроенный и раздраженный.

- Представьте,- закричал он почти слезливым голосом, - какой ужас я сейчас вычитал в газете: моего друга, моего милого Михаила, сербского князя, какие-то злодеи убили в Белграде! До чего, наконец, дойдут эти якобинцы и революционеры, если им не положат твердый предел!

Сипягин "позволил себе заметить", что это гнусное убийство, вероятно, совершено не якобинцами - "коих в Сербии не предполагается", - а людьми партии Карагеоргиевичей, врагами Обреновичей... Но Калломейцев ничего слышать не хотел и тем же слезливым голосом начал снова рассказывать, как покойный князь его любил и какое ему подарил ружье!..

Понемногу расходившись и придя в азарт, Калломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам - и разразился наконец целой филиппикой. Обхватив, по-модному, большой белый хлеб обеими руками и переламывая его пополам над тарелкой супа, как это делают завзятые парижане в "Cafe Riche", он изъявлял желание раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются - чему бы и кому бы то ни было!! Он именно так выразился. "Пора! пора!" - твердил он, занося себе ложку в рот. "Пора! пора!" - повторял он, подставляя рюмку слуге, разливавшему херес. С благоговеньем упомянул он о великих московских публицистах - и Ladislas, notre bon et cher Ladislas, не сходил у него с языка.

И при этом он то и дело устремлял взор на Нежданова, словно

тыкал его им. "Вот мол тебе! Получай загвоздку! Это я на твой счет! А вот еще!" Тот не вытерпел, наконец, и начал возражать - немного, правда, трепетным (конечно, не от робости) и хриповатым голосом; начал защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Калломейцев немедленно запищал - негодование в нем всегда выражалось фальцетом - и стал грубить. Сипягин величественно принял сторону Нежданова; Валентина Михайловна тоже соглашалась с мужем; Анна Захаровна старалась отвлечь внимание Коли и бросала куда ни попало яростные взгляды из-под нависшего чепца; Марианна не шевелилась, словно окаменела.

Но вдруг, услышав в двадцатый раз произнесенное имя Ladislas'a, Нежданов вспыхнул весь и, ударив ладонью по столу, воскликнул:

- Вот нашли авторитет! Как будто мы не знаем, что такое этот Ladislas! Он - прирожденный клеврет, и больше ничего!

- А... а... а... во... вот как... вот ку... куда! - простонал Калломейцев, заикаясь от бешенства... - Вы вот как позволяете себе отзываться о человеке, которого уважают такие особы, как граф Блазенкрампф (пословно - судорога мочевого пузыря - нем.) и князь Коврижкин!

Нежданов пожал плечами.

- Хороша рекомендация: князь Коврижкин, этот лакей-энтузиаст...

- Ladislas - мой друг! - закричал Калломейцев. - Он мой товарищ - и я...

- Тем хуже для вас, - перебил Нежданов, - значит, вы разделяете его образ мыслей и мои слова относятся также к вам.

Калломейцев помертвел от злости.

- Ка... как? Что? Как вы смеете? На... надобно вас... сейчас...

- Что вам угодно сделать со мною сейчас? - вторично, с иронической вежливостью перебил Нежданов.

Бог ведает, чем бы разрешилась эта схватка между двумя врагами, если бы Сипягин не прекратил ее в самом начале. Возвысив голос и приняв осанку, в которой неизвестно что преобладало: важность ли государственного человека или же достоинство хозяина дома - он с спокойной твердостью объявил, что не желает слышать более у себя за столом подобные неумеренные выражения; что он давно поставил себе правилом (он поправился: священным правилом) уважать всякого рода убеждения, но только с тем (тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом), чтобы они удерживались в известных границах благопристойности и благоприличия; что если он, с одной стороны, не может не осудить в г-не Нежданове некоторую невоздержность языка, извиняемую, впрочем, молодостью его лет, то,

с другой стороны, не может также одобрить в г-не Калломейцеве ожесточение его нападок на людей противного лагеря - ожесточение, объясняемое, впрочем, его рвением к общему благу.

- Под моим кровом, - так кончил он, - под кровом Сипягиных, нет ни якобинцев, ни клевретов, а есть только добросовестные люди, которые, однажды поняв друг друга, непременно кончат тем, что подадут друг другу руки!

Нежданов и Калломейцев умолкли оба - однако руки друг другу не подали; видно, час взаимного понимания не наступил для них. Напротив: они никогда еще не чувствовали такой сильной взаимной ненависти. Обед кончился в неприятном и неловком молчании; Сипягин попытался рассказать какой-то дипломатический анекдот, но так и бросил его на полпути. Марианна упорно глядела в свою тарелку. Ей не хотелось выказать сочувствия, возбужденного в ней речами Нежданова, не из трусости - о, нет! но надо было прежде всего не выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себе ее проницательный, пристальный взор.

И действительно, Сипягина не спускала с нее глаз - с нее и с Нежданова. Его неожиданная вспышка сперва поразила умную барыню, а потом ее как будто что озарило - да так, что она невольно шепнула: - А!.. Она вдруг догадалась, что Нежданов отвернулся от нее, тот самый Нежданов, который еще недавно шел к ней в руки. "Тут что-то произошло... Уж не Марианна ли? Да, наверное, Марианна ... Он ей нравится... да и он..."

"Надо принять меры", - так заключила она свои рассуждения, а между тем Калломейцев задыхался от негодования. Даже играя в преферанс, часа два спустя, он произносил слова: "Пас!" или "Покупаю!" - с наболевшим сердцем, и в голосе его слышалось глухое тремоло обиды, хотя он и показывал вид, что "презирает"! Один Сипягин был, собственно, даже очень доволен всей этой сценой. Ему пришлось выказать силу своего красноречия, усмирить начинавшуюся бурю... Он знал латинский язык, и вергилиевское: Quos ego! (Я вас!) - не было ему чуждым. Сознательно он не сравнивал себя с Нептуном, но как-то сочувственно вспомнил о нем.

XV

Как только оказалось возможным, Нежданов отправился к себе в комнату и заперся. Ему не хотелось ни с кем видеться - ни с кем, кроме Марианны. Ее комната находилась на самом конце длинного коридора, пересекавшего весь верхний этаж. Нежданов только раз - и то на несколько минут - заходил туда; но ему казалось, что она не

рассердится, если он к ней постучится, что она даже желает переговорить с ним. Было уже довольно поздно, часов около десяти; хозяева, после сцены за обедом, не считали нужным его тревожить и продолжали играть в карты с Калломейцевым. Валентина Михайловна раза два наведалась о Марианне, так как она тоже исчезла скоро после стола. - Где же Марианна Викентьевна? - спросила она сперва по-русски, потом по-французски, не обращаясь ни к кому в особенности, а более к стенам, как это обыкновенно делают очень удивленные люди; впрочем, она вскоре сама занялась игрой.

Нежданов прошелся несколько раз по своей комнате, потом отправился по коридору до Марианниной двери - и тихонько постучался. Ответа не было. Он постучался еще раз - попытался отворить дверь... Она оказалась запертою. Но не успел он вернуться к себе, сесть на стул, как его собственная дверь слабо скрипнула и послышался голос Марианны:

- Алексей Дмитрич, это вы приходили ко мне?

Он тотчас вскочил и бросился в коридор; Марианна стояла перед дверью, со свечой в руке, бледная и неподвижная.

- Да... я... - шепнул он.

- Пойдемте, - отвечала она и пошла по коридору; но, не дойдя до конца, остановилась и толкнула рукою низкую дверь. Нежданов увидал небольшую, почти пустую комнату. - Войдемте лучше сюда, Алексей Дмитрич, здесь нам никто не помешает. - Нежданов повиновался. Марианна поставила свечку на подоконник и обернулась к Нежданову .

- Я понимаю, почему вам именно меня хотелось видеть, - начала она, - вам очень тяжело жить в этом доме, и мне тоже.

- Да; я хотел вас видеть, Марианна Викентьевна,- отвечал Нежданов, - но мне не тяжело здесь с тех пор, как я сблизился с вами.

Марианна улыбнулась задумчиво.

- Спасибо, Алексей Дмитрич, - но скажите, неужели вы намерены остаться здесь после всех этих безобразий?

- Я думаю, меня здесь не оставят - мне откажут! - отвечал Нежданов.

- А сами вы не откажетесь?

- Сам... Нет.

- Почему?

- Вы хотите знать правду? Потому что вы здесь.

Марианна наклонила голову и отошла немного в глубь комнаты.

- И к тому же, - продолжал Нежданов, - я обязан остаться здесь. Вы

ничего не знаете, но я хочу, я чувствую, что должен вам все сказать. - Он подступил к Марианне и схватил ее за руку. Она ее не приняла - и только посмотрела ему в лицо. - Послушайте! - воскликнул он с внезапным, сильным порывом. - Послушайте меня! - И тотчас же, не садясь ни на одно из двух-трех стульев, находившихся в комнате, продолжая стоять перед Марианной и держать ее руку, Нежданов с увлечением, с жаром, с неожиданным для него самого красноречием сообщил Марианне свои планы, намерения, причину, заставившую его принять предложение Сипягина, - все свои связи, знакомства, свое прошедшее, все, что он скрывал, что никому не высказывал! Он упомянул о полученных письмах, о Василии Николаевиче, обо всем - даже о Силине! Он говорил торопливо, без запинки, без малейшего колебанья - словно он упрекал себя в том, что до сих пор не посвятил Марианны во все свои тайны, словно извинялся перед нею. Она его слушала внимательно, жадно; на первых порах она изумилась...

Но это чувство тотчас исчезло. Благодарностъ, гордость, преданность, решимость - вот чем переполнялась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли; она положила другую свою руку на руку Нежданова - ее губы раскрылись восторженно... Она вдруг страшно похорошела!

Он остановился наконец - глянул на нее и как будто впервые увидал это лицо, которое в то же время так было и дорого ему, и так знакомо.

Он вздохнул сильно, глубоко

- Ах, как я хорошо сделал, что вам все сказал! едва могли шепнуть его губы.

- Да, хорошо... хорошо! - повторила она тоже шепотом. Она невольно подражала ему, да и голос ее угас.- И значит, вы знаете, - продолжала она, что я в вашем распоряжении, что я хочу быть тоже полезной вашему делу, что я готова сделать все, что будет нужно, пойти куда прикажут, что я всегда, всею душою, желала того же, что и вы...

Она тоже умолкла. Еще одно слово - и у ней брызнули бы слезы умиления. Все ее крепкое существо стало внезапно мягко как воск. Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной - вот чем она томилась.

Чьи-то шаги послышались за дверью - осторожные, быстрые, легкие шаги.

Марианна вдруг выпрямилась, освободила свои руки - и вся тотчас переменилась и повеселела. Что-то презрительное, что-то удалое мелькнуло по ее лицу.

- Я знаю, кто нас подслушивает в эту минуту, - проговорила она так громко, что в коридоре явственным отзвучием раздавалось каждое ее слово, - госпожа Сипягина подслушивает нас... но мне это совершенно все равно.

Шорох шагов прекратился.

- Так как же? - обратилась Марианна к Нежданову, - что же мне делать? как помочь вам? Говорите... говорите скорей! Что делать?

- Что? - промолвил Нежданов. - Я еще не знаю... Я получил от Маркелова записку...

- Когда? Когда?

- Сегодня вечером. Надо мне ехать завтра с ним к Соломину на завод.

- Да... да... Вот еще славный человек - Маркелов! Вот настоящий друг!

- Такой же, как я?

Марианна глянула прямо в лицо Нежданову.

- Нет - не такой же.

- Как?

Она вдруг отвернулась.

- Ах! да разве вы не знаете, чем вы для меня стали и что я чувствую в эту минуту...

Сердце Нежданова сильно забилось, и взор опустился невольно. Эта девушка, которая полюбила его - его, бездомного горемыку, - которая ему доверяется, которая готова идти за ним, вместе с ним, к одной и той же цели, - эта чудесная девушка - Марианна - в это мгновенье стала для Нежданова воплощением всего хорошего, правдивого на земле, воплощением не испытанной им семейной, сестриной, женской любви, - воплощением родины, счастья, борьбы, свободы!

Он поднял голову - и увидал ее глаза, снова на него обращенные...

О, как проникал их светлый, славный взгляд в самую глубь его души!

- Итак, - начал он неверным голосом, - я еду завтра... И когда я вернусь оттуда, я скажу... вам... (ему вдруг стало неловко говорить Марианне "вы"), скажу вам, что узнаю, что будет решено. Отныне все, что я буду делать, все, что я буду думать, - все, все сперва узнаешь... ты.

- О мой друг! - воскликнула Марианна и опять схватила его руку. - Я то же самое обещаю тебе!

Это "тебе" вышло у ней так легко и просто, как будто иначе и

нельзя было как будто это было товарищеское "ты".

- А письмо можно видеть?

- Вот оно, вот.

Марианна пробежала письмо и чуть не с благоговением подняла на него взор.

- На тебя возлагают такие важные поручения?

Он улыбнулся ей в ответ и спрятал письмо в карман.

- Странно, - промолвил он, - ведь мы объяснились друг другу в любви - мы любим друг друга, - а ни слова об этом между нами не было.

- К чему? - шепнула Марианна и вдруг бросилась к нему на шею, притиснула свою голову к его плечу... Но они даже не поцеловались - это было бы пошло и почему-то жутко, так, по крайней мере, чувствовали они оба, - и тотчас же разошлись, крепко-крепко стиснув друг другу руку.

Марианна вернулась за свечой, которую оставила на подоконнике пустой комнаты, - и только тут нашло на нее нечто вроде недоумения. Она погасила ее и в глубокой темноте, быстро скользнув по коридору, вернулась в свою комнату, разделась и легла в той же для нее почему-то отрадной темноте.

XVI

На другое утро, когда Нежданов проснулся, он не только не почувствовал никакого смущения при воспоминании о том, что произошло накануне, но напротив: он исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью, точно он совершил дело, которое, по-настоящему, давно следовало совершить. Отпросившись на два дня у Сипягина, который согласился на его отлучку немедленно, но строго, Нежданов уехал к Маркелову. Перед отъездом он успел свидеться с Марианной. Она тоже нисколько не стыдилась и не смущалась, глядела спокойно и решительно, и спокойно говорила ему "ты". Волновалась она только о том, что он узнает у Маркелова, и просила сообщить ей все.

- Это само собою разумеется, - отвечал Нежданов.

"И в самом деле, - думалось ему, - чего нам тревожиться? В нашем сближении личное чувство играло роль... второстепенную - а соединились мы безвозвратно. Во имя дела? Да, во имя дела!"

Так думалось Нежданову, и он сам не подозревал, сколько было правды - и неправды - в его думах.

Он застал Маркелова в том же усталом и суровом настроении духа. Пообедавши кое-как и кое-чем, они отправились в известном уже нам тарантасе (вторую пристяжную, очень молодую и не бывавшую еще в

упряжке лошадь, взяли напрокат у мужика - маркеловская еще хромала) на большую бумагопрядильную фабрику купца Фалеева, где жил Соломин. Любопытство Нежданова было возбуждено: ему очень хотелось поближе познакомиться с человеком, о котором в последнее время он слышал так много. Соломин был предупрежден; как только оба путешественника остановились у ворот фабрики и назвались их немедленно провели в невзрачный флигелек, занимаемый "механиком-управляющим". Сам он находился в главном фабричном корпусе; пока один из рабочих бегал за ним, Нежданов и Маркелов успели подойти к окну и осмотреться. Фабрика, очевидно, была в полном расцветании и завалена работой; отовсюду несся бойкий гам и гул непрестанной деятельности: машины пыхтели и стучали, скрыпели станки, колеса жужжали, хлюпали ремни, катились и исчезали тачки, бочки, нагруженные тележки; раздавались повелительные крики, звонки, свистки; торопливо пробегали мастеровые в подпоясанных рубахах, с волосами, прихваченными ремешком, рабочие девки в ситцах; двигались запряженные лошади... Людская тысячеголовая сила гудела вокруг, натянутая как струна.

Все шло правильно, разумно, полным махом; но не только щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в чем; напротив всюду поражала небрежность, грязь, копоть; там стекло в окне разбито, там облупилась штукатурка, доски вывалились, зевает настежь растворенная дверь; большая лужа, черная, с радужным отливом гнили, стоит посреди главного двора; дальше торчат груды разбросанных кирпичей; валяются остатки рогож, циновок, ящиков, обрывки веревок; шершавые собаки ходят с подтянутыми животами и даже не лают; в уголку под забором сидит мальчик лет четырех, с огромным животом и взъерошенной головой, весь выпачканный в саже, - сидит и безнадежно плачет, словно оставленный целым миром рядом с ним, замаранная той же сажей, свинья, окруженная пестрыми поросятами, пожирает капустные кочерыжки; дырявое белье болтается на протянутой веревке - а какой смрад, какая духота всюду! Русская фабрика - как есть; не немецкая и не французская мануфактура.

Нежданов глянул на Маркелова.

- Мне столько натолковали об отменных способностях Соломина, - начал он, что, признаюсь, меня весь этот беспорядок удивляет; я этого не ожидал.

- Беспорядка тут нет, - отвечал угрюмо Маркелов, - а неряшливость русская. Все-таки миллионное дело! А ему приспособляться приходится: и к старым обычаям, и к делам, и к самому хозяину. Вы

имеете ли понятие о Фалееве ?

- Никакого.

- Первый по Москве алтынник. Буржуй - одно слово!

В эту минуту Соломин вошел в комнату. Нежданову пришлось разочароваться в нем так же, как и в фабрике. На первый взгляд Соломин производил впечатление чухонца или, скорее, шведа. Он был высокого роста, белобрыс, сухопар, плечист; лицо имел длинное, желтое, нос короткий и широкий, глаза очень небольшие, зеленоватые, взгляд спокойный, губы крупные и выдвинутые вперед; зубы белые, тоже крупные, и раздвоенный подбородок, чуть-чуть обросший пухом. Одет он был ремесленником, кочегаром: на туловище старый пиджак с отвислыми карманами, на голове клеенчатый помятый картуз, на шее шерстяной шарф, на ногах дегтярные сапоги. Его сопровождал человек лет сорока, в простой чуйке, с чрезвычайно подвижным цыганским лицом и черными как смоль, пронзительными глазами, которыми он, как только вошел, так разом и окинул Нежданова... Маркелова он уже знал. Звали его Павлом; он слыл фактотумом Соломина.

Соломин подошел не спеша к обоим посетителям, даванул молча руку каждого из них своей мозолистой, костлявой рукой, вынул из стола запечатанный пакет и передал его, тоже молча, Павлу, который тотчас и вышел вон из комнаты. Потом он потянулся, крякнул; сбросив картуз с затылка долой одним взмахом руки, присел на деревянный крашеный стульчик и, указав Маркелову и Нежданову на такой же диван, промолвил:

- Прошу!

Маркелов сперва познакомил Соломина с Неждановым; тот ему снова даванул руку. Потом Маркелов начал говорить о "деле", упомянул о письме Василия Николаевича. Нежданов подал это письмо Соломину. Пока он читал внимательно и не торопясь, переводя глаза со строки на строку, Нежданов глядел на него. Соломин сидел близ окна; уже низкое солнце ярко освещало его загорелое, слегка вспотевшее лицо, его белокурые запыленные волосы, зажигая в них множество золотистых точек. Его ноздри подрыгивали и раздувались во время чтения и губы шевелились, как бы произнося каждое слово; он держал письмо крепко и высоко обеими руками. Все это, бог ведает почему, нравилось Нежданову. Соломин возвратил письмо Нежданову, улыбнулся ему и опять принялся слушать Маркелова. Тот говорил, говорил - и умолк наконец.

- Знаете ли что, - начал Соломин, и голос его, немного сиплый, но молодой и сильный, тоже понравился Нежданову, - у меня здесь не совсем удобно; поедемте-ка к вам - до вас всего семь верст. Ведь вы в тарантасе приехали ?

- Да.

- Ну... место мне будет. Через час у меня работы кончаются, и я свободен. Мы и потолкуем. Вы тоже свободны ? - обратился он к Нежданову.

- До послезавтра.

- И прекрасно. Мы вот заночуем у них. Можно будет, Сергей Михайлович?

- Что за вопрос! Конечно, можно.

- Ну - я сейчас. Дайте только пообчиститься немного.

- А как у вас по фабрике? - значительно спросил Маркелов.

Соломин глянул в сторону.

- Мы потолкуем, - промолвил он вторично. - Погодите-ка... я сейчас... Я кое-что забыл. Он вышел. Если бы не хорошее впечатление, которое он произвел на Нежданова, тот бы, пожалуй, подумал и даже, быть может, спросил бы у Маркелова: "Уж не отлынивает ли он?" Но ему ничего подобного в голову не пришло.

Час спустя, в то время, когда из всех этажей громадного здания по всем лестницам спускалась и во все двери выливалась шумная фабричная толпа, тарантас, в котором сидели Маркелов, Нежданов и Соломин, выезжал из ворот на дорогу.

- Василий Федотыч! Действовать? - закричал Соломину напоследях Павел, проводивший его до ворот.

- Попридержи... - отвечал Соломин. - Это насчет одной ночной операции, пояснил он своим товарищам.

Приехали они в Борзенково, поужинали - больше приличия ради, - а там запылали сигары и начались разговоры, те ночные, неутомимые русские разговоры, которые в таких размерах и в таком виде едва ли свойственны другому какому народу. Впрочем, и тут Соломин не оправдал ожиданий Нежданова. Он говорил замечательно мало... так мало, что почти, можно сказать, постоянно молчал; но слушал пристально, и если произносил какое-либо суждение или замечание, то оно было и дельно, и веско, и очень коротко. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них - не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого "ничего ты не поделаешь" и которого долго готовить надо - да и не так и не тому, как те. Вот он и держался в стороне - не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить не

себя ни других. А послушать... отчего не послушать - и даже поучиться, если так придется. Соломин был единственный сын дьячка: у него было пять сестер - все замужем за попами и дьяконами; но он с согласия отца, степенного и трезвого человека, бросил семинарию, стал заниматься математикой и особенно пристрастился к механике; попал на завод к англичанину, который полюбил его как сына и дал ему средства съездить в Манчестер, где он пробыл два года и выучился английскому языку.

На фабрику московского купца он попал недавно и хотя с подчиненных взыскивал, - потому что в Англии на эти порядки насмотрелся, - но пользовался их расположением: свой, дескать, человек! Отец им был очень доволен, называл его "обстоятельным" и только жалел о том, что сын жениться не желает.

В течение ночного разговора у Маркелова Соломин, как мы уже сказали, почти все молчал; но когда Маркелов принялся толковать о надеждах, возлагаемых им на фабричных, Соломин, по своему обыкновению, лаконически заметил, что у нас на Руси фабричные не то, что за границей, - самый тихоня народ.

- А мужики? - спросил Маркелов.

- Мужики? Кулаков меж ними уже теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет, а кулаки только свою выгоду знают; остальные - овцы, темнота.

- Так где же искать?

Соломин улыбнулся.

- Ищите и обрящете.

Он почти постоянно улыбался, и улыбка его была тоже какая-то бесхитростная - но не безотчетная, как и весь он. С Неждановым он обходился особенным образом: молодой студент возбуждал в нем участие, почти нежность. В течение того же ночного разговора Нежданов вдруг разгорячился и пришел в азарт; Соломин тихонько встал и, перейдя своей развалистой походкой через всю комнату, запер открывшееся за головой Нежданова окошко...

- Как бы вы не простудились, - добродушно промолвил он в ответ на изумленный взгляд оратора. Нежданов стал расспрашивать его о том, какие социальные идеи он пытается провести во вверенной ему фабрике и намерен ли он устроить дело так, чтобы работники участвовали в барыше?

- Душа моя! - отвечал Соломин, мы школу завели и больницу маленькую - да и то патрон упирался, как медведь!

Раз только Соломин рассердился не на шутку и так ударил своим

могучим кулаком по столу, что все на нем подпрыгнуло, не исключая пудовой гирьки, приютившейся возле чернильницы. Ему рассказали о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели...

Когда же Нежданов и Маркелов принимались говорить, как "приступить", как привести план в действие, Соломин продолжал слушать с любопытством, даже с уважением - но сам уже не произносил ни слова. До четырех часов длилась эта их беседа. И о чем, о чем они не перетолковали! Маркелов между прочим таинственно намекнул на неутомимого путешественника Кислякова, на его письма, которые становятся все интереснее да интереснее, он обещал показать Нежданову некоторые из них и даже дать их ему на дом, так как они очень пространны и писаны не совсем разборчивым почерком; да и сверх того, в них много учености и даже стихи попадаются - но не какие-нибудь легкомысленные, а с социалистическим направлением! От Кислякова Маркелов перешел к солдатам, к адъютантам, к немцам - договорился наконец до своих артиллерийских статей; Нежданов упомянул об антагонизме Гейне и Берне, о Прудоне, о реализме в искусстве, а Соломин слушал, слушал, вникал, покуривал - и, не переставая улыбаться, не сказав ни одного остроумного слова, казалось, лучше всех понимал, в чем состояла, собственно, вся суть.

Пробило четыре часа... Нежданов и Маркелов едва держались на ногах от усталости, а Соломон хоть бы в одном глазе!

Приятели разошлись; но прежде было сообща положено: на следующий день отправиться в город к староверу купцу Голушкину, для пропаганды: сам Голушкин был очень ретив - да и обещал прозелитов! Соломин высказал было сомнение: стоит ли посещать Голушкина? Однако потом согласился, что стоит.

XVII

Гости Маркелова еще спали, когда к нему явился посланец с письмом от его сестры, г-жи Сипягиной. В этом письме Валентина Михайловна говорила ему о каких-то хозяйственных пустячках, просила его послать ей взятую им книгу - да кстати в постскриптуме сообщала ему "забавную" новость: его бывшая пассия, Марианна, влюбилась в учителя Нежданова, а учитель в нее; и это она, Валентина Михайловна, не сплетни передает, а видела все собственными глазами и слышала собственными ушами. Лицо Маркелова стало темнее ночи... но он и слова не промолвил: велел отдать посланцу книгу - и, увидевши сошедшего сверху Нежданова, обычным образом с ним поздоровался, даже передал ему обещанную пачку кисляковских посланий, но не остался с ним, а ушел "по-хозяйству."

Нежданов вернулся к себе в комнату и пробежал отданные ему письма. Молодой пропагандист в них толковал постоянно о себе, о своей судорожной деятельности по его словам, он в последний месяц обскакал одиннадцать уездов, был в девяти городах, двадцати девяти селах, пятидесяти трех деревнях, одном хуторе и восьми заводах; шестнадцать ночей провел в сенных сараях, одну в конюшне, одну даже в коровьем хлеве (тут он заметил в скобках с нотабене, что блоха его не берет); лазил по землянкам, по казармам рабочих, везде поучал, наставлял, книжки раздавал и на лету собирал сведения; иные записывал на месте, другие заносил себе в память, по новейшим приемам мнемоники; написал четырнадцать больших писем, двадцать восемь малых и восемнадцать записок (из коих четыре карандашом, одну кровью, одну сажей, разведенной на воде); и все это он успевал сделать, потому что научился систематически распределять время, принимая в руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкого, Каррелиуса и других публицистов и статистиков. Потом он говорил опять-таки о себе, о своей звезде, о том, как и в чем именно он дополнил теорию страстей Фуриэ; уверял, что он первый отыскал наконец "почву", что он "не пройдет над миром безо всякого следа", что он сам удивляется тому, как это он, двадцатидвухлетний юноша, уже решил все вопросы жизни и науки - и что он перевернет Россию, даже "встряхнет" ее! Dixi!!- приписывал он в строку. Это слово: Dixi - попадалось часто у Кислякова и всегда с двумя восклицательными знаками. В одном из писем находилось и социалистическое стихотворение, обращенное к одной девушке и начинавшееся словами:

Люби не меня - но идею!

Нежданов внутренно подивился не столько самохвальству г-на Кислякова, сколько честному добродушию Маркелова ... но тут же подумал: "Побоку эстетика! и господин Кисляков может быть полезен".

К чаю все три приятеля сошлись в столовой; но вчерашнее словопрение между ними не возобновилось.

Никому из них не хотелось говорить - но один Соломин молчал спокойно; и Нежданов и Маркелов казались внутренно взволнованными.

После чаю они отправились в город; старый слуга Маркелова, сидя на рундучке, сопровождал своего бывшего барина обычным унылым взором. [лдн-книги2]

Купец Голушкин, с которым предстояло познакомиться Нежданову, был сын разбогатевшего торговца москательным товаром -

из староверов-федосеевцев. Сам он не увеличил отцовского состояния, ибо был, как говорится, жуир, эпикуреец на русский лад - и никакой в торговых делах сообразительности не имел. Это был человек лет сорока, довольно тучный и некрасивый, рябой, с небольшими свиными глазками; говорил он очень поспешно и как бы путаясь в словах; размахивал руками, ногами семенил, похохатывал ... вообще производил впечатление парня дурковатого, избалованного и крайне самолюбивого. Сам он почитал себя человеком образованным, потому что одевался по-немецки и жил хотя грязненько, да открыто, знался с людьми богатыми - и в театр ездил, и протежировал каскадных актрис, с которыми изъяснялся на каком-то необычайном, якобы французском языке. Жажда популярности была его главною страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету!

То Суворов или Потемкин - а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию (прежде он говорил просто "в позицию", но потом его научили) - свела его с нигилистами: он высказывал самые крайние мнения, трунил над собственным староверством, ел в пост скоромное, играл в карты, а шампанское пил, как воду. И все сходило ему с рук; потому, говорил он, у меня всякое, где следует, начальство закуплено, всякая прореха зашита, все рты заткнуты, все уши завешены. Он был вдов, бездетен; сыновья его сестры с подобострастным трепетом вились около него... но он обзывал их непросвещенными олухами, варварами и едва пускал их к себе на глаза. Жил он в большом каменном, довольно неряшливо содержанном доме; в иных комнатах мебель была заграничная, а в иных ничего не было, кроме крашеных стульев да клеенчатого дивана. Картины висели везде - и везде прескверные: рыжие ландшафты, лиловые морские виды, "Поцелуй" Моллера, толстые голые женщины с красными коленками и локтями. Хоть у Голушкина и не было семьи но много разной челяди и приживальщиков ютилось под его кровлей: не из щедрости принимал он их, а опять-таки из популярничанья - да чтоб было над кем командовать и ломаться. "Мои клиенты", - говорил он, когда желал пыль пустить в глаза; книг он не читал, а ученые выражения запоминал отлично.

Молодые люди застали Голушкина в его кабинете. Облеченный в долгополое пальто, с сигарой во рту, он притворялся, что читает газету. При виде их он тотчас вскочил, заметался, покраснел, закричал, чтобы скорей подавали закуску, что-то спросил, чему-то засмеялся - и все это разом. Маркелова и Соломона он знал; Нежданов был для него

новое лицо. Услышав, что он студент, Голушкин опять засмеялся, пожал ему вторично руку и промолвил:

- Славно! славно! нашего полку прибыло... Учение свет, неучение тьма - я сам на медные гроши учен, но понимаю, потому достиг!

Нежданову показалось, что г-н Голушкин робеет и конфузится... да оно действительно и было так. "Смотри, брат Капитон! не ударь лицом в грязь!" было его первой мыслью при виде каждого нового лица. Он, однако.. скоро оправился и тем же торопливо-шепелявым, спутанным языком начал говорить о Василии Николаевиче, об его характере, о необходимости про... па... ганды (он это слово хорошо знал, но выговаривал медленно); о том, что у него, Голушкина, открылся новый молодец, пренадежный; что, кажется, время теперь уже близко, назрело для... для ланцета (при этом он глянул на Маркелова, который, однако, даже бровью не повел); потом, обратясь к Нежданову, он принялся расписывать самого себя, не хуже чем сам великий корреспондент Кисляков. Что он, мол, из самодуров вышел давно, что он хорошо знает права пролетариев (и это слово он помнил твердо), что хотя он собственно торговлю бросил и занимается банковыми операциями - для наращения капитала, - но это только для того, чтобы капитал сей в данную минуту мог послужить в пользу... в пользу общему движению, в пользу, так сказать, народу; а что он, Голушкин, в сущности презирает капитал! Тут вошел человек с закуской, и Голушкин значительно крякнул и попросил: не угодно ли пройтись по рюмочке? - и сам первый "хлопнул" внушительную чарочку перцовки.

Гости принялись за закуску. Голушкин запихивал себе в рот громадные куски паюсной икры и пил исправно, приговаривая: "Пожалуйте, господа, пожалуйте, хороший маончик!" Снова обратившись к Нежданову, он спросил его, откуда он прибыл, надолго ли и где обретается; а узнав, что он живет у Сипягина, воскликнул:

- Знаю я этого барина! Пустой! - И тут же начал бранить всех землевладельцев С...ой губернии за то, что в них не только нет ничего гражданственного, но даже собственных интересов они не чувствуют... Только чудное дело! - сам бранится, а глаза бегают и видно в них беспокойство. Нежданов не мог себе хорошенько отдать отчета, что это за человек и зачем он им нужен.

Соломин, по обыкновению, помалчивал; а Маркелов принял такой сумрачный вид, что Нежданов спросил его наконец: что с ним? - На что Маркелов отвечал, что с ним - ничего, но таким тоном, каким обыкновенно отвечают люди, когда хотят дать понять, что есть, мол, что-то, да не про тебя. Голушкин опять принялся сперва бранить кого-

то, а потом хвалить молодежь: какие, дескать, теперь умницы пошли! У-умницы! У! Соломин перебил его вопросом: кто, мол, тот молодец надежный, о котором он говорил, и где он его отыскал? Голушкин расхохотался, повторил раза два: а вот увидите, увидите - и начал расспрашивать его об его фабрике и об ее "плуте"-владельце, на что Соломин отвечал весьма односложно. Тогда Голушкин налил всем шампанского и, наклонясь к уху Нежданова, шепнул: - За республику! - и выпил бокал залпом. Нежданов пригубил.

Соломин заметил, что он вина утром не пьет; Маркелов злобно и решительно выпил свой бокал до дна. Казалось, нетерпенье грызло его: вот, мол, мы все прохлаждаемся, а к настоящему разговору не приступаем... Он ударил по столу, сурово промолвил: - Господа! - и собрался было говорить...

Но в это мгновенье вошел в комнату прилизанный человечек с кувшинным рыльцем и чахоточный на вид, в купеческом нанковом кафтанчике, обе руки на отлет. Поклонившись всей компании, человек доложил что-то вполголоса Голушкину.

- Сейчас, сейчас, - отвечал тот торопливо. - Господа, - прибавил он, - я должен просить извинения... Мне Вася вот, мой приказчик, одну таку "вещию" сказал (Голушкин выразился так нарочно, шутки ради), что мне беспременно предстоит на время отлучиться; но надеюсь, господа, что вы согласитесь у меня сегодня откушать - в три часа; и гораздо тогда нам будет свободнее!

Ни Соломин, ни Нежданов не знали, что ответить; но Маркелов тотчас промолвил, с той же суровостью на лице и в голосе:

- Конечно, будем; а то что же это за комедия?

- Благодарим покорно, - подхватил Голушкин и, нагнувшись к Маркелову, присовокупил: - "Тыщу" рублев во всяком случае на дело жертвую... в этом не сомневайся!

И при этом он раза три двинул правой рукой с оттопыренными мизинцем и большим пальцем: "верно, значит!"

Он проводил гостей до двери и, стоя на пороге, крикнул:

- Буду ждать в три часа!

- Жди! - отвечал один Маркелов.

- Господа! - промолвил Соломин, как только все трое очутились на улице. Я возьму извозчика - и поеду на фабрику. Что мы будем делать до обеда? Бить баклуши? Да и купец наш...мне кажется, от него, как от козла, - ни шерсти, ни молока.

- Ну, шерсть-то будет, - заметил угрюмо Маркелов. - Он вот деньги обещает. Или вы им брезгаете? Нам во все входить нельзя. Мы - не

разборчивые невесты.

- Стану я брезгать! - спокойно проговорил Соломин. - Я только себя спрашиваю, какую пользу мое присутствие может принести. А впрочем, - прибавил он, глянув на Нежданова и улыбнувшись, - извольте, останусь. На людях и смерть красна.

Маркелов поднял голову.

- Пойдем пока в городской сад; погода хорошая. На людей посмотрим.

- Пойдем.

Они пошли - Маркелов и Соломин впереди, Нежданов за ними.

XVIII

Странное было состояние его души. В последние два дня сколько новых ощущений, новых лиц... Он в первый раз в жизни сошелся с девушкой, которую по всей вероятности - полюбил; он присутствовал при начинаниях дела, которому - по всей вероятности - посвятил все свои силы... И что же? Радовался он? Нет. Колебался он? Трусил? Смущался? О, конечно нет. Так чувствовал ли он, по крайней мере, то напряжение всего существа, то стремление вперед, в первые ряды бойцов, которое вызывается близостью борьбы? тоже нет. Да верит ли он, наконец, в это дело? Верит ли он в свою любовь? - О, эстетик проклятый! Скептик! - беззвучно шептали его губы. - Отчего эта усталость, это нежелание даже говорить, как только он не кричит и не беснуется? Какой внутренний голос желает он заглушить в себе этим криком?

Но Марианна, этот славный, верный товарищ, эта чистая, страстная душа, эта чудесная девушка, разве она его не любит? Не великое разве это счастье, что он встретился с нею, что он заслужил ее дружбу, ее любовь?

И эти два существа, которые теперь идут перед ним, этот Маркелов, этот Соломин, которого он знал еще мало, но к которому чувствует такое влечение, разве они не отличные образчики русской сути, русской жизни - и знакомство, близость с ними не есть ли также счастье? Так отчего же это неопределенное, смутное, ноющее чувство? К чему, зачем эта грусть? - Коли ты рефлектер и меланхолик, - снова шептали его губы, - какой же ты к черту революционер? Ты пиши стишки, да кисни, да возись с собственными мыслишками и ощущеньицами, да копайся в разных психологических соображеньицах и тонкостях, а главное - не принимай твоих болезненных, нервических раздражений и капризов за мужественное негодование, за честную злобу убежденного человека! О Гамлет,

Гамлет, датский принц, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания?

- Алексис! Друг! Российский Гамлет! - раздался вдруг, как бы в отзвучие всем этим размышлениям, знакомый пискливый голос. - Тебя ли я вижу?!

Нежданов поднял глаза - и с изумлением увидел перед собою Паклина! Паклина в образе пастушка, облеченного в летнюю одежду бланжевого цвету, без галстука на шее, в большой соломенной шляпе, обвязанной голубой лентой и надвинутой на самый затылок, и в лаковых башмачках!

Он тотчас подковылял к Нежданову и ухватился за его руки.

- Во-первых, - начал он, - хотя мы в публичном саду, надо, по старинному обычаю, обняться... и поцеловаться... Раз! два! три! Во-вторых, ты знай, что, если бы я тебя не встретил сегодня, ты бы, наверное, завтра улицезрел меня, ибо мне известно твое местопребывание и я даже нарочно прибыл в сей город... каким манером - об этом после. В-третьих, познакомь меня с твоими товарищами. Скажи мне вкратце, кто они, а им - кто я, и будем наслаждаться жизнью!

Нежданов исполнил желание своего друга, назвал его, Маркелова, Соломина и сказал о каждом из них, кто он такой, где живет, что делает и т.п.

- Прекрасно! - воскликнул Паклин, - а теперь позвольте мне отвести вас всех вдаль от толпы, которой, впрочем, нет, на уединенную скамейку, сидя на которой я в часы мечтаний наслаждаюсь природой. Удивительный там вид: губернаторский дом, две полосатых будки, три жандарма и ни одной собаки! Не удивляйтесь, однако, слишком моим речам, которыми я столь тщетно стараюсь рассмешить вас! Я, по мнению моих друзей, представляю русское остроумие... оттого-то, вероятно, я и хромаю.

Паклин повел приятелей к "уединенной скамейке" и усадил их на ней, предварительно согнав с нее двух салопниц. Молодые люди "обменялись мыслями"... занятие большей частью довольно скучное - особенно на первых порах - и необыкновенно бесплодное.

- Стой! - воскликнул вдруг Паклин, обернувшись к Нежданову, - надо тебе объяснить, почему я здесь. Ты знаешь, я свою сестру каждое лето увожу куда-нибудь; когда я узнал, что ты отправляешься в соседство здешнего города, я и вспомнил, что в самом этом городе живут два удивительнейших субъекта: муж и жена, которые нам

доводятся сродни... по матери.

Мой отец был мещанин (Нежданов это знал, но Паклин сказал это для тех двух), а она - дворянка. И давным-давно они нас к себе зазывают! - Стой! думаю я... Это мне на руку. Люди они добрейшие, сестре у них будет - лафа; чего же больше? Вот мы и прикатили. И уж точно! Так нам здесь хорошо...сказать нельзя! Но что за субъекты! Что за субъекты! Вам непременно надо с ними познакомиться! - Что вы здесь делаете? Где вы обедаете? И зачем вы, собственно, сюда приехали?

- Мы обедаем сегодня у одного Голушкина... Здесь есть такой купец, отвечал Нежданов.

- В котором часу?

- В три часа.

- И вы видитесь с ним насчет... насчет... - Паклин обвел взором Соломина, который улыбался, и Маркелова, который все темнел да темнел...

- Да ты им, Алеша, скажи... сделай какой-нибудь фармазонский знак, право... скажи, что со мной ведь чиниться нечего... Ведь я ваш... вашего общества...

- Голушкин тоже наш, - заметил Нежданов.

- Ну вот и чудесно! До трех часов еще времени много. Послушайтесь меня пойдемте к моим родственникам!

- Да ты с ума сошел! Как же можно так...

- Об этом ты не беспокойся! уж это я на себя беру. Представь: оазис! Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает. Домик какой-то пузатенький каких теперь и не видать нигде; запах в нем - антик; люди - антик; воздух - антик... за что ни возьмись - антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, восемнадцатый век!

Хозяева... представь: муж и жена, оба старенькие-престаренькие, однолетки - и без морщин; кругленькие, пухленькие, опрятненькие, настоящие попугайчики-переклитки; а добры до глупости, до святости, бесконечно! Мне скажут, "бесконечная" доброта часто бывает сопряжена с отсутствием нравственного чувства...

Но я в эти тонкости не вхожу и знаю только, что мои старички-добрячки. И детей никогда не имели. Блаженные! Их так в городе блаженными и зовут. Одеты оба одинаково, в какие-то полосатые капоты - и материя такая добротная: такой тоже теперь нигде не сыщешь. Похожи друг на друга ужасно, только вот что у одной на голове чепец, а у другого колпак - и с такими же рюшами, как на

чепце; только без банта. Не будь этого банта - так и не узнаешь, кто - кто; к тому ж и муж-то безбородый.

И зовут их: одного - Фомушка, а другую - Фимушка. Я тебе говорю - деньги следовало бы платить, чтоб только посмотреть на них. Любят друг друга до невозможности; а посетит их кто - милости просим! И такие податливые: сейчас все свои штучки покажут. Только одно: курить у них нельзя; не то чтобы они были раскольники - но уж очень им табак мерзит... Да ведь в их времена кто же и курил? Зато и канареек они не держат, потому что птица эта тоже мало была тогда распространена... И это великое счастие - согласитесь! Ну что ж? идете вы?

- Я, право же, не знаю, - начал Нежданов.

- Стой: я еще не все сообщил. Голоса у них одинаковые: закрой глаза, так и не знаешь, кто говорит.

Только у Фомушки речь как будто почувствительней. Вот вы, господа, собираетесь теперь на великое дело, быть может на страшную борьбу... Что бы вам, прежде чем бросится в эти бурные волны, окунуться...

- В стоячую воду? - перебил Маркелов.

- А хоть бы и так? Стоячая она, точно; только не гнилая. Такие есть степные прудки; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи - там, на дне сердца, чистые-пречистые. Уж одно то: хотите вы узнать, как жили сто, полтораста лет тому назад? Так спешите, идите за мною. А то придет вдруг день и час - один и тот же час непременно для обоих, - и свалятся мои переклитки со своих жердочек, и всякий антик тотчас с ними прекратится, и пузатенький дом пропадет - и вырастет на его месте то, что, по словам моей бабушки, всегда вырастает на месте, где была "человечина", а именно: крапива, репейник, осот, полынь и конский щавель; самой улицы не будет - и придут люди, и ничего уже больше такого не найдут во веки веков!..

- А что? - воскликнул Нежданов, - и впрямь пойти?

- Я с великим даже удовольствием готов, - промолвил Соломин, - не по моей это части, а все-таки любопытно, и коли господин Паклин точно может поручиться, что мы своим приходом никого не обеспокоим, то... почему же...

- Да уж не сомневайтесь! - воскликнул в свою очередь Паклин, - восторг произведете - и больше ничего. Какие тут церемонии! Говорят вам: они блаженные, мы их петь заставим. А вы, господин Маркелов, согласны?

Маркелов сердито повел плечами.

- Не оставаться же мне тут одному! Извольте вести.

Молодые люди поднялись со скамейки.

- Какой это у тебя барин грозный, - шепнул Паклин Нежданову, указывая на Маркелова, - ни дать ни взять Иоанн Предтеча, наевшийся акрид... одних акрид, без меда! А тот, - прибавил он, кивнув головой на Соломина, - чудесный! Как это он славно улыбается! Я заметил, так улыбаются только такие люди, которые выше других, а сами этого не знают.

- Разве бывают такие люди? - спросил Нежданов.

- Редко; но бывают, - отвечал Паклин.

XIX

Фомушка и Фимушка - Фома Лаврентьевич и Евфимия Павловна Субочевы принадлежали оба к одному и тому же коренному русскому дворянскому роду и считались чуть ли не самыми старинными обитателями города С.

Они вступили в брак очень рано - и очень давно тому назад поселились в дедовском деревянном доме на краю города, никогда оттуда не выезжали и ни в чем никогда не изменили ни своего образа жизни, ни своих привычек. Время, казалось, остановилось для них; никакое "новшевство" не проникало за границу их "оазиса".

Состояние у них было небольшое; но мужички их по-прежнему привозили им по нескольку раз в год домашнюю живность и провизию; староста в указанный срок являлся с оброчными деньгами и парой рябчиков, будто бы застреленных в господских лесных, в действительности давно исчезнувших, дачах; его поили чаем на пороге гостиной, дарили ему баранью шапку, пару зеленых замшевых рукавиц и отпускали с богом.

Дворовые люди по-прежнему наполняли субочевский дом. Старый слуга Каллиопыч, облеченный в камзол из необычайно толстого сукна с стоячим воротником и маленькими стальными пуговицами, по-прежнему докладывал нараспев, что "кушанье на столе", и засыпал, стоя за креслом барыни. Буфет был у него на руках; он заведовал "разной бакалией, кардамонами и лимонами", а на вопрос: не слыхал ли он, что для всех крепостных вышла воля, всякий раз отвечал, что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала. Девка Пуфка из карлиц держалась для развлечения, а старая няня Васильевна во время обеда входила с большим темным платком на голове и рассказывала шамкавшим голосом про всякие новости: про Наполеона, двенадцатый год, про

антихриста и белых арапов; а не то, подперши рукою подбородок, словно горюя, сообщала, какой она видела сон и что он означал, и что у ней на картах вышло.

Самый дом Субочевых отличался от всех других домов в городе: он был весь построен из дуба и окна имел в виде равносторонних четырехугольников; двойные рамы никогда не вынимались! И были в нем всевозможные сенцы, и горенки, и светлицы, и хороминки, и рундучки с перильцами, и голубцы на точеных столбиках, и всякие задние переходцы и каморки. Спереди находился палисадник, а сзади сад; а в саду - что клетушек, пушек, амбарчиков, погребков, ледничков... - как есть гнездо! И не то чтобы во всех этих помещениях сохранялось много добра - иные уже и завалились; да заведено все это было исстари - ну, и держалось. Лошадей у Субочевых было только две, древние, седлистые, косматые; по одной от старости даже белые пятна выступили; звали ее Недвигой. Закладывались они - много-много раз в месяц - в необычайный, всему городу известный экипаж, представлявший подобие земного глобуса с вырезанной спереди четвертою частью и обитый снутри заграничной желтой материей, сплошь усеянной крупными пупырушками в виде бородавок. Последний аршин этой материи был выткан в Утрехте или Лионе еще во времена императрицы Елизаветы!

И кучер у Субочевых был чрезвычайно древний, пропитанный запахом ворвани и дегтя старик; борода начиналась у него близ самых глаз - а брови падали маленьким каскадом на бороду. Он до того был медлителен во всех своих движениях, что употреблял целых пять минут на понюшку табаку, две минуты на то, чтобы заткнуть кнут за пояс, и два часа с лишком на то, чтобы заложить одну Недвигу. А звали его Перфишкой. Если Субочевым случалось выехать и экипажу приходилось хоть чуточку подниматься в гору, то они непременно пугались (спускаясь с горы, они, впрочем, тоже пугались), цеплялись за каретные ремни и твердили оба вслух: "Коням - коням... сила Самуила; а мы - а мы легче пуха, легче духа!!"

Субочевых все в городе С. считали за чудаков, чуть не за сумасшедших; да они сами сознавали, что не подходят к настоящим порядкам... но не больно об этом печалились: в каком быту родились они, выросли и сочетались браком, в том и остались. Одна только особенность того быта к ним не пристала: отроду они никогда никого не наказали, не взыскали ни с кого.

Коли слуга у них оказывался отъявленным пьяницей или вором, они сперва долго терпели и переносили - вот как переносят дурную

погоду; а наконец старались отделаться от него, спустить его другим господам: пускай же, дескать, и те помаются маленько! Только эта беда случалась с ними редко, - до того редко, что становилась в их жизни эпохой - и они говаривали, например: "Этому очень давно; это приключилось тогда, когда у нас проживал Алдошка озорник"; или: "когда у нас украли меховую дедушкину шапку с лисьим хвостом..." У Субочевых еще водились такие шапки. Другая, впрочем, отличительная черта старинного быта в них также не замечалась: ни Фимушка, ни Фомушка не были слишком религиозными людьми. Фомушка так даже придерживался вольтерианских правил; а Фимушка смертельно боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был дурной. "Поп у меня посидит говаривала она, - глядь! ин сливки-то и скислись". В церковь они выезжали редко и постились по-католически, то есть употребляли яйца, масло и молоко. В городе это знали и, конечно, это не поправляло их репутации. Но доброта их все побеждала; и над чудаками Субочевыми хоть и смеялись, хоть и считали их юродивыми и блаженными, а все-таки, в сущности, уважали их.

Да; их уважали... но ездить к ним никто не ездил. Впрочем, они об этом также не тужили. Вместе они никогда не скучали, а потому не разлучались никогда и никакого другого общества не желали. Ни Фомушка, ни Фимушка ни разу не болели; а если с одним из них и приключалась какая легкая немощь, то они оба пили настой липового цвету, натирались теплым маслом по пояснице или капали горячим салом на подошвы - и вскорости все проходило. День они проводили всегда одинаково. Вставали поздно, кушали утром шоколад из крошечных чашек в виде ступок; "чай, - уверяли они, - уж после нас в моду-то вошел"; садились друг перед другом - и либо беседовали (и всегда находили о чем!), либо читали из "Приятного препровождения времени", "Зеркала света" или "Аонид", либо просматривали старенький альбом, переплетенный в красный сафьян с золотою каемкой, принадлежавший некогда, как гласила надпись, одной M-me Barbe de Kabyline. Как и когда попал этот альбом к ним в руки - они сами не знали. В нем находилось несколько французских и много русских стихотворений и прозаических статей, вроде, например, следующего "краткого" размышления о "Цецероне":

"В каковом расположении Цецерон вступил в чин квестора, объявляет он следующее. Засвидетельствовавши богами чистосердие своих чувственностей во всех чинах, коими дотоле почтен был, мнил себя обязанна самыми священными узами к достойному оных

исполнению и в сем намерении не попускался он. Цицерон, не токмо в сладости законопреступные, но и убегал от таковых увеселений, кои кажутся быть всеконечно необходимы". Внизу стояло: "Записано в Сибири, в гладе и хламе". Хорошо было также стихотворение, озаглавленное "Тирсис", где встречались такие строфы:

Покой вселенной управляет,
Роса с приятностью блестит.
Природу нежит, прохлаждает,
Ей нову жизнь собой дарит!
Один Тирсис с душой унылой
Страдает, мучится, грустит...
Когда с ним нет Анеты милой
Его ничто не веселите!

и экспромт проезжего капитана в 1790 году, "Маия в шестый день":

Никогда я не забуду!
Тебя, любезное село!
И вечно помнить буду!
Приятно время как текло!
Которое имел я честь!
У владелицы твоей!
Пять лучших в жизни дней!
В почтеннейшем кругу провесть!
Среди множества дам и девиц!
И прочих антересных лиц!

На последней странице альбома стояли - вместо стихов - рецепты от желудка, спазмов и - увы! - даже от глистов. Субочевы обедали ровно в двенадцать часов и ели все старинные кушанья: сырники, пигусы, солянки, рассольники, саламаты, кокурки, кисели, взвары, верченую курятину с шафраном.. оладьи с медом; после обеда отдыхали - часик, не больше; просыпались, опять садились, друг перед другом и пили брусничную водицу, а иногда и шипучку, прозванную "сорокоумом", которая, однако, почти всякий раз вылетала вся вон из бутылки и причиняла много смеху господам, а Каллиопычу много досады: надо было подтирать "всюду" и он долго ворчал на ключницу и на повара, которые будто бы выдумали этот напиток...

"И какое в нем удовольствие? Только небель портит!" Потом супруги Субочевы опять что-нибудь читали, или пересмеивались с карлицей Пуфкой, или пели вдвоем старинные романсы (голоса у них были совершенно одинакие, высокие, слабые, несколько дрожащие и хриплые - особенно после сна, - но не лишенные приятности), или,

наконец, играли в карты, но тоже все в старинные игры: в кребс.. в ламуш или даже в бостон сампрандер! Потом появлялся самовар; по вечерам они пили чай... Эту уступку духу времени они сделали; однако всякий раз находили, что это баловство и что народ от "оной китайской травки" становится нарочито слабее. Вообще же они удерживались от порицаний нового времени и от восхвалений старого: иначе они отроду не живали, но что другие люди могли жить другим манером - и даже лучше, - это они допускали; лишь бы их не заставляли меняться! Часам к восьми Каллиопыч подавал ужин с неизбежной окрошкой, а в девять часов полосатые высокие пуховики уже принимали в свои рыхлые объятия утучненные тела Фомушки и Фимушки и безмятежный сон не медлил спуститься на их вежды. И все утихало в стареньком доме: лампадка теплилась, пахло выхухолью, мелиссой, сверчок трюкал - и спала добрая, смешная, невинная чета.

Вот к этим-то юродивым, или, как он выражался, переклиткам, приютившим его сестру, и привел Паклин своих знакомых.

Сестра его была девушка умная и недурная лицом - глаза у ней были удивительные; но несчастный ее горб сокрушал ее, отнимал всякую самонадеянность и веселость, сделал ее недоверчивой и чуть не злою. И имя ей попалось премудреное: Снандулия! Паклин хотел было перекрестить ее в Софию; но она упорно держалась своего странного имени, говоря, что горбатой так и следует называться Снандулией. Она была хорошая музыкантша и порядочно играла на фортепиано - "по милости моих длинных пальцев, - замечала она не без горечи, - у горбатых они всегда такие бывают".

Гости застали Фомушку и Фимушку в самую ту минуту, когда они просыпались от послеобеденного сна и пили водицу.

- Вступаем в восемнадцатый век! - воскликнул Паклин, как только перешагнул порог субочевского дома.

И действительно: XVIII век встретил гостей уже в передней, в виде низеньких синеньких ширмочек, оклеенных вырезанными черными силуэтками напудренных дам и кавалеров . С легкой руки Лафатера силуэтки были в большой моде в России в 80-х годах прошлого столетия. Внезапное появление такого большого числа посетителей - целых четыре! - произвело волнение в редко посещаемом доме. Послышался топот обутых и босых ног, несколько женских лиц мгновенно высунулось и исчезло - кого-то где-то приперли, кто-то охнул, кто-то фыркнул, кто-то судорожно прошептал: - Ну вас!

Наконец появился Каллиопыч в своем шершавом камзоле и, растворив дверь в "зало", громогласно воскликнул:

- Государь, этта будет Сила Самсоныч с другими господами !

Хозяева гораздо меньше перетревожились, чем их прислуга. Вторжение четырех взрослых мужчин в их довольно, впрочем, просторную гостиную несколько, правда, изумило их; но Паклин немедленно их успокоил, представив им поочередно, с разными прибауточками, Нежданова, Соломина и Маркелова как людей смирных и не "коронных". Фомушка и Фимушка особенно не жаловали коронных, то есть чиновных людей.

Появившаяся на призыв брата Снандулия гораздо больше волновалась и чинилась, чем старички Субочевы. Они попросили - оба вместе и в одних и тех же выражениях - гостей сесть и пожелали узнать, чем их потчевать: чаем, шоколадом или шипучей водицей с вареньем? Когда же узнали, что гостям ничего не требуется, так как они незадолго перед тем завтракали у купца Голушкина и скоро будут там обедать, то перестали угощать их и, сложив одинаковым образом ручки на брюшке, приступили к беседе.

Сперва она шла немного вяло, но скоро оживилась. Паклин чрезвычайно рассмешил старичков известным гоголевским анекдотом о городничем, проникнувшем в набитую битком церковь, и о пироге, который оказался тем же городничим; хохотали они до слез. Смеялись они тоже одинаковым образом: очень визгливо, кончая кашлем и краснотой да испариной по всему лицу. Паклин вообще заметил, что на людей вроде Субочевых цитаты из Гоголя действуют весьма сильно и как-то порывисто; но так-как ему не столько хотелось их потешать самих сколько показать их своим знакомым, то он переменил батареи и повел дело так, что старички вскоре совсем раскуражились.

Фомушка достал и показал гостям свою любимую деревянную резную табакерку, на которой когда-то можно было счесть тридцать шесть человеческих фигур в разных положениях: все они давно стерлись, но Фомушка их видел, видел до сих пор, и перечесть их мог и указывал на них.

"Смотрите, - говорил он, - вон один из окошка глядит, смотрите: он голову высунул..." А то место, на которое указывал его пухленький палец с приподнятым ноготком, так же было гладко, как и вся остальная крыша табакерки . Потом он обратил внимание посетителей на висевшую над его головой картину, писанную масляными красками.

Она изображала охотника в профиль, скачущего во весь дух на буланой лошади - тоже в профиль - по снежной равнине. На охотнике была высокая белая баранья шапка с голубым языком, черкеска из

верблюжьей шерсти с бархатной оторочкой, перетянутая кованым золоченым поясом; расшитая шелком рукавица была заткнута за тот пояс; кинжал в серебряной оправе с чернью висел на нем.

В одной руке охотник, на вид очень моложавый и полный, держал огромный рог, украшенный красными кистями, а в другой - поводья и нагайку; все четыре ноги у лошади висели на воздухе, и на каждой из них живописец тщательно изобразил подкову, обозначив даже гвозди.

"И заметьте, - промолвил Фомушка, указывая тем же пухленьким пальцем на четыре полукруглых пятна, выведенных на белом фоне позади лошадиных ног, следы на снегу - и те представил!" Почему этих следов было всего четыре, а дальше позади не было видно ни одного - об этом Фомушка умалчивал.

- А ведь это я! - прибавил он, погодя немного, с стыдливой улыбкой.

- Как? - воскликнул Нежданов. - Вы были охотником?

- Был... да недолго. Раз, на всем скаку, через голову лошади покатился да курпей себе зашиб. Ну, Фимушка испугалась... ну - и запретила мне. Я с тех пор и бросил.

- Что вы зашибли? - спросил Нежданов.

- Курпей, - повторил Фомушка, понизив голос. Гости молча переглянулись. Никто не знал, что такое курпей, - то есть Маркелов знал, что курпеем зовется мохнатая кисть на казачьей или черкесской шапке; да не мог же это зашибить себе Фомушка! А спросить его, что именно он понимал под словом курпей, никто так и не решился.

- Ну, уж коли ты так расхвастался, - заговорила вдруг Фимушка, - так похвастаюсь и я.

Из крохотного "бонердюжура", - так называлось старинное бюро на маленьких кривых ножках с подъемной круглой крышей, которая входила в спинку бюро, - она достала миниатюрную акварель в бронзовой овальной рамке, представлявшую совершенно голенького четырехлетнего младенца с колчаном за плечами и голубой ленточкой через грудку, пробующего концом пальчика острие стрелы. Младенец был очень курчав, немного кос и улыбался.

Фимушка показала акварель гостям.

- Это была - я... - промолвила она.

- Вы?

- Да, я. В юности. К моему батюшке покойному ходил живописец-француз, отличный живописец! Так вот он меня написал ко дню батюшкиных именин. И какой хороший был француз!

Он и после к нам езжал. Войдет, бывало, шаркнет ножкой, потом

дрыгнет ею, дрыгнет и ручку тебе поцелует, а уходя - свои собственные пальчики поцелует, ей-ей! И направо-то он поклонится, и налево, и назад, и вперед! Очень хороший был француз!

Гости похвалили его работу; Паклин даже нашел, что есть еще какое-то сходство.

А тут Фомушка начал говорить о теперешних французах и выразил мнение, что они, должно быть, все презлые стали! - Почему же это так.. Фома Лаврентьевич? - Да помилуйте!.. Какие у них пошли имена! - Например? - Да вот, например: Ножан-Цент-Лорран! - прямо разбойник! - Фомушка кстати полюбопытствовал: кто, мол, теперь в Париже царствует. Ему сказали, что Наполеон. Это его, кажется, и удивило и опечалило. - Как же так?.. Старика такого... - начал было он и умолк, оглянувшись с смущением. Фомушка плохо знал по-французски и Вольтера читал в переводе (под его изголовьем, в заветном ящике, сохранялся рукописный "Кандит"), но у него иногда вырывались выражения вроде: "Это, батюшка, фосспарке"! (в смысле: "это подозрительно", "неверно"), над которым много смеялись, пока один ученый француз не объяснил, что это есть старое парламентское выражение, употреблявшееся в его родине до 1789 года.

Так как речь зашла о Франции да о французах, то и Фимушка решилась спросить о некоторой вещи, которая у ней осталась на душе. Сперва она подумала обратиться к Маркелову, но уж очень он смотрел сердито; Соломина бы она спросила... только нет! - подумала она, - этот простой; должно быть, по-французски не разумеет. Вот она и обратилась к Нежданову.

- Что, батюшка, я от вас узнать желаю, - начала она, - извините вы меня! Да вот мой родственничек, Сила Самсоныч, знать, трунит надо мной, старухой, над моим неведеньем бабьим.

- А что?

- А вот что. Если кто на французском диалекте хочет вопрос такой поставить: "Что, мол, это такое?" - должон он сказать: "Кесе-кесе-кесе-ля?"

- Точно так.

- А может он тоже сказать так: кесе-кесе-ля?

- Может.

- И просто: кесе-ля?

- И так может.

- И все это - едино будет?

- Да.

Фимушка задумалась и руками развела.

- Ну, Силушка, - промолвила она наконец, - виновата я, а ты прав. Только уж французы!.. Бедовые! Паклин начал просить старичков спеть какой-нибудь романсик... Они оба посмеялись и удивились, какая это ему пришла мысль; однако скоро согласились, но только под тем условием, чтобы Снандулия села за клавесин и аккомпанировала им - она уж знает что. В одном углу гостиной оказалось крошечное фортепиано, которого никто из гостей сначала не заметил. Снандулия села за этот "клавесин", взяла несколько аккордов... Таких беззубеньких, кисленьких, дряхленьких, дрябленьких звуков Нежданов не слыхивал отроду; но старички немедленно запели:

На то ль, чтобы печали,- начал Фомушка,
В любви нам находить,
Нам боги сердце дали,
Способное любить?
Одно лишь чувство страсти,- ..
отвечала Фимушка,
Без бед, без алой напасти
На свете есть ли где?
Нигде, нигде, нигде!
подхватил Фомушка,
Нигде, нигде, нигде!
повторила Фимушка.
С ним горести жестоки
Везде, везде, везде!

пропели они вдвоем,

Везде, везде, везде!

протянул один Фомушка.

- Браво! - закричал Паклин. - Это первый куплет; а второй?

- Изволь, - отвечал Фомушка, - только, Снандулия Самсоновна, что же трель? После моего стишка нужна трель.

- Извольте. - отвечала Снандулия, - будет вам трель.

Фомушка опять начал:

Любил ли кто в вселенной

И мук не испытал?

Какой, какой влюбленный

Не плакал, по вздыхал?

И тут Фомушка:

Так сердце странно в горе,

Как лодка гибнет в море...

На что ж оно дано?

На зло, на зло, на зло!

воскликнул Фомушка - и подождал, чтобы дать время Снандулии пустить трель.

Снандулия пустила ее.

На зло, на зло, на зло!

повторила Фимушка. А там оба вместе:

Возьмите, боги, сердце

Назад, назад, назад!

Назад, назад, назад!

И все опять заключилось трелью.

- Браво! браво! - закричали все, за исключением Маркелова, и даже в ладоши забили.

"А что, - подумал Нежданов, как только рукоплесканья унялись, - чувствуют ли они, что разыгрывают роль... как бы шутов? Быть может, нет; а быть может, и чувствуют, да думают: "Что за беда? ведь зла мы никому не делаем. Даже потешаем других!" И как поразмыслишь хорошенько - правы они, сто раз правы!"

Под влиянием этих мыслей он начал вдруг говорить им любезности, в ответ на которые они только слегка приседали, не покидая своих кресел... Но в это мгновенье из соседней комнаты, вероятно спальней или девичьей, где уже давно слышался шепот и шелест, внезапно появилась карлица Пуфка, в сопровождении нянюшки Васильевны. Пуфка принялась пищать и кривляться, а нянюшка то уговаривала ее, то пуще дразнила.

Маркелов, который уже давно подавал знаки нетерпения (Соломин - тот только улыбался шире обыкновенного), - Маркелов вдруг обратился к Фомушке:

- А я от вас не ожидал, - начал он с своей резкой манерой, - что вы, с вашим просвещенным умом, - ведь вы, я слышал, поклонник Вольтера? - можете забавляться тем, что должно составлять предмет жалости, а именно увечьем... Тут он вспомнил сестру Паклина - и прикусил язык, а Фомушка покраснел: "Да... да ведь не я...она сама..." Зато Пуфка так и накинулась на Маркелова.

- И с чего ты это вздумал, - затрещала она своим картавым голоском, наших господ обижать? Меня, убогую, призрели, приняли, кормют, поют - так тебе завидно? Знать, у тебя на чужой хлеб глаз коробит? И откуда взялся, черномазый, паскудный, нудный, усы как у таракана ... - Тут Пуфка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы. Васильевна засмеялась во весь свой беззубый рот - и в соседней комнате послышался отголосок.

- Я, конечно, вам не судья, - обратился Маркелов к Фомушке, - убогих да увечных призревать - дело хорошее . Но позвольте вам заметить: жить в довольстве, как сыр в масле кататься, да не заедать чужого века, да палец о палец не ударить для блага ближнего... это еще не значит быть добрым; я, по крайней мене, такой доброте, правду говоря, никакой цены не придаю!

Тут Пуфка завизжала оглушительно; она ничего не поняла изо всего, что сказал Маркелов; но "черномазый" бранился... как он смел! Васильевна тоже что-то забормотала, а Фомушка сложил ручки перед грудью - и, повернувшись лицом к своей жене: "Фимушка, голубушка, - сказал он, чуть не всхлипывая, слышишь, что господин гость говорит? Мы с тобой грешники, злодеи, фарисеи... как сыр в масле катаемся, ой! ой! ой!.. На улицу нас с тобою надо, из дому вон - да по метле в руки дать, чтобы мы жизнь свою зарабатывали, - о, хо-хо!" Услышав такие печальные слова, Пуфка завизжала пуще прежнего, Фимушка съежила глаза, перекосила губы - и уже воздуху в грудь набрала, чтобы хорошенько приударить, заголосить ...

Бог знает, чем бы это все кончилось, если б Паклин не вмешался.

- Что это! помилуйте, - начал он, махая руками и громко смеясь, - как не стыдно? Господин Маркелов пошутить хотел; но так как вид у него очень серьезный - оно и вышло немного строго... а вы и поверили? Полноте! Евфимия Павловна, милочка, мы вот сейчас уйти должны - так знаете что? на прощанье погадайте-ка нам всем... вы на это мастерица. Сестра! достань карты!

Фимушка глянула на своего мужа, а уж тот сидел совсем успокоенный; и она успокоилась.

- Карты, карты... - заговорила она, - да разучилась я, отец, забыла давно в руки их не брала...

А сама уже принимала из рук Снандулии колоду каких-то древних, необыкновенных, ломберных карт.

- Кому погадать-то?

- Да всем, - подхватил Паклин, а сам подумал: - "Ну что ж это за подвижная старушка! куда хочешь поверни ... Просто прелесть!" - Всем, бабушка, всем, прибавил он громко. - Скажите нам нашу судьбу, характер наш, будущее... все скажите!

Фимушка стала, было, раскладывать карты, да вдруг бросила всю колоду.

- И не нужно мне гадать! - воскликнула она, - я и так характер каждого из вас знаю. А каков у кого характер, такова и судьба. Вот этот (она указала на Соломина) - прохладный человек, постоянный; вот этот (она погрозилась Маркелову) - горячий, погубительный человек (Пуфка высунула ему язык); тебе (она глянула на Паклина) и говорить нечего, сам себя ты знаешь: вертопрах! А этот...

Она указала на Нежданова - и запнулась.

- Что ж? - промолвил он, - говорите, сделайте одолжение: какой я человек?

- Какой ты человек... - протянула Фимушка, - жалкий ты - вот что!

Нежданов встрепенулся.

- Жалкий! Почему так?

- А так! Жалок ты мне - вот что!

- Да почему?

- А потому! Глаз у меня такой. Ты думаешь, я дура? Ан я похитрей тебя даром что ты рыжий. Жалок ты мне... вот тебе и сказ!

Все помолчали... переглянулись - и опять помолчали. - Ну, прощайте, други, - брякнул Паклин. - Засиделись мы у вас - и вам, чай, надоели. Этим господам пора идти... да и я отправлюсь. Прощайте, спасибо на ласке.

- Прощайте, прощайте, заходите, не брезгуйте, - заговорили в один голос Фомушка и Фимушка... А Фомушка как затянет вдруг:

- Многая, многая, многая лета, многая...

- Многая, многая, - совершенно неожиданно забасил Каллиопыч, отворяя дверь молодым людям...

И все четверо вдруг очутились на улице, перед пузатеньким домом; а за окнами раздавался пискливый голос Пуфки.

- Дураки... - кричала она, - дураки!..

Паклин громко засмеялся, но никто не отвечал ему. Маркелов даже оглядел поочередно всех, как бы ожидая, что услышит слова негодования...

Один Соломин улыбался по обыкновению.

XX

- Ну что ж! - начал первый Паклин. - Были в восемнадцатом веке - валяй теперь прямо в двадцатый. Голушкин такой передовой человек, что его в девятнадцатом считать неприлично. - Да он разве тебе известен? - спросил Нежданов.

- Слухом земля полнится; а сказал я: валяй! - потому что намерен отправиться вместе с вами.

- Как же так? Ведь ты с ним незнаком?

- Бона! А с моими переклитками вы разве были знакомы ?

- Да ты нас представил!

- А ты меня представь! Тайн у вас от меня быть не может - и Голушкин человек широкий. Он, посмотри, еще обрадуется новому лицу. Да и у нас, здесь, в С... просто!

- Да, - проворчал Маркелов, - люди у вас здесь бесцеремонные

Паклин покачал головою.

- Это вы, может быть, на мой счет... Что делать! Я этот упрек заслужил. Но знаете ли что, новый мой знакомец, отложите-ка на время мрачные мысли, которые внушает вам ваш желчный темперамент! А главное...

- Господин мой новый знакомец, - перебил его с запальчивостью Маркелов, скажу вам в свою очередь... в виде предостережения: я никогда ни малейшего расположения к шуткам не имел, а особливо сегодня! И почему вам известен мой темперамент? (Он ударил на последний слог). Кажется, мы не так давно в первый раз увидали друг друга.

- Ну постойте, постойте, не сердитесь и не божитесь - я и так вам верю, промолвил Паклин - и, обратившись к Соломину: - О вы, - воскликнул он, - вы, которого сама прозорливая Фомушка назвала прохладным человеком и в котором точно есть нечто успокоительное, - скажите, имел ли я в мыслях сделать кому-нибудь неприятность или пошутить некстати? Я только напросился идти с вами к Голушкину, а впрочем - я существо безобидное. Я не виноват, что у господина Маркелова желтый цвет лица.

Соломин повел сперва одним плечом, потом другим; у него была такая повадка, когда он не тотчас решался отвечать.

- Без сомнения, - промолвил он наконец, - вы, господин Паклин, обиды никому причинить не можете - и не желаете; и к господину Голушкину почему же вам не пойти? Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием проведем время, как и у ваших родственников, - да и с такой же пользой.

Паклин погрозил ему пальцем.

- О! да и вы, я вижу, злой! Однако же ведь вы тоже пойдете к Голушкину?

- Конечно, пойду. Сегодняшний день у меня и без того пропал.

- Ну, так "en avant, marchons!" - к двадцатому веку! к двадцатому веку! Нежданов, передовой человек, веди!

- Хорошо, ступай; да не повторяй своих острот. Как бы кто не подумал, что они у тебя на исходе.

- На вашего брата еще за глаза хватит, - весело возразил Паклин и пустился вперед, как он говорил, не вприпрыжку, а "вприхромку".

- Презанятный господин! - заметил, идя за ним под руку с Неждановым, Соломин. - Коли нас, сохрани бог, сошлют всех в Сибирь, будет кому развлекать нас! Маркелов шел молча позади всех.

А между тем в доме купца Голушкина были приняты все меры, чтобы задать обед с "форсом" - или с "шиком". Сварена была уха, прежирная - и прескверная; заготовлены были разные "патишо" и "фрыкасеи" (Голушкин, как человек стоящий на высоте европейского образования, хотя и старовер, придерживался французской кухни и повара взял из клуба, откуда его выгнали за нечистоплотность), а главное: было припасено и заморожено несколько бутылок шампанского.

Хозяин встретил наших молодых людей с свойственными ему неуклюжими ужимками, уторопленным видом да похохатыванием. Очень обрадовался Паклину, как тот и предсказывал; спросил про него: - ведь наш? - и, не дожидаясь ответа, воскликнул: - Ну конечно! еще бы! Потом рассказал, что он сейчас был у этого "чудака" губернатора, который все пристает к нему из-за каких-то - черт его знает! - благотворительных заведений... И решительно нельзя было понять, чем он, Голушкин, больше доволен: тем ли, что его принимают у губернатора, или же тем, что ему удалось ругнуть его в присутствии молодых передовых людей? Потом он познакомил их с обещанным прозелитом. И кто же оказался этим прозелитом? Тот самый прилизанный, чахоточный человечек, с кувшинным рыльцем, который поутру вошел с докладом и которого Голушкин звал Васей, - его приказчик. - Не красноречив, - уверял Голушкин, указывая на него

всей пятернею, - но нашему делу всей душою предан. - А Вася только кланялся, да краснел, да моргал, да скалил зубы с таким видом, что опять-таки нельзя было понять, что он такое: пошлый ли дурачок или, напротив,- всесовершеннейший выжига и плут?

- Ну, однако, за стол, господа; за стол, - залотошил Голушкин. Сели за стол, закусив сперва вплотную. Тотчас после ухи Голушкин велел подать шампанское. Мерзлыми кусками льдистого сала вываливалось оно из горлышка бутылки в подставленные бокалы. "За наше... наше предприятие!" - воскликнул Голушкин, мигая при этом глазом и указывая головою на слугу, как бы давая знать, что в присутствии чужого надо быть осторожным! Прозелит Ваня продолжал молчать - и хотя сидел на краюшке стула и вообще держался с подобострастием, уже вовсе не свойственным тем убеждениям, которым он, по словам его хозяина, был предан всей душою, - но хлопал вино отчаянно!.. Зато другие все говорили; то есть собственно говорил хозяин - да Паклин; Паклин особенно. Нежданов внутренно досадовал; Маркелов злился и негодовал - иначе, но так же сильно, как у Субочевых; Соломин наблюдал.

Паклин потешался! Своею бойкой речью он чрезвычайно понравился Голушкину, который и не подозревал того, что этот самый "хромушка" то и дело шепчет на ухо сидевшему возле него Нежданову самые злостные замечания насчет его, Голушкина! Он даже полагал, что это - малый простой и что его можно "третировать" свысока... оттого-то он ему и понравился, между прочим, Сиди Паклин возле него - он бы давно ткнул его пальцем в ребра или ударил по плечу; он и то кивал ему через стол и мотал головою в его направлении... но между Неждановым и им восседал, во-первых, Маркелов - эта "мрачная туча"; а там Соломин. Зато Голушкин закатисто смеялся каждому слову Паклина, смеялся на веру, наперед, хлопая себя по животу, выказывая свои синеватые десны. Паклин скоро понял, чего от него требовалось, и начал все бранить (оно же для него было делом подходящим) - все и всех: и консерваторов, и либералов, и чиновников, и адвокатов, и администраторов, и помещиков, и земцев, и думцев, и Москву, и Петербург!

- Да, да, да, - подхватывал Голушкин, - так, так, так, так! Вот, например, у нас голова - совершенный осел! Тупица непроходимая! Я ему говорю и то и то... а он ничего не понимает; не хуже нашего губернатора!

- А ваш губернатор - глуп? - полюбопытствовал Паклин.

- Я же вам говорю: осел!

- Вы не заметили: он хрипит или гнусит?

- Как? - спросил Голушкин не без недоуменья.

- Да разве вы не знаете? У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос; и только самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно и то же время.

Голушкин захохотал с ревом, даже прослезился.

- Да, да, - лепетал он, - гнусит... гнусит... Он военный!

"Ах ты, олух!" - думал про себя Паклин.

- У нас все гнило, где ни тронь! - кричал Голушкин немного спустя. - Все, все гнило!

- Почтеннейший Капитон Андреич, - внушительно замечал Паклин.. - а сам тихонько говорил Нежданову: "Что это он все руками разводит, точно сюртук ему под мышками режет?" - Почтеннейший Капиток Андреич, поверьте мне: тут полумеры ничего не помогут!

- Какие полумеры! - вскричал Голушкин, внезапно переставая смеяться и принимая свирепый вид.. - тут одно: с корнем вон! Васька, пей, с... с..!

- И то пью-с, Капитон Андреич, - отвечал приказчик, опрокидывая себе в горло стакан.

Голушкин тоже "ухнул".

- И как только он не лопнет! - шептал Паклин Нежданову .

- Привычка! - отвечал тот.

Но не один приказчик пил вино. Понемногу оно разобрало всех. Нежданов, Маркелов, даже Соломин вмешались понемногу в разговор.

Сперва как бы с пренебрежением, как бы с досадой против самого себя, что вот, мол, и он не выдерживает характера и пускается толочь воду, Нсжданов начал толковать о том, что пора перестать забавляться одними словами, пора "действовать"; упомянул даже об отысканной почве!! И тут же, не замечая, что он себе противоречит, начал требовать, чтобы ему указали те существующие, реальные элементы, на которые можно опереться, что он их не видит. "В обществе нет сочувствия, в народе нет сознания... вот тут и бейся!"

Ему, конечно, не возражали; не потому, что возражать было нечего - но каждый уже начал говорить тоже свое. Маркелов забарабанил глухим и злобным голосом, настойчиво, однообразно ("ни дать ни взять, капусту рубит", - заметил Паклин). О чем, собственно, он говорил, не совсем было понятно; слово: "артиллерия" послышалось из его уст в момент затишья... он, вероятно, вспомнил те недостатки, которые открыл в ее устройстве. Досталось также немцам и адъютантам. Соломин - и тот заметил, что есть две манеры выжидать:

выжидать и ничего не делать - и выжидать да подвигать дело вперед.

- Нам не нужно постепеновцев, - сумрачно проговорил Маркелов.

- Постепеновцы до сих пор шли сверху, - заметил Соломин, - а мы попробуем снизу.

- Не нужно, к черту! не нужно, - рьяно подхватывал Голушкин, - надо разом, разом!

- То есть вы хотите в окно прыгнуть?

- И прыгну! - завопил Голушкин. - Прыгну! и Васька прыгнет! Прикажу прыгнет! А? Васька! Ведь прыгнешь ?

Приказчик допил стакан шампанского.

- Куда вы, Капитон Андреич, туда и мы. Разве мы рассуждать смеем?

- А! то-то! В бар-раний р-рог согну!

Вскорости наступило то, что на языке пьяниц носит название столпотворения вавилонского. Поднялся гам и шум "великий". Как первые снежинки кружатся, быстро сменяясь и пестрея еще в теплом осеннем воздухе, - так в разгоряченной атмосфере голушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг дружку, всяческие слова: прогресс, правительство, литература; податной вопрос, церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос; классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм; интернационал, клерикал, либерал, капитал; администрация, организация, ассоциация и даже кристаллизация! Голушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гама; в нем-то, казалось, и заключалась для него настоящая суть...

Он торжествовал! "Знай, мол, наших! Расступись - убью!.. Капитон Голушкин едет!" Приказчик Вася до того, наконец, нализался, что начал фыркать и говорить в тарелку, - и вдруг, как бешеный, закричал: "Что за дьявол такой прогимназия??!"

Голушкин внезапно поднялся и, закинув назад свое побагровевшее лицо, на котором к выражению грубого самовластия и торжества странным образом примешивалось выражение другого чувства, похожего на тайный ужас и даже на трепетание, гаркнул: "Жертвую еще тыщу! Васька, тащи!" - на что Васька вполголоса ответствовал: "Малина!" А Паклин, весь бледный и в поту (он в последние четверть часа пил не хуже приказчика), - Паклин, вскочив с своего места и подняв обе руки над головою, проговорил с расстановкой: "Жертвую! Он произнес: жертвую! О! осквернение святого слова! Жертва! Никто не дерзает возвыситься до тебя, никто не имеет силы исполнить те обязанности, которые ты налагаешь, по крайней мере, никто из нас, здесь предстоящих, - а этот самодур, этот дрянной мешок тряхнул

своей раздутой утробой, высыпал пригоршню рублей и кричит: жертвую!

И требует благодарности; лаврового венка ожидает, подлец!!" Голушкин либо не расслышал, либо не понял того, что сказал Паклин, или, быть может, принял его слова за шутку, потому что еще раз провозгласил: "Да! тыщу рублев! Что Капитон Голушкин сказал - то свято!" Он вдруг запустил руку в боковой карман. "Вот они, денежки-то! Нате, рвите; да помните Капитона!" - Он, как только приходил в некоторый азарт, говорил о себе, как маленькие дети, в третьем лице. Нежданов подобрал брошенные на залитую скатерть бумажки. Но после этого уже нечего было оставаться; да и поздно становилось. Все встали, взяли шапки и убрались.

На вольном воздухе у всех закружились головы - особенно у Паклина.

- Ну? куда ж мы теперь? - не без труда проговорил он.

- Не знаю, куда вы, - отвечал Соломин, - а я к себе домой.

- На фабрику?

- На фабрику.

- Теперь, ночью, пешком?

- Что ж такое? Здесь ни волков, ни разбойников нет, а ходить я здоров. Ночью-то еще свежее.

- Да тут четыре версты!

- А хоть бы и все пять. До свиданья, господа!

Соломин застегнулся, надвинул картуз на лоб, закурил сигару и зашагал большими шагами по улице.

- А ты куда? - обратился Паклин к Нежданову.

- Я вот к нему. - Он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, скрестив руки на груди. - У нас здесь и лошади и экипаж.

- Ну, прекрасно... а я, брат, в "оазис", к Фомушке да к Фимушке. И знаешь, что я тебе скажу, брат? И там чепуха - и здесь чепуха...Только та чепуха, чепуха восемнадцатого века, ближе к русской сути, чем этот двадцатый век. Прощайте, господа; я пьян... не взыщите. Послушайте, что я вам еще скажу! Добрей и лучше моей сестры... Снандулии... на свете женщины нет; а вот она - и горбатая и Снандулия. И всегда так на свете бывает! А впрочем, ей и след так называться. Вы знаете ли, кто была святая Снандулия? - Добродетельная жена, которая ходила по тюрьмам и врачевала раны узникам и больным. Ну, однако, прощайте! Прощай, Нежданов, - жалкий человек! И ты, офицер... у! бука! Прощай!

Он поплелся, прихрамывая и пошатываясь, в "оазис", а Маркелов

вместе с Неждановым отыскали постоялый двор, в котором они оставили свой тарантас, велели заложить лошадей - и полчаса спустя уже катили по большой дороге.

XXI

Небо заволокло низкими тучами - и хотя не было совсем темно и накатанные колеи на дороге виднелись, бледно поблескивая, впереди, однако, направо, налево все застилалось и очертания отдельных предметов сливались в смутные большие пятна. Была тусклая, неверная ночь; ветер набегал порывистыми сырыми струйками, принося с собою запах дождя и широких хлебных полей. Когда, проехав дубовый куст, служивший приметой, пришлось свернуть на проселок, дело стало еще неладнее; узкая путина по временам совсем пропадала... Кучер поехал тише.

- Как бы не сбиться нам! - заметил молчавший до тех пор Нежданов.

- Нет! не собьемся! - промолвил Маркелов. - Двух бед в один день не бывает.

- Да какая же была первая беда?

- Какая? А что мы день напрасно потеряли - это вы ни за что считаете?

- Да... конечно... Этот Голушкин!! Не следовало так много вина пить. Голова теперь болит... смертельно.

- Я не о Голушкине говорю, он, по крайней мере, денег дал; стало быть, хоть какая-нибудь от нашего посещения польза была!

- Так неужели вы сожалеете о том, что Паклин свел нас к своим... как бишь он называл их... переклиткам?

- Жалеть об этом нечего... да и радоваться нечему. Я ведь не из тех, которые интересуются подобными... игрушками ... Я не на эту беду намекал.

- Так на какую же?

Маркелов ничего не отвечал и только повозился немного в своем уголку, словно кутаясь. Нежданов не мог хорошенько разобрать его лица; одни усы выдавались черной поперечной чертой; но он с самого утра чувствовал в Маркелове присутствие чего-то такого, до чего было лучше не касаться, какого-то глухого и тайного раздражения .

- Послушайте, Сергей Михайлович, - начал он погодя немного, - неужели вы не шутя восхищаетесь письмами этого господина Кислякова, которые вы мне дали прочесть сегодня? Ведь это, извините резкость выражения это - дребедень!

Маркелов выпрямился

- Во-первых, - заговорил он гневным голосом, - я нисколько не разделяю вашего мнения насчет этих писем и нахожу их весьма замечательными... и добросовестными! А во- вторых, Кисляков трудится, работает - и главное: он верит; верит в наше дело, верит в рево-люцию! Я должен вам сказать одно, Алексей Дмитриевич, - я замечаю, что вы, вы охладеваете к нашему делу, вы не верите в него!

- Из чего вы это заключаете? - медлительно произнес Нежданов.

- Из чего? Да изо всех ваших слов, из всего вашего поведения!! Сегодня у Голушкина кто говорил, что он не видит, на какие элементы можно опереться? Вы! Кто требовал, чтоб их ему указали? Опять-таки вы! И когда этот ваш приятель, этот пустой балагур и зубоскал, господин Паклин, стал, поднимая глаза к небу, уверять, что никто из нас не в силах принести жертву, кто ему поддакивал, кто одобрительно покачивал головою? Разве не вы? Говорите о себе как хотите, думайте о себе как знаете... это ваше дело... но мне известны люди, которые сумели оттолкнуть от себя все, чем жизнь прекрасна - самое блаженство любви, для того, чтоб служить своим убеждениям, чтоб не изменить им! Ну, вам сегодня... конечно, было не до того!

- Сегодня? Почему же именно сегодня?

- Да не притворяйтесь ради бога, счастливый Дон Жуан, увенчанный миртами любовник! - вскричал Маркелов, совершенно забыв о кучере, который хоть и не оборачивался с козел, но мог отлично все слышать.

Правда, кучера в эту минуту гораздо более озабочивала дорога, чем все прореканья сидевших за его спиною господ, и он осторожно и даже несколько робко отпрукивал коренника, который мотал головою и садился на зад, спуская тарантас с какой-то кручи, которой и не следовало совсем тут быть.

- Позвольте, я вас что-то не понимаю, - промолвил Нежданов.

Маркелов захохотал принужденно и злобно.

- Вы меня не понимаете! Ха, ха, ха! Я все знаю, милостивый государь! Знаю, с кем вы объяснялись вчера в любви; знаю, кого вы пленили вашей счастливой наружностью и красноречием знаю кто допускает вас к себе в комнату... после десяти часов вечера!

- Барин! - обратился вдруг кучер к Маркелову. - Подержите-ка вожжи... Я слезу, посмотрю... Мы, кажись, с дороги сбились... Водомоина тут, что ль, какая...

Тарантас действительно стоял совсем на боку. Маркелов ухватил вожжи, переданные ему кучером, и продолжал все так же громко:

- Я вас нисколько не виню, Алексей Дмитрич. Вы

воспользовались... Вы были правы. Я говорю только о том, что не удивляюсь вашему охлаждению к общему делу: у вас, я опять-таки скажу, - не то на уме. И прибавлю кстати от себя: где тот человек, который может заранее предугадать, что именно нравится девическим сердцам, или постигнуть, чего они желают!!

- Я теперь понимаю вас, - начал было Нежданов, - понимаю ваше огорчение, догадываюсь, кто нас подкараулил и поспешил сообщить вам...

- Тут не заслуги, - продолжал Маркелов, притворяясь, что не слышит Нежданова и с намерением растягивая и как бы распевая каждое слово, - не какие-нибудь необыкновенные душевные или физические качества... Нет! Тут просто... треклятое счастье всех незаконнорожденных детей, всех в...!

Последнюю фразу Маркелов произнес отрывисто и быстро - и вдруг умолк, словно замер.

А Нежданов даже в темноте почувствовал, что весь побледнел и мурашки забегали по его щекам. Он едва удержался, чтобы не броситься на Маркелова, не схватить его за горло... "Кровью надо смыть эту обиду, кровью..."

- Признал дорогу! - воскликнул кучер, появившись у правого переднего колеса, - маленько ошибся, влево взял... Теперь ничего! духом представим; и версты до нас не будет. Извольте сидеть!

Он взобрался на облучок, взял у Маркелова вожжи повернул коренника в сторону... Тарантас сильно тряхнуло раза два, потом он покатился ровнее и шибче - мгла как будто расступилась и приподнялась, потянуло дымком - впереди вырос какой-то бугор. Вот мигнул огонек... он исчез... Мигнул другой... Собака залаяла...

- Наши выселки, - промолвил кучер. - Эх вы, котята любезные!

Чаще и чаще неслись навстречу огоньки.

- После такого оскорбления, - заговорил наконец Нежданов, - вы легко поймете, Сергей Михайлович, что мне невозможно ночевать под вашим кровом; а потому мне остается просить вас, как это мне ни неприятно, чтобы вы, приехавши домой, дали мне ваш тарантас, который довезет меня до города; завтра я уже найду способ, как добраться до дому; а там вы получите от меня уведомление, которого, вероятно, ожидаете.

Маркелов не тотчас отвечал.

- Нежданов, - сказал он вдруг негромким, но почти отчаянным голосом, Нежданов! Ради самого бога, войдите ко мне в дом - хоть бы только для того, чтобы я мог на коленях попросить у вас прощения!

Нежданов! Забудьте ... забудь, забудь мое безумное слово! Ах, если б кто-нибудь, мог почувствовать, до какой степени я несчастлив! - Маркелов ударил себя кулаком в грудь - и в ней словно что застонало. - Нежданов! будь великодушен! Дай мне руку... Не откажись простить меня!

Нежданов протянул ему руку - нерешительно, но протянул. Маркелов стиснул ее так, что тот чуть не вскрикнул ...

Тарантас остановился у крыльца маркеловского дома.

- Слушай, Нежданов, - говорил ему Маркелов четверть часа спустя у себя в кабинете... - Слушай! (он уже не говорил ему иначе как "ты", и в этом неожиданном ты, обращенном к человеку, в котором он открыл счастливого соперника, которого он только что оскорбил кровно, которого он готов был убить, разорвать на части, - в этом "ты" было и бесповоротное отречение, и моление смиренное, горькое, и какое-то право... Нежданов это право признал тем, что сам начал говорить Маркелову ты).

- Слушай! Я тебе сейчас сказал, что я от счастья любви отказался, оттолкнул его, чтобы только служить своим убеждениям... Это вздор, бахвальство! Никогда мне ничего подобного не предлагали, нечего мне было отталкивать! Я как родился бесталанным, так и остался им... Или, может быть, оно так и следовало. Потому руки у меня не туда поставлены - мне предстоит делать иное. Коли ты можешь соединить и то и другое... любить и быть любимым... и в то же время служить делу... ну, так ты молодец! - я тебе завидую... но сам я - нет. Я не могу. Ты счастливец! Ты счастливец! А я не могу.

Маркелов говорил все это тихим голосом, сидя на низком стуле, понурив голову и свесив обе руки как плети. Нежданов стоял перед ним, погруженный в какое-то задумчивое внимание, и хотя Маркелов и величал его счастливцем, он не смотрел и не чувствовал себя таким.

- Меня в молодости обманула одна... - продолжал Маркелов, - была она девушка чудесная - и все-таки изменила мне... для кого же? Для немца! для адъютанта!! А Марианна...

Он приостановился... Он в первый раз произнес ее имя, и оно как будто обожгло его губы.

- Марианна не обманула меня; она прямо объявила мне, что я не нравлюсь ей... Да и чему тут нравиться? Ну - отдалась она тебе... Ну что ж? Разве она не была свободна?

- Да постой, постой! - воскликнул Нежданов. - Что ты такое говоришь?! Какое - отдалась! Я не знаю, что тебе написала твоя сестра; но уверяю тебя...

- Я не говорю: физически; но нравственно отдалась - сердцем, душою, подхватил Маркелов, которому почему-то, видимо, понравилось восклицание Нежданова. - И прекрасно сделала. А моя сестра... конечно, она не имела намерения меня огорчить... То есть, в сущности, это ей все равно; но она, должно быть, тебя ненавидит - и Марианну тоже. Она не солгала... а впрочем, господь с ней!

"Да, - подумал про себя Нежданов, - она нас ненавидит" .

- Все к лучшему, - продолжал Маркелов, не переменяя положения. - Теперь с меня последние путы сняты; теперь уже ничего мне не мешает! Ты не смотри на то, что Голушкин - самодур: это ничего. И письма Кислякова ... они, может быть, смешны... точно; но надо обращать внимание на главное. По его словам... везде все готово. Ты вот, пожалуй, и этому не веришь?

Нежданов ничего не отвечал.

- Ты, может быть, прав; но ведь если ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, - никогда не придется начинать. Ведь если взвешивать наперед все последствия - наверное, между ними будут какие-либо дурные. Например: когда наши предшественники устроили освобождение крестьян - что ж? могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиков-ростовщиков, которые продают мужику четверть прелой ржи за шесть рублей, а получают с него (тут Маркелов пригнул один палец): во-первых, работу на все шесть рублей, да сверх того (Маркелов пригнул другой палец) целую четверть хорошей ржи - да еще (Маркелов пригнул третий) с прибавком! то есть высасывают последнюю кровь из мужика? Ведь это эманципаторы наши предвидеть не могли - согласись! И все-таки, если даже они это предвидели, хорошо они сделали, что освободили крестьян - и не взвешивали всех последствий! А потому я... решился!

Нежданов вопросительно, с недоумением посмотрел на Маркелова; но тот отвел свой взгляд в сторону, в угол. Его брови сдвинулись и закрыли зрачки; он кусал губы и жевал усы.

- Да, я решился! - повторил он, с размаху ударив по колену своим волосатым, смуглым кулаком. - Я ведь упрямый... я недаром наполовину малоросс. - Потом он встал и, шаркая ногами, точно они у него ослабели, пошел в свою спальню и вынес оттуда небольшой портрет Марианны под стеклом.

- Возьми, - промолвил он печальным, но ровным голосом, - это я когда-то сделал. Рисую я плохо; но ты посмотри, кажется, похож (портрет, сделанный карандашом, в профиль, был действительно

похож). Возьми, брат; это мое завещание. Вместе с этим портретом я тебе передаю - не мои права... у меня их не было... а, знаешь - все! Я тебе все передаю - и ее. Она, брат, хорошая...

Маркелов помолчал; грудь его заметно поднималась.

- Возьми. Ведь ты на меня не сердишься? Ну, так возьми. А мне теперь уж ничего... этакого... не нужно.

Нежданов взял портрет; но странное чувство стеснило его грудь. Ему казалось, что он не имел права принять этот подарок; что если бы Маркелов знал, что у него, Нежданова, на сердце, он бы, может быть, ему этого портрета не отдал. Нежданов держал в руке этот маленький круглый кусочек картона, тщательно обведенный по черной рамке узкой полоской золотой бумаги, - и не знал что делать с ним.

- Ведь это тут целая жизнь человека в моей руке, - думалось ему. Он понимал, какую жертву приносит Маркелов, но зачем, зачем именно ему? А отдать портрет? Нет! Это было бы оскорбление еще злейшее. И, наконец, ведь ему дорого это лицо, ведь он любит ее! Нежданов не без некоторого внутреннего страха возвел глаза на Маркелова... не глядит ли тот на него - не старается ли уловить его мысли? Но Маркелов опять уставился на угол и жевал усы.

Старик слуга вошел в комнату со свечкой в руке.

Маркелов встрепенулся.

- Спать пора, брат Алексей! - воскликнул он.- Утро вечера мудренее. Дам тебе завтра лошадей, ты покатишь домой - и прощай!

- Прощай и ты, старина! - прибавил он вдруг, обратившись к слуге и ударив его по плечу.- Не поминай лихом!

Старик до того изумился, что чуть не выронил свечки, и взгляд его, устремленный на своего барина, выразил нечто другое - и большее, чем обычную его унылость. Нежданов ушел к себе в комнату. Ему было нехорошо. Голова его все еще болела от выпитого вина, в ушах звенело, в глазах мерещилось, хотя он и закрывал их. Голушкнн, Васька-приказчик, Фомушка, Фимушка вертелись перед ним; вдали образ Марианны, как бы не доверяя, не решался приблизиться. Все, что он делал и говорил сам, казалось ему такою фальшью и ложью, таким ненужным и приторным вздором... а то, что надо делать, к чему надо стремиться, неизвестно где, недоступно, за десятью замками, зарыто в преисподнюю...

И беспрестанно ему хотелось встать, сойти к Маркелову, сказать ему: возьми свой подарок - возьми его назад.

- Фу! Какая скверность жизнь! - воскликнул он наконец.

- На другое утро он уехал рано. Маркелов уже был на крыльце,

окруженный крестьянами. Созвал ли он их, пришли ли они сами собою - Нежданов так и не узнал; Маркелов очень односложно и сухо простился с ним... но казалось, что он собирался сообщить им нечто важное.

Старый слуга тут же торчал с своим неизменным взором.

Тарантас скоро проскочил город и, выбравшись в поля, покатил лихо. Лошади были те же самые, но кучер - потому ли, что Нежданов жил в богатом доме, по другим ли соображениям, - рассчитывал на хорошую "на водку"... а известно: когда кучер выпил водки или с уверенностью ждет ее - лошади бегут отлично. Погода была июньская, хоть и свежая: высокие резвые облака по синему небу, сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся - все движется, все летит; перепелиный крик приносится жидким посвистом с отдаленных холмов, через зеленые овраги, точно и у этого крика есть крылья и он сам прилетает на них, грачи лоснятся на солнце, какие-то темные блохи ходят по ровной черте обнаженного небосклона... это мужики двоят поднятый пар.

Но Нежданов пропускал все это мимо... мимо... он и не заметил, как доехал до сипягинского именья, - до того им овладели думы...

Однако он вздрогнул, когда увидел крышу дома, верхний этаж, окно Марианниной комнаты. "Да, - сказал он себе, и тепло ему стало на сердце, - он прав - она хорошая - и я люблю ее".

XXII

Он наскоро переоделся и пошел давать урок Коле. Сипягин, которого он встретил в столовой, поклонился ему холодно и учтиво и, процедив сквозь зубы: "Хорошо ли съездили?" - проследовал в свой кабинет.

Государственный человек уже решил в своем министерском уме, что, как только кончатся вакации, он немедленно отправит в Петербург этого "положительно слишком красного" - учителя, а пока будет наблюдать за ним. "Je n'ai pas eu la main heureuse cette fois-ci, - подумал он про себя, - а впрочем... j'aurais pu tomber pire" . Чувства Валентины Михайловны к Нежданову были гораздо энергичнее и определеннее. Она его уже совсем терпеть не могла... Он, этот мальчишка! - он оскорбил ее.

Марианна не ошиблась: это она, Валентина Михайловна, подслушивала ее и Нежданова в коридоре... Знатная барыня этим не побрезгала . В течение тех двух дней, в которые продолжалось его отсутствие, она хотя ничего не сказала своей "легкомысленной" родственнице, но беспрестанно давала ей понять, что ей все известно;

что она негодовала бы, если б не удивлялась, и удивилась бы еще более, если б частью не презирала, частью не сожалела... Сдержанное, внутреннее презрение наполняло ее щеки, что-то насмешливое и в то же время сожалительное приподнимало ее брови, когда она глядела на Марианну, говорила с нею; ее чудесные глаза с мягким недоуменьем, с грустной гадливостью останавливались на самонадеянной девушке, которая, после всех своих "фантазий и эксцентричностей", кончила тем, что це...лу...ет...ся в темных комнатах с каким-то недоучившимся студентом!

Бедная Марианна! Ее строгие, гордые губы не ведали еще ничьих лобзаний.

Впрочем, мужу своему Валентина Михайловна не намекнула о сделанном ею открытии; она удовольствовалась тем, что сопровождала немногие слова, обращенные ею к Марианне в его присутствии, значительной усмешкой, которая нисколько не обусловливалась их содержанием. Валентина Михайловна даже несколько раскаивалась в том, что написала письмо брату... Но в конце концов она предпочла: раскаиваться - и чтоб это было сделано, чем не раскаиваться - и чтоб письмо осталось ненаписанным.

С Марианной Нежданов увиделся мельком, в столовой, за завтраком. Он нашел, что она похудела и пожелтела: она была нехороша собой в тот день; но быстрый взгляд, который она бросила на него, как только он вошел в комнату, проник в самое его сердце. Зато Валентина Михайловна посматривала на него так, как будто постоянно внутренно твердила: "Поздравляю! Прекрасно! Очень ловко!" - и в то же время ей хотелось вычитать на его лице: показал ли ему Маркелов ее письмо или нет? Она решила наконец, что показал.

Сипягин, узнав, что Нежданов ездил на фабрику, которою заведовал Соломин, начал расспрашивать его об этом "во всех отношениях любопытном промышленном заведении"; но, вскорости убедившись из ответов молодого человека, что он, собственно там ничего не видел умолк величественно, как бы упрекая самого себя в том что мог ожидать каких-либо дельных сведений от такого еще незрелого субъекта!

Выходя из столовой, Марианна успела шепнуть Нежданову: "Жди меня в старой березовой роще, на конце сада; я приду туда, как только будет возможно". Нежданов подумал: "И она говорит мне: "ты" - так же, как тот". И как это было ему приятно, хоть и несколько жутко!.. и как было бы странно - да и невозможно, - если б она вдруг снова начала говорить ему "вы", если б она отодвинулась от него...

Он почувствовал, что это было бы для него несчастьем. Был ли он влюблен в нее - этого он еще не знал; но что она стала ему дорогою, и близкой, и нужной... главное, нужной - это он чувствовал всем существом своим. Роща, куда послала его Марианна, состояла из сотни высоких, старых, большей частью плакучих берез.

Ветер не переставал; длинные пачки ветвей качались, метались как распущенные косы; облака по-прежнему неслись быстро и высоко; и когда одно из них налетало на солнце, все кругом становилось - не темно, но одноцветно. Но вот оно пролетело - и всюду, внезапно, яркие пятна света мятежно колыхались снова: они путались, пестрели, мешались с пятнами тени... Шум и движение были те же; но какая-то праздничная радость прибавлялась к ним. С таким же радостным насилием врывается страсть в потемневшее, взволнованное сердце... И такое именно сердце принес в груди своей Нежданов.

Он прислонился к стволу березы - и начал ждать Он, собственно, не знал, что он чувствовал, да и не желал это знать: ему было и страшнее и легче, чем у Маркелова. Он хотел прежде всего ее видетъ, говорить с нею; тот узел, который внезапно связывает два живых существа, уже захватил его. Нежданов вспомнил веревку, которая летит на набережную с парохода, когда тот собирается причалить ... Вот уж она обвилась около столба - и пароход остановился ...

В пристани! Слава богу!

Он вдруг вздрогнул. Женское платье замелькало вдали по дорожке. Это она. Но идет ли она к нему, уходит ли от него - он не знал, пока не увидел, что пятна света и тени скользили по ее фигуре снизу вверх... значит, она приближается. Они бы спускались сверху вниз, если б она удалялась. Еще несколько мгновений - и она стояла возле него, перед ним, с приветным, оживленным лицом, с ласковым блеском в глазах, с слабо, но весело улыбавшимися губами. Он схватил ее протянутые руки - однако тотчас не мог вымолвить ни слова; и она ничего не сказала. Она очень скоро шла и немного задыхалась, но видно было, что она очень обрадовалась тому, что он обрадовался ей.

Она первая заговорила.

- Ну что, - начала она, - сказывай скорей, чем вы решили.

Нежданов удивился.

- Решили...да разве надо было теперь же решить?

- Ну, ты понимаешь меня. Рассказывай: о чем вы говорили? Кого ты видел? Познакомился ли ты с Соломиным? Рассказывай все... все! Постой, пойдем туда, подальше. Я знаю место...там не так видно.

Она повлекла его за собою. Он послушно шел за ней целиком по

высокой, редкой, сухой траве.

Она привела его куда хотела. Там лежала, поваленная бурей, большая береза. Они уселись на ее стволе.

- Рассказывай! - повторила она, но тотчас же прибавила: - Ах! как я рада тебя видеть! Мне казалось, что эти два дня никогда не кончатся. Ты знаешь, я теперь убеждена в том, что Валентина Михайловна нас подслушала.

- Она написала об этом Маркелову, - промолвил Нежданов.

- Ему?!

Марианна помолчала и понемногу покраснела вся - не от стыда, а от другого, более сильного чувства:

- Злая, дурная женщина! - медленно прошептала она, - она не вправе была это сделать...Ну, все равно! Рассказывай, рассказывай!

Нежданов начал говорить...Марианна слушала его с каким- то окаменелым вниманием - и только тогда прерывала его, когда она замечала, что он не спешит, не останавливается на подробностях. Впрочем, не все подробности его поездки были одинаково интересны для нее: над Фомушкой и Фимушкой она посмеялась, но они ее не занимали. Их быт был слишком от нее далек.

- Ты мне точно о Навуходоносоре сведения сообщаешь, - заметила она.

А вот что говорил Маркелов, что думает даже Голушкин (хотя она тотчас поняла, что это за птица), а главное: какого мнения Соломин и что он сам за человек - вот что ей нужно было знать, вот о чем она сокрушалась. "Когда же? когда?" - Этот вопрос постоянно вертелся у ней в голове, просился на уста во все время, пока говорил Нежданов. А он как будто избегал всего, что могло дать положительный ответ на этот вопрос. Он сам стал замечать, что налегает именно на те подробности, которые менее интересовали Марианну... нет- нет - да и возвратится к ним.

Юмористические описания возбуждали в ней нетерпение; тон разочарованный или унылый ее огорчал... Надо было постоянно обращаться к "делу", к "вопросу". Тут никакое многословие ее не утомляло. Вспомнилось Нежданову время, когда он, еще не будучи студентом и живя летом на даче у одних хороших знакомых, вздумал рассказывать их детям сказки: и они также не ценили ни описаний, ни выражений личных, собственных ощущений... они также требовали дела, фактов! Марианна не была ребенком, но прямотою и простотою чувства она походила на ребенка. Нежданов искренно и горячо похвалил Маркелова и с особенным сочувствием отозвался о

Соломине. Говоря о нем чуть не в восторженных выражениях, он спрашивал самого себя: что, собственно, заставляло его быть такого высокого мнения об этом человеке? Ничего особенно умного он не высказал; иные его слова даже как будто шли вразрез с убеждениями его, Нежданова...

"Уравновешенный характер, - думалось ему, - вот что; обстоятельный, свежий, как говорила Фимушка, крупный человек; спокойная, крепкая сила; знает, что ему нужно, и себе доверяет - и возбуждает доверие; тревоги нет... и равновесие! равновесие!.. Вот это главное; именно, чего у меня нет". Нежданов умолк, предавшись размышлению... Вдруг он почувствовал прикосновение руки на своем плече. Он поднял голову: Марианна глядела на него заботливым и нежным взором.

- Друг! Что с тобою? - спросила она.

Он снял ее руку с плеча и в первый раз поцеловал эту маленькую, но крепкую руку. Марианна слегка засмеялась, как бы удивившись: с чего могла ему прийти в голову такая любезность? Потом она в свою очередь задумалась.

- Маркелов показал тебе письмо Валентины Михайловны ? - спросила она наконец.

- Да.

- Ну... и что же он?

- Он? Он благороднейшее, самоотверженное существо! Он... - Нежданов хотел было сказать Марианне о портрете, да удержался и только повторил: благороднейшее существо!

- О да, да!

- Марианна опять задумалась - и вдруг, повернувшись к Нежданову на стволе березы, служившей им обоим сиденьем, с живостью промолвила:

- Ну, так чем же вы решили?

Нежданов пожал плечами.

- Да я тебе сказал уже, что пока - ничем; надо будет еще подождать.

- Подождать еще... Чего же?

- Последних инструкций. ("А ведь я вру", - думалось Нежданову.)

- От кого?

- От того... ты знаешь... от Василия Николаевича. Да вот еще надо подождать, чтобы Остродумов вернулся. Марианна вопросительно посмотрела на Нежданова. Скажи, ты когда- нибудь видел этого Василия Николаевича ?

- Видел раза два... мельком.

- Что, он... замечательный человек?

- Как тебе сказать? Теперь он голова - ну, и орудует. А без дисциплины в нашем деле нельзя; повиноваться нужно. ("И это все вздор", - думалось Нежданову.)

- Какой он из себя?

- Какой? Приземистый, грузный, чернявый... Лицо скуластое; калмыцкое... грубое лицо. Только глаза очень живые.

- А говорит он как?

- Он не столько говорит, сколько командует.

- Отчего же он сделался головою?

- А с характером человек. Ни пред чем не отступит.Если нужно - убьет. Ну его и боятся.

- А Соломин каков из себя? - спросила Марианна погодя немного.

Соломин тоже не очень красив; только у этого славное лицо, простое, честное. Между семинаристами - хорошими - такие попадаются лица. Нежданов подробно описал Соломина. Марианна посмотрела на Нежданова долго... долго... потом промолвила, словно про себя:

- У тебя тоже хорошее лицо. С тобою, думаю, можно жить.

Это слово тронуло Нежданова; он снова взял ее руку и поднес было ее к губам...

- Погоди любезничать, - промолвила, смеясь, Марианна - она всегда смеялась, когда у ней целовали руку, - ты не знаешь: я перед тобой виновата.

- Каким это образом?

- А вот как. Я в твоем отсутствии вошла к тебе в комнату - и там, на твоем столе, увидала тетрадку со стихами (Нежданов дрогнул: он вспомнил, что он, точно, забыл эту тетрадку на столе своей комнаты). - И каюсь перед тобою: не сумела победить свое любопытство и прочла. Ведь это твои стихи?

- Мои; и знаешь ли что, Марианна? Лучшим доказательством, до какой степени я к тебе привязан и как я тебе доверяю - может служить то, что я почти не сержусь на тебя.

- Почти? Стало быть, хоть немного, да сердишься? Кстати, ты меня зовешь Марианной; не могу же я тебя звать Неждановым!

Буду звать тебя Алексеем. А стихотворение, которое начинается так: "Милый друг, когда я буду умирать..." тоже твое?

- Мое... мое. Только, пожалуйста, брось это... Не мучь меня.

Марианна покачала головою.

- Оно очень печально. Это стихотворение... Надеюсь, что ты его написал до сближения со мною. Но стихи хороши - насколько я могу судить. Мне сдается, что ты мог бы сделаться литератором, только я наверное знаю, что у тебя есть призвание лучше и выше литературы. Этим хорошо было заниматься прежде, когда другое было невозможно.

- Нежданов кинул на нее быстрый взгляд.

- Ты думаешь? Да, я с тобой согласен. Лучше гибель там, чем успех здесь.

Марианна стремительно встала.

- Да, мой милый, ты прав! - воскликнула она, и все лицо ее просияло, вспыхнуло огнем и блеском восторга, умилением великодушных чувств. - Ты прав! Но, может быть, мы и не погибнем тотчас; мы успеем ты увидишь, мы будем полезны, наша жизнь не пропадет даром, мы пойдем в народ... Ты знаешь какое-нибудь ремесло? Нет?

Ну, все равно - мы будем работать, мы принесем им, нашим братьям, все, что мы знаем, - я, если нужно, в кухарки пойду, в швеи, в прачки... Ты увидишь, ты увидишь ...И никакой тут заслуги не будет - а счастье, счастье ...

Марианна умолкла; но взор ее, устремленный в даль, не в ту, которая расстилалась перед нею, - а в другую, неведомую, еще не бывалую, но видимую ей, - взор ее горел ...

Нежданов склонился к ее стану...

- О Марианна! - шепнул он, - я тебя не стою!

Она вдруг вся встрепенулась.

- Пора домой, пора! - промолвила она, - а то сейчас опять нас отыскивать станут. Впрочем, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. Я в ее глазах - пропащая.

Марианна произнесла это слово с таким светлым, радостным лицом, что и Нежданов, глядя на нее, не мог не улыбнуться и не повторить: пропащая!

- Только она очень оскорблена тем, - продолжала Марианна, - как же это ты не у ее ног? Но это все ничего - а вот что... Ведь здесь оставаться мне нельзя будет ... Надо будет бежать.

- Бежать? - повторил Нежданов.

- Да, бежать... Ведь и ты не останешься? Мы уйдем вместе. Нам надо будет работать вместе... Ведь ты пойдешь со мною?

- На край света! - воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности. - На край света! - В эту минуту он, точно, ушел бы с нею без оглядки, куда бы она ни пожелала! Марианна поняла его - и коротко и блаженно вздохнула.

- Так возьми же мою руку... только не целуй ее - а пожми ее крепко, как товарищу, как другу... вот так! Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые; молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом; пятна света и тени побежали, проворно скользя, по их одежде - и оба они улыбались и тревожной их игре, и веселым ударам ветра, и свежему блистанью листьев, и собственной молодости, и друг другу.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

XXIII

Заря уже занималась на небе, когда в ночь после голушкинского обеда Соломин, бодро прошагав около пяти верст, постучался в калитку высокого забора, окружавшего фабрику. Сторож тотчас впустил его и в сопровождении трех цепных овчарок, широко размахивавших мохнатыми хвостами, с почтительной заботливостью довел его до его флигеля. Он, видимо, радовался благополучному возвращению начальника.

- Как же это вы ночью, Василий Федотыч? Мы вас ждали только завтра.

- Ничего, Гаврила; еще лучше ночью-то прогуляться.

Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные, отношения существовали между Соломиным и фабричными; они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим; только уж

очень он был знающ в их глазах! "Что Василий Федотов сказал, - толковали они, - уж это свято! потому он всяку мудрость произошел - и нет такого агличана, которого он бы за пояс не заткнул!" Действительно: какой-то важный английский мануфактурист посетил однажды фабрику; и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями - только он все его по плечу хлопал, и смеялся, и звал его с собою в Ливерпуль; а фабричным твердил на своем ломаном языке: "Караша оу вас эта! Оу! караша!" - чему фабричные, в свою очередь, много смеялись не без гордости: "Вот, мол, наш-то каков! Наш-то!" И он, точно, был их - и ихний.

На другое утро рано вошел к Соломину в комнату его любимец, Павел; разбудил его, подал ему умыться, кое-что рассказал, кой о чем расспросил. Потом они вместе наскоро напились чаю, и Соломин, натащив на себя свой замасленный серый рабочий пиджак, отправился на фабрику - и завертелась опять его жизнь, как большое маховое колесо.

Но ей была суждена новая остановка.

Дней пять спустя после возвращения Соломина восвояси на двор фабрики вкатился красивый фаэтончик, запряженный четверней отличных лошадей, и ливрейный бело-гороховый лакей, введенный Павлом во флигель, торжественно вручил Соломину письмо с гербовою печатью от "Его превосходительства Бориса Андреевича Сипягина". В этом письме, пропитанном не духами - фи! - а какой-то необычайно приличной английской вонью и писанном - хоть и в третьем лице, - но не секретарской, а собственной генеральской рукою, просвещенный владелец села Аржаного, извинившись сперва, что обращается к человеку, лично ему не знакомому, но о котором он, Сипягин, наслышан с самой лестной стороны, - брал на себя "смелость" пригласить к себе в деревню г-на Соломина, советы которого могли быть чрезвычайно полезны для него, Сипягина, в некотором значительном промышленном предприятии; и в надежде на любезное согласие г-на Соломина - он, Сипягин, посылает ему экипаж.

В случае же невозможности со стороны г-на Соломина отлучиться в тот день он, Сипягин, покорнейше просит г-на Соломина назначить ему другой, какой будет ему угодно, - и тот жеэкипаж будет с радостью предоставлен им, Сипягиным, в распоряжение г-на Соломина. Засим следовали обычные заявления, а в конце письма находилось post scriptum, уже в первом лице: "Надеюсь, что вы не откажетесь откушать у меня запросто, в сюртуке". (Слово "запросто"

было подчеркнуто.) Вместе с этим письмом бело-гороховый лакей с некоторым как бы смущением подал Соломину простую, даже не запечатанную, а заклеенную записку от Нежданова, в которой стояло только несколько слов:

"Приезжайте, пожалуйста, вы здесь очень нужны и можете быть очень полезны; только, конечно, не г-ну Сипягину".

Прочтя письмо Сипягина, Соломин подумал: "А как же мне иначе ехать, как не запросто; фрака-то у меня в заводе нету... Да и на кой черт мне туда таскаться... только время терять!" - но, пробежав записку Нежданова, он почесал у себя в затылке и подошел в нерешительности к окну.

- Какой же изволите ответ дать? - степенно вопросил бело-гороховый лакей.

Соломин постоял еще немного у окна и наконец, встряхнув волосами и проведя рукой по лбу, промолвил:

- Еду. Дайте мне время одеться.

Лакей благоприлично вышел, а Соломин велел позвать Павла, потолковал с ним, сбегал еще раз на фабрику и, надев черный сюртук с очень длинной талией, сшитый ему губернским портным, и несколько порыжелый цилиндр, немедленно придавший его лицу деревянное выражение, сел в фаэтончик - но вдруг вспомнил, что не взял с собой перчаток; кликнул "вездесущего" Павла - и тот принес ему пару только что вымытых замшевых белых перчаток, каждый палец которых, расширенный к концу, походил на бисквит. Соломин сунул перчатки в карман и сказал, что можно ехать. Тогда лакей с какой-то внезапной, совершенно не нужной отвагой вскочил на козла, благовоспитанный кучер пискнул фальцетом - и лошади побежали.

Пока они постепенно приближали Соломина к имению Сипягина, этот государственный муж, сидя у себя в гостиной с полуразрезанной политической брошюркой на коленях, беседовал о нем с своей женой. Он поверял ей, что выписал его собственно затем, чтобы попытаться, нельзя ли сманить его с купеческой фабрики на свою собственную, так как она идет из рук вон плохо и нужны коренные преобразования! На мысли, что Соломин откажется приехать или даже назначит другой день, Сипягин и останавливаться не хотел, хоть сам же в своем письме к Соломину предлагал ему выбор дня.

- Да ведь фабрика у нас писчебумажная, не прядильная, - заметила Валентина Михайловна.

- Все равно, душа моя: и там машины, и здесь машины ... а он - механик!

- Да ведь он, быть может, специалист!

- Душа моя, во-первых - на Руси нет специалистов; а во-вторых - я повторяю тебе: он механик!

Валентина Михайловна улыбнулась.

- Смотри, мой друг: тебе уже раз не посчастливилось с молодыми людьми; как бы тебе во второй раз не ошибиться!

- Это ты насчет Нежданова? Но, мне кажется, цели своей я все-таки достиг: репетитор для Коли он хороший. А потом - ты знаешь: non bis in idem! Извини, пожалуйста, мой педантизм... Это значит, что две вещи сряду не повторяются.

- Ты полагаешь? А я так думаю, что все на свете повторяется ... особенно то, что в натуре вещей... и особенно между молодыми людьми.

- Que voulez-vouz dire? - спросил Сипягин, округленным жестом бросая брошюру на стол.

- Ouvrez les yeux - et vous verrez! - ответила ему Сипягина; по-французски они, конечно, говорили друг другу "вы".

- Гм! - произнес Сипягин. - Это ты про студентика?

- Про господина студента.

- Гм! разве у него тут (он повертел рукою около лба)... что-нибудь завелось? А?

- Открой глаза!

- Марианна? А? (Второе: "А?" было произнесено более в нос, чем первое.)

- Открой глаза, говорят тебе!

Сипягин нахмурил брови.

- Ну, это мы все разберем впоследствии. А теперь я хотел только одно сказать... Этот Соломин, вероятно, будет несколько конфузиться... ну, понятное дело, не привык. Так надо будет этак с ним поласковее...чтобы не запугать. Я это не для тебя говорю; ты у меня - золото и кого захочешь - мигом очаровать можешь. J'en sais quelque chose, madame! Я это говорю для других; вот хоть бы для этого...

Он указал на модную серую шляпу, стоявшую на этажерке: эта шляпа принадлежала г. Калломейцеву, который с утра находился в Аржаном.

- Il est tres cassant, ты знаешь; очень уж он презирает народ, что я весьма...осуждаю! К тому же я с некоторых пор замечаю в нем какую-то раздражительность, придирчивость... Или его дела там (Сипягин качнул куда-то неопределенно головою... но жена поняла его) - не подвигаются ? А?

- Открой глаза... опять скажу я тебе.

Сипягин приподнялся.

- А? (Это "А?" было уже совсем другого свойства и в другом тоне... гораздо ниже.) Вот как?! Как бы я уж их тогда слишком не открыл!

- Это твое дело; а насчет твоего нового молодого - если он только приедет сегодня - ты не беспокойся; будут приняты все мены предосторожности.

И что же? Оказалось, что никаких мер предосторожности вовсе не требовалось. Соломин нисколько не сконфузился и не испугался. Когда слуга доложил о нем, Сипягин тотчас встал, промолвил громко, так, чтоб в передней было слышно: "Проси! разумеется, проси!" - направился к двери гостиной и остановился вплоть перед нею. Лишь только Соломин переступил порог, Сипягин, на которого он едва не наткнулся, протянул ему обе руки и, любезно осклабясь и пошатывая головою, радушно приговаривая: "Вот как мило... с вашей стороны... как я вам благодарен", - подвел его к Валентине Михайловне.

- Вот это женка моя, - проговорил он, мягко нажимая своею ладонью спину Соломина и как бы надвигая его на Валентину Михайловну, - а вот, моя милая, наш первый здешний механик и фабрикант, Василий... Федосеевич Соломин. Сипягина приподнялась и, красиво взмахнув снизу вверх своими чудесными ресницами, сперва улыбнулась ему - добродушно, как знакомому; потом протянула ему свою ручку ладонью вверх, прижимая локоток к стану и наклонив головку в сторону ручки... словно просительница. Соломин дал и мужу и жене проделать над ним все ихние штучки, пожал руку и ему и ей - и сел по первому приглашению. Сипягин стал беспокоиться - не нужно ли ему чего? Но Соломин отвечал, что ничего ему не нужно, что он нисколько не устал с дороги и находится в полном его распоряжении.

- Так что можно вас попросить пожаловать на фабрику ? - воскликнул Сипягин, как бы совестясь и не смея верить такой большой снисходительности со стороны гостя.

- Хоть сейчас, - отвечал Соломин.

- Ах, какой же вы обязательный! Прикажете дрожки заложить? Или, может быть, вы желаете пешком...

- Да ведь она, чай, недалеко отсюда, ваша фабрика?

- С полверсты, не больше!

- Так на что же экипаж закладывать?

- Ну, так прекрасно. Человек, шляпу мне, палку, поскорее! А ты, хозяюшка, хлопочи, обед нам припасай! - Шляпу!

Сипягин волновался гораздо более, чем его гость. Повторив еще

раз: "Да что ж это мне шляпу!", он - сановник! - выскочил вон - совсем как резвый школьник. Пока он разговаривал с Соломиным, Валентина Михайловна посматривала украдкой, но внимательно, на этого "нового молодого". Он спокойно сидел на кресле, положив обе обнаженные руки себе на колени (он так-таки и не надел перчаток), и спокойно, хотя с любопытством, оглядывал мебель, картины. "Это что такое? думала она. - Плебей... явный плебей... а как просто себя держит!" Соломин действительно держал себя очень просто, не так, как иной, который прост-то прост, но с форсом: "Смотри, мол, на меня и понимай, каков я есть!" - а как человек, у которого и чувства и мысли несложные, хоть и крепкие.

Сипягина хотела было заговорить с ним - и, к изумлению своему, не тотчас нашлась. "Господи! - подумала она, - неужели же этот фабричный мне импонирует?"

- Борис Андреич должен быть вам очень благодарен, - промолвила она наконец, - что вы согласились пожертвовать для него частью вашего драгоценного времени ...

- Не так уж оно драгоценно, сударыня, - отвечал Соломин, - да ведь я и ненадолго к вам.

"Voila ou L'ours a montre sa patte", - подумала она по-французски; но в эту минуту ее муж появился на пороге раскрытой двери, с шляпой на голове и "стиком" в руке. Стоя в полуоборот, он развязно воскликнул:

- Василий Федосеич! Угодно пожаловать? Соломин встал, поклонился Валентине Михайловне и пошел вслед за Сипягиным.

- За мной, сюда, сюда, Василий Федосеич! - твердил Сипягин, точно он пробирался по каким-то дебрям и Соломину нужен был проводник. - Сюда! здесь ступеньки, Василий Федосеич!

- Коли уж вам угодно меня величать по отчеству, - промолвил не спеша Соломин, - я не Федосеич, а Федотыч.

Сипягин оглянулся на него назад, через плечо, почти с испугом.

- Ах, извините, пожалуйста, Василий Федотыч!

- Ничего-с; не стоит.

Они вышли на двор. Им навстречу попался Калломейцев.

- Куда это вы? - спросил он, покосившись на Соломина. - На фабрику? C'est la l'individu en question?

Сипягин вытаращил глаза и легонько потряс головою в знак предостережения.

- Да, на фабрику... показывать мои грехи да прорехи - вот господину механику. Позвольте вас познакомить! господин

Калломейцев, здешний помещик; господин Соломин ...

Калломейцев кивнул раза два головою - едва заметно - совсем не в сторону Соломина и не глядя на него.

А тот воззрелся в Калломейцева - и в его полузакрытых глазах мелькнуло нечто...

- Можно присоединится к вам? - спросил Калломейцев. - Вы знаете, я люблю поучиться.

- Конечно, можно.

Они вышли со двора на дорогу - и не успели пройти и двадцати шагов, как увидели приходского священника, в подоткнутой рясе, пробиравшегося восвояси, в так называемую "поповскую слободку". Калломейцев немедленно отделился от своих двух товарищей и, твердыми, большими шагами подойдя к священнику, который никак этого не ожидал и несколько оробел, - попросил его благословения, звучно поцеловал его потную красную руку и, обернувшисъ к Соломину, бросил ему вызывающий взгляд. Он, очевидно, знал про него "кое-что" и хотел показать себя и "нос наклеить" ученому проходимцу.

- C'est une manifestation, mon cher? - процедил сквозь зубы Сипягин.

Калломейцев фыркнул.

- Oui, mon cher, une manifestation necessaire par le temps qui court!

Они пришли на фабрику. Их встретил малоросс, с громаднейшей бородой и фальшивыми зубами, заменивший прежнего управляющего, немца, которого Сипягин окончательно прогнал. Этот малоросс был временной; он явно ничего не смыслил и только беспрестанно говорил: "ото..." да "байдуже" - и все вздыхал.

Начался осмотр заведения. Некоторые фабричные знали Соломина в лицо и кланялись ему. Одному он даже сказал: "А, здравствуй, Григорий! Ты здесь?" Он скоро убедился, что дело велось плохо. Денег было потрачено пропасть, да без толку. Машины оказались дурного качества; много было лишнего и ненужного, много нужного недоставало. Сипягин постоянно заглядывал в глаза Соломину, чтобы угадать его мнение, делал робкие запросы, желал узнать, доволен ли он, по крайней мере, порядком? Порядок-то есть, - отвечал Соломин, - но может ли быть доход - сомневаюсь.

Не только Сипягин, даже Калломейцев чувствовал, что Соломин на фабрике как дома, что ему тут все известно и знакомо до последней мелочи, что он тут хозяин. Он клал руку на машину, как ездок на шею лошади; тыкал пальцем колесо - и оно останавливалось или начинало вертеться; брал на ладонь из чана немного того месива, из которого

выделывается бумага, - и оно тотчас показывало все свои недостатки. Соломин говорил мало, а на бородатого малоросса даже не глядел вовсе; молча вышел он также из фабрики. Сипягин и Калломейцев отправились вслед за ним. Сипягин не велел никому провожать себя... даже ногою топнул и зубом скрипнул! Очень он был расстроен, - Я по вашей физиономии вижу, - обратился он к Соломину, - что вы моей фабрикой недовольны, и я сам знаю, что она у меня в неудовлетворительном состоянии и не доходна; однако, собственно... вы, пожалуйста, не церемоньтесь... Какие ее важнейшие погрешности? И что бы сделать такое, дабы улучшить ее?

Писчебумажное производство не по моей части, - отвечал Соломин, - но одно могу сказать вам: промышленные заведения - не дворянское дело.

- Вы считаете эти занятия унизительными для дворянства ? - вмешался Калломейцев.

Соломин улыбнулся своей широкой улыбкой.

- О нет! Помилуйте! Что тут унизительного? Да если б и было что подобное дворянство ведь этим не брезгает.

- Как-с? Что такое-с?

- Я хочу только сказать, - спокойно продолжал Соломин, - что дворяне не привыкли к этого рода деятельности. Тут нужен коммерческий расчет; тут все надо поставить на другую ногу; выдержка нужна. Дворяне этого не соображают. Мы и видим сплошь да рядом, что они затевают суконные, бумажные и другие фабрики, а в конце концов - кому все эти фабрики попадают в руки? Купцам. Жаль; потому купец - та же пиявка; а только делать нечего.

- Послушать вас, - вскричал Калломейцев, - дворянам нашим недоступны финансовые вопросы!

- О, напротив! дворяне на это мастера. Концессию на железную дорогу получить, банк завести, льготу какую себе выпросить или там что-нибудь в таком роде - никто на это, как дворяне! Большие капиталы составляют.

Я именно на это намекал - вот когда вы изволили рассердиться. Но я имел в виду правильные промышленные предприятия; говорю - правильные, потому что заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов, как теперь делают многие из дворян владельцев, - я подобные операции не могу считать настоящим финансовым делом.

Калломейцев ничего не ответил. Он принадлежал именно к этой

новой породе помещиков-ростовщиков, о которой упомянул Маркелов в последнем своем разговоре с Неждановым, и он был тем бесчеловечнее в своих требованиях, что лично с крестьянами дела никогда не имел - не допускать же их в свой раздушенный европейский кабинет! - а ведался с ними через приказчика. Слушая неторопливую, как бы безучастную речь Соломина, он весь внутренно закипал... но промолчал на этот раз, и только одна игра мускулов на щеках, произведенная стиснутием челюстей, изобличала то, что в нем происходило.

- Однако позвольте, позвольте, Василий Федотыч, - заговорил Сипягин, все, что вы нам излагаете, было совершенно справедливо в прежние времена, когда дворяне пользовались... совсем другими правами и вообще находились в другом положении.

Но теперь, после всех благодетельных реформ, в наш промышленный век, почему же дворяне не могут обратить свое внимание, свои способности наконец, на подобные предприятия? Почему же они не могут понять того, что понимает простой, часто даже безграмотный купец? Не страдают же они недостатком образованности - и даже можно с удостоверительностью утверждать, что они в некотором роде представители просвещения и прогресса!

Очень хорошо говорил Борис Андреевич; его красноречие имело бы большой успех где-нибудь в Петербурге - в департаменте или даже повыше, но на Соломина оно не произвело никакого впечатления.

- Не могут дворяне этими делами орудовать, - повторил он.

- Да почему же? почему? - чуть не закричал Калломейцев.

- А потому, что они те же чиновники.

- Чиновники? - Калломейцев захохотал язвительно. - Вы, вероятно, господин Соломин, не отдаете себе отчета в том, что вы изволите говорить? Соломин не переставал улыбаться.

- Отчего вы так полагаете, господин Коломенцев! (Калломейцев даже дрогнул, услышав подобное "искажение" своей фамилии.) Нет, я себе в своих словах отчет всегда отдаю.

- Так объясните то, что вы хотели сказать вашей фразой!

- Извольте: по-моему, всякий чиновник - чужак и был всегда таким; а дворянин теперь стал чужаком. Калломейцев захохотал еще пуще.

- Ну уж извините, милостивый государь; этого я совсем не понимаю.

- Тем хуже для вас. Понатужьтесь... может быть, и поймете.

- Милостивый государь!

- Господа, господа, - поспешно заговорил Сипягин, как-бы ища

кого-то сверху глазами. - Пожалуйста, пожалуйста... Kallomeitzeff, je vous prie de vous calmer.. Да и обед, должно быть, скоро будет готов. Прошу, господа, за мною!

- Валентина Михайловна! - вопил Калломейцев, пять минут спустя вбегая в ее кабинет. - Это ни на что не похоже, что ваш муж делает. Один у вас нигилист завелся, теперь он привел другого! И этот еще хуже!

- Почему так?

- Помилуйте, он черт знает что проповедует; и притом - заметьте одно: целый час говорил с вашим мужем и ни разу, ни разу не сказал ему: ваше превосходительство! - Le vagabond!

XXIV

Перед обедом Сипягин отозвал жену свою в библиотеку. Ему нужно было переговорить с нею наедине. Он казался озабоченным. Он сообщил ей, что фабрика положительно плоха, что этот Соломин кажется ему человеком очень толковым, хоть и немного... резким, и что надо продолжать с ним быть aux petits soins. "Ах, как бы хорошо было его сманить!" - повторил он раза два. Сипягин очень досадовал на присутствие Калломейиева... Черт его принес! Всюду видит нигилистов - и только о том и думает, как бы их уничтожить! Ну, уничтожай их у себя дома! Не может никак язык за зубами подержать!

Валентина Михайловна заметила, что она рада быть "aux petits soins" с этим новым гостем; только он, кажется, в этих "petits soins" не нуждается и не обращает на них внимания; не груб, а как-то уж очень равнодушен, что весьма удивительно в человеке du commun.

- Все равно... постарайся! - взмолился Сипягин.

Валентина Михайловна обещала постараться - и постаралась . Она начала с того, что поговорила en tete-a-tete с Калломейцевым. Неизвестно, что она ему сказала, но он пришел к столу с видом человека, который "взял на себя" быть смирным и скромным, что бы он ни услыхал. Эта заблаговременная "резиньяция" придавала всему его существу оттенок легкой грусти; зато сколько достоинства ... о! сколько достоинства было в каждом его движении! Валентина Михайловна познакомила Соломина со всеми своими домочадцами (пристальнее, чем на других, посмотрел он на Марианну)... и за столом посадила его возле себя о правую руку. Калломейцев сидел о левую. Развертывая салфетку, он прищурился и улыбнулся так, как бы желал сказать: "Ну-с, будемте играть комедию!" Сипягин сидел напротив и с некоторой тревогой следил за ним взором. По новому распоряжению хозяйки, Нежданов очутился не возле Марианны, а между Анной

Захаровной и Сипягиным. Марианна нашла свой билетик (так как обед был парадный) на салфетке между местами Калломейцева и Коли.

Обед был сервирован отлично; было даже "мэню": разрисованный листик лежал перед каждым прибором. Тотчас после супа Сипягин навел опять речь на свою фабрику - вообще на фабричное производство в России; Соломин отвечал, по своему обыкновению, очень кратко. Как только он заговорил, Марианна устремила на него глаза. Сидевший возле нее Калломейцев начал было обращаться к ней с разными любезностями (так как его попросили "не возбуждать полемики"), но она не слушала его; да и он произносил эти любезности вяло, для очистки совести: он сознавал, что между молодою девушкой и им существовало нечто недоступное.

Что же касается до Нежданова, то нечто еще худшее установилось внезапно между им и хозяином дома... Для Сипягина Нежданов стал просто мебелью или воздушным пространством, которого он совсем - так-таки совсем - не замечал! Эти новые отношения так быстро и так несомненно определились, что когда Нежданов в течение обеда произнес несколько слов в ответ на замечание своей соседки, Анны Захаровны, Сипягин с удивлением оглянулся, как бы спрашивая себя: "Откуда идет сей звук?"

Очевидно, Сипягин обладал некоторыми из качеств, отличающих русских крупносановных людей.

После рыбы Валентина Михайловна, которая, с своей стороны, расточала все свои обаяния и приманки направо, то есть перед Соломиным, заметила по-английски через стол своему супругу, что "наш гость не пьет вина, может быть, он желает пива"...

Сипягин громко потребовал "элю", а Соломин, спокойно обратившись к Валентине Михайловне, сказал ей, что вы, мол, вероятно, сударыня, не знаете, что я с лишком два года пробыл в Англии - и понимаю и говорю по-английски; и что я вас об этом предупреждаю в случае, если б вам угодно было что-нибудь сказать по секрету в моем присутствии. Валентина Михайловна засмеялась и начала уверять его, что предостережение это бесполезно, так как он не услышал бы о себе ничего, кроме выгодного; сама же она нашла поступок Соломина несколько странным, но, по-своему, деликатным.

Калломейцев тут наконец не выдержал.

- Вот вы были в Англии, - начал он, - и, вероятно, наблюдали тамошние нравы. Позвольте спросить, признаете ли вы их достойными подражания?

- Иное - да, иное - нет.

- Коротко - и не ясно, - заметил Калломейцев, стараясь не обращать внимания на знаки, которые делал ему Сипягин. - Но вот вы сегодня говорили о дворянах... Вы, конечно, имели случай изучать на месте то, что в Англии называется landed gentry?

- Нет, я этого случая не имел, я вращался совсем в другой сфере, но понятие об этих господах себе составил.

- И что ж? Вы полагаете, что такое landed gentry у нас невозможно? И что, во всяком случае, не следует этого желать?

- Во-первых, я точно полагаю, что оно невозможно; а во-вторых - и желать-то этого не стоит.

- Почему же-с так-с? - проговорил Калломейцев. - Эти два "слово-ер" должны были служить к тому, чтобы успокоить Сипягина, который очень волновался и даже ерзал на своем стуле.

- А потому, что лет через двадцать - тридцать вашей landed gentry и без того не будет.

- Но позвольте-с; почему же-с так-с?

- Потому что в то время земля будет принадлежать владельцам - без разбора происхождения.

- Купцам-с?

- Вероятно, большею частью купцам.

- Каким это манером?

- А таким, что купят они ее - эту самую землю.

- У дворян?

- У господ дворян.

Калломейцев снисходительно осклабился. - Вы, помнится, говорили прежде то же самое о фабриках и заводах, а теперь обо всей земле?

- А теперь говорю обо всей земле.

- И вы, вероятно, будете этому очень рады?

- Нисколько, как я уже вам докладывал; народу от этого легче не будет.

Калломейцев чуть-чуть поднял одну руку.

- Какая заботливость о народе, подумаешь!

- Василий Федорыч! - закричал во всю голову Сипягин. - Вам пива принесли! - Voyons, Simeon! - прибавил он вполголоса.

Но Калломейцев не унимался.

- Вы, я вижу, - заговорил он опять,обращаясь к Соломину, - не слишком лестного мнения о купцах; но ведь они принадлежат, по происхождению, народу?

- Так что же-с?

- Я полагал, что все народное или относящееся к народу вы находите прекрасным.

- О нет-с! Напрасно вы это полагали. Народ наш во многом можно упрекнуть, хоть он и не всегда виноват бывает. Купец у нас до сих пор хищник; он и своим-то собственным добром владеет, как хищник... Что будешь делать! Тебя грабят... и ты грабишь. А народ...

- Народ? - переспросил фистулой Калломейцев.

- Народ - соня.

- И вы желаете его разбудить?

- Это было бы не худо.

- Ага! ага! вот как-с...

- Позвольте, позвольте, - промолвил повелительно Сипягин. Он понял, что наступила минута положить, так сказать, предел... остановить! И он положил предел. Он остановил!

Помавая кистью правой руки, локоть которой оставался опертым о стол, он произнес длинную, обстоятельную речь. С одной стороны, он похвалил консерваторов, а с другой - одобрил либералов, отдавая сим последним некоторый преферанс и причисляя себя к их разряду; превознес народ - но указал на некоторые его слабые стороны; выразил полное доверие к правительству - но спросил себя: исполняют ли все подчиненные его благие предначертания? Признал пользу и важность литературы, но объявил, что без крайней осторожности она немыслима! Взглянул на запад: сперва порадовался - потом усомнился; взглянул на восток: сперва отдохнул - потом воспрянул! И, наконец, предложил выпить тост за процветание тройственного союза: Религии, Земледелия и Промышленности!

- Под эгидой власти! - строго прибавил Калломейцев.

- Под эгидой мудрой и снисходительной власти, - поправил его Сипягин.

Тост был выпит в молчании. Воздушное пространство налево от Сипягина, называемое Неждановым, произнесло, правда, некоторый неодобрительный звук но, не возбудив ничьего внимания, затихло снова, и, не возмущенный уже никаким новым прением, обед благополучно достигнул конца.

Валентина Михайловна с самой прелестной улыбкой подала чашку кофе Соломину; он ее выпил - и уже искал глазами своей шляпы... но, мягко подхваченный под руку Сипягиным, был немедленно увлечен в его кабинет - и получил: сперва отличнейшую сигару, а потом предложение перейти к нему, Сипягину, на фабрику на выгоднейших условиях! "Полным властелином вы будете, Василий Федотыч,

полным властелином!" Сигару Соломин принял; от предложения отказался. Он так и остался при своем отказе, как Сипягин ни настаивал!

- Не говорите прямо "нет!", любезнейший Василий Федотыч! Скажите, по крайней мере, что вы подумаете до завтра!

- Да ведь все равно - я принять ваше предложение не могу.

- До завтра! Василий Федотыч! Что вам стоит?

Соломин согласился, что стоить это ему ничего не будет... однако вышел из кабинета и снова стал искать свою шляпу. Но Нежданов, которому до того мгновения не удалось поменяться с ним единым словом, приблизился к нему и торопливо шепнул:

- Ради бога, не уезжайте, а то нам невозможно будет переговорить!

Соломин оставил свою шляпу в покое, тем более что Сипягин, заметив его нерешительные движения взад и вперед по гостиной, воскликнул:

- Ведь вы, конечно, ночуете у нас?

- Как прикажете, - отозвался Соломин.

Благодарный взгляд, брошенный ему Марианной, - она стояла у окна гостиной, - заставил его призадуматься.

XXV

До приезда Соломина Марианна воображала его себе совсем иным. На первый взгляд он ей показался каким-то неопределенным, безличным... Решительно, она на своем веку видала много таких белокурых, жилистых, сухопарых людей! Но чем больше она в него всматривалась, чем больше вслушивалась в его речи, тем сильнее становилось в ней чувство доверия к нему - именно доверия. Этот спокойный, не то чтобы неуклюжий, а тяжеловатый человек не только не мог солгать или прихвастнуть: на него можно было положиться, как на каменную стену... Он не выдаст; мало того: он поймет и поддержит. Марианне казалось даже, что не в ней одной, что во всех присутствующих лицах Соломин возбуждал подобное чувство. Тому, что он говорил, она особенного значения не придавала; все эти толки о купцах, о фабриках мало интересовали ее; но как он говорил, как он при этом глядел и улыбался - это нравилось ей чрезвычайно...

Правдивый человек... вот главное! - вот что ее трогало. Известное, хоть не совсем понятное дело: русские люди - самые изолгавшиеся люди в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей. К тому ж на Соломине, в глазах Марианны, лежала особая печать; на нем почил ореол человека, которого сам Василий Николаевич рекомендовал своим

последователям.

В течение обеда Марианна несколько раз переглянулась "на его счет" с Неждановым, а под конец вдруг сама себя поймала на том, что невольно сравнивает их обоих - и не в пользу Нежданова. Черты лица у Нежданова были, правда, гораздо красивее и приятнее, чем у Соломина; но самое лицо выражало смесь различных тревожных ощущений: досады, смущения, нетерпения...даже уныния; он сидел как на иголках, пытался говорить - и умолкал, усмехался нервически... Соломин, напротив, производил такое впечатление, что он, пожалуй, скучает немного, но что, впрочем, он как дома; и что "то, как он" никогда и ни в чем не зависит от "того, как другие". "Решительно, надо попросить совета у этого человека, - думалось Марианне, - он непременно скажет что-нибудь полезное". Нежданова после обеда подослала к нему она.

Вечер прошел довольно вяло; к счастью, обед кончился поздно - и до ночи оставалось недолго. Калломейцев учтиво дулся и безмолвствовал.

Что с вами? - полунасмешливо спросила его Сипягина. - Или вы что потеряли?

- Именно-с, - отвечал Калломейцев. - Об одном из наших начальников гвардии рассказывают, будто он горевал о том, что его солдаты потеряли "носок"... "Отыщите мне носок!" А я говорю: отыщите мне "слово-ерик-с"! "Слово-ерик-с" пропало - и вместе с ним всякое уважение и чинопочитание!

Сипягина объявила Калломейцеву, что не станет помогать ему в его поисках.

Ободренный успехом своего обеденного "спича", Сипягин произнес парочку других, причем пустил в ход несколько государственных соображений о необходимых мероприятиях; пустил также несколько слов - des mots - не столько острых, сколько веских, приготовленных им собственно для Петербурга. Одно из этих слов он даже повторил, предпослав фразу: "Если позволительно так выразиться". А именно: об одном из тогдашних министров он сказал, что у него непостоянный и праздный ум, направленный к мечтательным целям.

С другой стороны, Сипягин, не забывая, что он имеет дело с русским человеком из народа, не преминул щегольнуть некоторыми изречениями, долженствовавшими доказать, что и он сам - не только русский человек, но "русак" и близко знаком с самой сутью народной жизни! Так, например, на замечание Калломейцева, что дождь может

помешать уборке сена, он немедленно отвечал, что "пусть будет сено черно - зато греча бела"; употребил также поговорки вроде: "Товар без хозяина сирота"; "Десять раз примерь, один раз отрежь"; "Когда хлеб - тогда и мера"; "Коли к Егорью на березе лист в полушку - на Казанской клади хлеб в кадушку". Правда, иногда с ним случалось, что он вдруг промахнется и скажет, например - "Знай кулак свой шесток!" или "Красна изба углами!"

Но общество, в среде которого эти беды с ним случались, большею частью и не подозревало, что тут "notre bon русак" дал промах; да и, благодаря князю Коврижкину, оно уже привыкло к подобным российским "патакэсам". И все эти поговорки и изречения Сипягин произносил каким-то особенным, здоровенным, даже сипловатым голосом - d'une voix rustique. Подобные изречения, вовремя и у места пущенные им в Петербурге, заставляли высокопоставленных, влиятельных дам восклицать: "Comme il connait bien les moeurs notre peuple!" А высокопоставленные, влиятельные сановники прибавляли: "Les moeurs et les besoins!"

Валентина Михайловна очень старалась около Соломина, но видимый неуспех ее стараний ее обескураживал, и, проходя мимо Калломейцева, она невольно проговорила вполголоса: "Mon Dieu, que je me sens fatiguee!"

На что тот отвечал с ироническим поклоном:

- Tu l'as voulu, georges Dandin!

Наконец, после той обычной вспышки любезности и привета, которые являются на всех лицах поскучавшего общества в самый момент расставания: после внезапных рукопожатий, улыбок и дружеских хмыканий в нос - усталые гости, усталые хозяева разошлись.

Соломин, которому отвели едва ли не лучшую комнату во втором этаже, с английскими туалетными принадлежностями и купальным шкафом, отправился к Нежданову.

Тот начал с того, что горячо поблагодарил его за согласие остаться.

- Я знаю... это для вас жертва...

- Э! полноте! - отвечал неторопливо Соломин. - Какая тут жертва! Да притом вам я не могу отказать.

- Почему же?

- Да потому, что я полюбил вас.

Нежданов обрадовался и удивился, а Соломин пожал ему руку. Потом он сел верхом на стул, закурил сигару и, опершись обоими локтями о спинку, промолвил:

- Ну, говорите, в чем дело?

Нежданов тоже сел верхом на стул против Соломина - но сигары не закурил.

- В чем дело, спрашиваете вы?.. А в том, что я хочу бежать отсюда.

- То есть вы хотите оставить этот дом? Ну что ж? с богом!

- Не оставить... а бежать.

- Разве вас удерживают? Вы, может быть... забрали денег вперед? Так вам стоит только слово сказать... Я с удовольствием...

- Вы меня не понимаете, любезный Соломин... Я сказал: бежать, а не оставить, потому что я отсюда удаляюсь - не один.

Соломин приподнял голову.

- С кем же это?

- А с той девушкой, которую вы видели здесь сегодня...

- С этой! У ней хорошее лицо. Что ж? Вы полюбили друг друга?.. Или только так - решаетесь вместе оставить дом, где вам обоим нехорошо?

- Мы любим друг друга.

- А! - Соломин помолчал. - Она родственница здешним господам?

- Да. Но она вполне разделяет наши убеждения - и готова идти на все.

Соломин улыбнулся.

- А вы, Нежданов, готовы?

Нежданов нахмурился слегка.

- К чему этот вопрос? Я вам докажу мою готовность на деле.

- Я не сомневаюсь в вас, Нежданов; я только потому спросил вас, что, кроме вас, я полагаю, никто не готов.

- А Маркелов?

- Да! вот разве Маркелов. Да тот, чай, родился готовым.

В это мгновенье кто-то тихо и быстро постучал в двери и, не дожидаясь отзыва, отворил ее. То была Марианна.

Она тотчас подошла к Соломину.

- Я уверена, - начала она, - вы не удивитесь; увидевши меня здесь в эту пору. Он (Марианна указала на Нежданова) вам, конечно, все сказал. Дайте мне вашу руку - и знайте, что перед вами честная девушка.

- Да, я это знаю, - серьезно промолвил Соломин. Он поднялся со стула, как только Марианна появилась. - Я уже за столом смотрел на вас и думал: вот какие у этой барышни честные глаза. Мне Нежданов, точно, сказывал о вашем намерении. Но собственно зачем вы хотите бежать ?

- Как зачем? Дело, которому я сочувствую... не удивляйтесь: Нежданов ничего не скрыл от меня... это дело должно начаться на днях... а я останусь в этом помещичьем доме, где все ложь и обман? Люди, которых я люблю, будут подвергаться опасности, - а я...

Соломин остановил ее движением руки.

- Не волнуйтесь. Сядьте, и я сяду. Сядьте и вы, Нежданов. Послушайте: если у вас нет другой причины, то бежать еще вам отсюда не для чего. Дело это еще не так скоро начнется, как вы думаете.

Тут нужно еще некоторое благоразумие. Нечего соваться вперед зря. Поверьте мне.

Марианна села и запахнулась большим пледом, который она накинула себе на плечи.

- Но я не могу остаться здесь больше! Меня здесь все оскорбляют. Сегодня еще эта глупая Анна Захаровна, при Коле, сказала мне, намекая на моего отца, что яблоко от яблони недалеко падает! Коля даже удивился и спросил, что это значит? Я уже не говорю о Валентине Михайловне!

Соломин опять остановил ее - и на этот раз улыбнулся. Марианна поняла, что он немножко посмеивается над нею, но его улыбка никогда никого оскорбить не могла.

- Что ж это вы, милая барышня? Я не знаю, кто такая Анна Захаровна, ни о какой яблоне вы говорите... но помилуйте: вам глупая женщина скажет что-нибудь глупое, а вы это снести не можете? Как же вы жить-то будете? Весь свет на глупых людях стоит. Нет, это не резон. Разве что другое?

- Я убежден, - вмешался глухим голосом Нежданов, - что не нынче - завтра господин Сипягин мне сам откажет от дома. Ему, наверное, донесли; он обращается со мною... самым презрительным образом.

Соломин обернулся к Нежданову.

- Так для чего же вам бежать, коли вам без того откажут?

Нежданов не тотчас нашелся, что ответить.

- Я уже говорил вам, - начал он...

- Он так выразился, - подхватила Марианна, - потому что я ухожу с ним.

Соломин посмотрел на нее и добродушно покачал головою.

- Так, так, милая барышня но опять-таки скажу вам: если вы, точно, хотите оставить этот дом, потому что полагаете, что революция сейчас вспыхнет...

- Мы именно для этого и выписали вас, - перебила Марианна, -

чтоб узнать достоверно, в каком положении находятся дела.

- В таком случае, - продолжал Соломин, - повторяю: вы можете еще сидеть дома довольно долго. Если же вы хотите бежать, потому что любите друг друга и иначе вам соединиться нельзя, - тогда...

- Ну, что тогда?

- Тогда мне остается только пожелать вам, как говаривалось в старину, любовь да совет; да если нужно и можно - оказать вам посильную помощь. Потому что и вас, милая барышня, и его - я с первого разу полюбил, как родных.

И Марианна и Нежданов, оба подошли к нему, справа и слева, и каждый из них взял одну его руку.

- Скажите нам только, что нам делать? - промолвила Марианна. - Положим, революция еще далека... но подготовительные работы, труды, которые в этом доме, при этой обстановке, невозможны и на которые мы так охотно пойдем вдвоем... вы нам укажете их; вы только скажите нам, куда нам идти... Пошлите нас! Ведь вы пошлете нас?

- В народ... Куда же идти, как не в народ?

"До лясу",- подумал Нежданов... Ему вспомнилось слово Паклина.

Соломин поглядел пристально на Марианну.

- Вы хотите узнать народ?

- Да, то есть не узнать народ хотим мы только, но и действовать... трудиться для него.

- Хорошо, я вам обещаю, что вы его узнаете. Я доставлю вам возможность действовать - и трудиться для него. И вы, Нежданов, готовы идти... за нею... и за него?

- Конечно, готов! - произнес он поспешно. - "Джаггернаут, - вспомнилось ему другое слово Паклина.- Вот она катится, громадная колесница... и я слышу треск и грохот ее колес".

- Хорошо, - повторил задумчиво Соломин. - Но когда же вы намерены бежать?

- Хоть завтра, - воскликнула Марианна.

- Хорошо. Но куда?

- Тссс... тише... - шепнул Нежданов. - Кто-то ходит по коридору.

Все помолчали.

- Куда же вы намерены бежать? - спросил опять Соломин, понизив голос.

- Мы не знаем, - отвечала Марианна.

Соломин перевел глаза на Нежданова. Тот только потряс отрицательно головою.

Соломин протянул руку и осторожно снял со свечки нагар.

- Вот что, дети мои, - проговорил он наконец. - Ступайте ко мне на фабрику. Некрасиво там... да не опасно. Я вас спрячу. У меня там есть комнатка. Никто вас не отыщет. Попадите только туда... а мы вас не выдадим. Вы скажете: на фабрике людно. Это-то и хорошо. Где людно - там-то и можно спрятаться. Идет, что ль?

- Нам остается только благодарить вас, - промолвил Нежданов; а Марианна, которую мысль о фабрике сначала смутила, с живостью прибавила: - Конечно! конечно! Какой вы добрый! Но ведь вы нас недолго там оставите? Вы пошлете нас?

- Это будет от вас зависеть... А в случае,если бы вам вздумалось сочетаться браком, и на этот счет у меня на фабрике удобно. Там у меня, близехонько, есть сосед - двоюродным братом мне приходится - поп, по имени Зосима, преподатливый. Он вас духом обвенчает.

Марианна улыбнулась про себя, а Нежданов еще раз стиснул руку Соломину да погодя немного полюбопытствовал:

- А что, скажите, хозяин, владелец вашей фабрики, не будет претендовать? Никаких неприятностей вам не сделает?

Соломин покосился на Нежданова.

- Обо мне вы не заботьтесь. Это вы совсем напрасно. Лишь бы фабрика шла как следует, а в прочем моему хозяину - все едино. И вам, и вашей милой барышне от него никаких неприятностей не будет. И рабочих вам опасаться нечего. Только предуведомьте меня: около какого времени вас ждать?

Нежданов и Марианна переглянулись.

- Послезавтра, утром рано или день спустя, - проговорил наконец Нежданов. - Мешкать более нельзя. Того и гляди, мне завтра от дома откажут.

- Ну... - промолвил Соломин - и поднялся со стула. - Я буду вас ждать каждое утро. Да и всю неделю я из дома не отлучусь. Все меры будут приняты как следует.

Марианна приблизилась к нему... (Она подошла было к двери.)

- Прощайте, милый, добрый Василий Федотыч... Ведь вас так зовут?

- Так.

- Прощайте... или нет: до свидания! И спасибо, спасибо вам!

- Прощайте... Доброй ночи, моя голубушка!

- Прощайте и вы, Нежданов! До завтра... - прибавила она.

Марианна быстро вышла.

Оба молодых человека остались некоторое время неподвижны - и оба молчали.

- Нежданов... - начал наконец Соломин - и умолк. - Нежданов... - начал он опять, - расскажите мне об этой девушке... что вы можете рассказать. Какая была ее жизнь до сих пор?.. Кто она?.. Почему она находится здесь?..

Нежданов в коротких словах сообщил Соломину что знал.

- Нежданов... - заговорил он наконец. - Вы должны беречь эту девушку. Потому... что если... что-нибудь... Вам будет очень грешно. Прощайте.

Он удалился; а Нежданов постоял немного посреди комнаты и, прошептав: "Ах! лучше не думать!" - бросился лицом на постель.

А Марианна, вернувшись к себе в комнату, нашла на столике небольшую записку следующего содержания:

"Мне жаль вас. Вы губите себя. Опомнитесь. В какую бездну бросаетесь вы с закрытыми глазами? Для каго и для чего?

В комнате пахло особенно тонким и свежим запахом: очевидно, Валентина Михайловна только что вышла оттуда . Марианна взяла перо и, приписав внизу: "Не жалейте меня. Бог ведает, кто из нас двух более достойна сожаления; знаю только, что не хотела бы быть на вашем месте. М." - оставила записку на столе. Она не сомневалась в том, что ответ ее попадет в руки Валентины Михайловны.

А на другое утро Соломин, повидавшись с Неждановым и окончательно отказавшись от управления сипягинской фабрикой, уехал к себе домой. Он размышлял во все время дороги, что с ним случалось редко: качка экипажа обыкновенно погружала его в легкую дремоту. Он размышлял о Марианне, а также и о Нежданове; ему казалось, что будь он влюблен, он, Соломин, - он имел бы другой вид, говорил и глядел бы иначе. "Но, - подумал он, - так как этого никогда со мной не случалось, то я и не знаю, какой бы я имел при этом вид". Он вспомнил одну ирландку, которую он видел раз в одном магазине, за прилавком; вспомнил, какие у ней были чудесные, почти черные волосы, и синие глаза, и густые ресницы, и как она вопросительно и печально посмотрела на него, и как он долго ходил потом по улице перед ее окнами, и как волновался и спрашивал самого себя: познакомиться ли ему с нею или нет?

Он был тогда проездом в Лондоне; - патрон прислал его туда за покупками и дал ему денег. Соломин чуть было не остался в Лондоне, чуть было не послал этих денег назад патрону, так сильно было впечатление, произведенное на, него прекрасной Полли... (Он узнал ее имя: одна из ее товарок назвала ее.) Однако ж преодолел себя - и вернулся к своему патрону. Полли была красивее Марианны; но у этой был такой же вопросительный и печальный взгляд... и она русская...

- Однако что ж это я? - проговорил Соломин вполголоса, - о чужих невестах забочусь! - и встряхнул воротником шинели, как бы желая отбросить от себя все ненужные мысли. Кстати ж он подъезжал к своей фабрике и на пороге его флигелька мелькнула фигура верного Павла.

XXVI

Отказ Соломина очень оскорбил Сипягина: он даже вдруг нашел,

что этот доморощенный Стифенсон уж не такой замечательный механик и что он, пожалуй, не позирует, но ломается, как истый плебей. "Все эти русские, когда вообразят, что знают что-нибудь, - из рук вон! Au fond Калломейцев прав!" Под влиянием подобных неприязненных и раздражительных ощущений государственный муж - en herbe - еще безучастнее и отдаленней взглянул на Нежданова; сообщил Коле,что он может не заниматься сегодня с своим учителем, что ему надо привыкатъ к самостоятельности ... Однако самому учителю этому не отказал, как тот ожидал. Он продолжал его игнорировать! Зато Валентина Михайловна не игнорировала Марианны. Между ними произошла страшная сцена.

Часа за два до обеда они как-то вдруг очутились одни в гостиной. Каждая из них немедленно почувствовала, что минута неизбежного столкновения настала, и потому, после мгновенного колебания, обе тихонько подошли друг к дружке. Валентина Михайловна посматривала направо, Марианна стиснула губы, обе были бледны. Переходя через комнату, Валентина Михайловна посматривала направо, налево, сорвала листок гераниума... Глаза Марианны были прямо устремлены на приближавшееся к ней улыбавшееся лицо.

Сипягина первая остановилась; и, похлопывая концами пальцев по спинке стула.

- Марианна Викентьевна, - выговорила она небрежным голосом, - мы, кажется, находимся в корреспонденции друг с другом... Живя под одной крышей, это довольно странно; а вы знаете, я не охотница до странностей.

- Не я начала эту корреспонденцию, Валентина Михайловна.

- Да... Вы правы. В странности на этот раз виновата я. Толька я не нашла другого средства, чтобы возбудить в вас чувство... как бы это сказать? чувство...

- Говорите прямо, Валентина Михайловна; не стесняйтесь, не бойтесь оскорбить меня.

- Чувство... приличия.

Валентина Михайловна умолкла; один легкий стук ее пальцев по спинке стула слышался по комнате.

- В чем же вы находите, что я не соблюла приличия ? - спросила Марианна.

Валентина Михайловна пожала плечами.

- Ma chere, vous n'etes plus um enfant - и вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны Захаровны, для всего дома наконец?

Впрочем,вы и не слишком заботились о том, чтоб они остались тайной. Вы просто бравировали.

Один Борис Андреич, может быть, не обратил на них внимания... Он занят другими, более интересными и важными делами. Но, кроме его, всем известно ваше поведение, всем!

Марианна все более и более бледнела.

- Я бы просила вас, Валентина Михайловна, выразиться определительнее. Чем вы, собственно, недовольны?

"L'insolente!" - подумала Сипягина - однако еще удержалась.

- Вы желаете знать, чем я недовольна, Марианна? - Извольте! Я недовольна вашими продолжительными свиданиями с молодым человеком, который и по рождению, и по воспитанию, и по общественному положению стоит слишком низко для вас; я недовольна... нет! это слово не довольно сильно - я возмущена вашими поздними... вашими ночными визитами у этого самого человека. И где же? под моим кровом! Или вы находите, что это так и следует и что я должна молчать - и как бы оказывать покровительство вашему легкомыслию? Как честная женщина... Oui, mademoiselle, je l'ai ete, je le suis et le serai toujours! - я не могу не чувствовать негодования! Валентина Михайловна бросилась в кресло, как будто подавленная тяжестью этого самого негодования.

Марианна усмехнулась в первый раз.

- Я не сомневаюсь в вашей честности прошедшей, настоящей и будущей, начала она, - и говорю это совершенно искренне. Но вы напрасно негодуете. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человек, на которого вы намекаете... да, я действительно... полюбила его...

- Вы полюбили мсье Нежданова?

- Я люблю его.

Валентина Михайловна выпрямилась на кресле.

- Да помилуйте, Марианна! Ведь он студент, без роду, без племени; ведь он моложе вас! (Не без злорадства были произнесены эти последние слова.) Что же из этого может выйти? И что вы, в вашим умом, нашли в нем? Он просто пустой мальчик.

- Вы не всегда о нем так думали, Валентина Михайловна.

- О, боже мой! моя милая, оставьте меня в стороне... Pas tant d'esprit que ca, je vous prie. Тут дело идет о вас, о вашей будущности. Подумайте! какая же это партия для вас?

- Признаюсь вам, Валентина Михайловна, я не думала о партии.

- Как? Что? Как мне вас понять? Вы следовали влечению вашего

сердца, положим... Но ведь все это должно же кончиться браком?

- Не знаю... я об этом не думала.

- Вы об этом не думали?! Да вы с ума сошли!

Марианна немного отвернулась.

- Прекратим этот разговор, Валентина Михайловна. Он ни к чему не может повести. Мы все-таки не поймем друг друга.

Валентина Михайловна порывисто встала.

- Я не могу, я не должна прекратить этот разговор! Это слишком важно... Я отвечаю за вас перед...- Валентина Михайловна хотела было сказать: перед богом! но запнулась и сказала: - перед целым светом! Я не могу молчать, когда я слышу подобные безумия! И почему это я не могу понять вас? Что за несносная гордость у всех этих молодых людей! Нет... я вас очень хорошо понимаю; я понимаю, что вы пропитались этими новыми идеями, которые вас непременно поведут к погибели! Но тогда уже будет поздно.

- Может быть; но поверьте мне: мы, и погибая, не протянем вам пальца, чтобы вы спасли нас!

Валентина Михайловна всплеснула руками.

- Опять эта гордость, эта ужасная гордость! Ну послушайте, Марианна, послушайте меня, - прибавила она, внезапно переменив тон... Она хотела было притянуть Марианну к себе - но та отшатнулась назад. - Ecoutez-moi, je vous en conjure! Ведь я, наконец, не так уж стара - и не так глупа, чтобы нельзя было сойтись со мною! Je ne suis pas une encroutee. Меня в молодости даже считали республиканкой... не хуже вас. Послушайте: я не стану притворяться; материнской нежности я к вам никогда не питала, - да и не в вашем характере об этом сожалеть ... Но я знала и знаю, что у меня есть обязанности в отношении к вам - и я всегда старалась их исполнить.

- Быть может, та партия, о которой я мечтала для вас и для которой и Борис Андреич и я - мы бы не отступили ни перед какими жертвами... эта партия не вполне отвечала вашим идеям... но в глубине моего сердца...

Марианна глядела на Валентину Михайловну, на эти чудные глаза, на эти розовые, чуть-чуть разрисованные губы, на эти белые руки, на слегка растопыренные пальцы, украшенные перстнями, которые изящная дама так выразительно прижимала к корсажу своего шелкового платья... и вдруг перебила ее:

- Партия, говорите вы, Валентина Михайловна? Вы называете "партией" этого вашего бездушного, пошлого друга, господина Калломейцева?

Валентина Михайловна отняла пальцы от корсажа.

- Да, Марианна Викентьевна! я говорю о господине Калломейцеве - об этом образованном, отличном молодом человеке, который, наверное, составит счастье своей жены и от которого может отказаться одна только сумасшедшая! Одна сумасшедшая!

- Что делать, ma tante! Видно, я такая!

- Да в чем можешь ты серьезно упрекнуть его?

- О, ни в чем! Я презираю его... вот и все.

Валентина Михайловна нетерпеливо покачала головою с боку на бок - и снова опустилась на кресло.

- Оставим его. Retournons a nos moutons. Итак, ты любишь господина Нежданова?

- Да.

- И намерена продолжать... свои свиданья с ним?

- Да; намерена.

- Ну... а если я тебе это запрещу?

- Я вас не послушаюсь.

Валентина Михайловна подпрыгнула на кресле.

- А! Вы не послушаетесь! Вот как!.. И это мне говорит облагодетельствованная мною девушка, которую я призрела у себя дома, это мне говорит... говорит мне...

- Дочь обесчещенного отца, - сумрачно подхватила Марианна, - продолжайте, не церемоньтесь!

- Ce n'est pas moi qui vous le fait dire, mademoiselle! Но во всяком случае этим гордиться нечего! Девушка, которая ест мой хлеб...

- Не попрекайте меня вашим хлебом, Валентина Михайловна! Вам бы дороже стоило нанять француженку Коле... Ведь я ему даю уроки французского языка!

Валентина Михайловна приподняла руку в которой она держала раздушенный иланг-илангом батистовый платок с огромным белым вензелем в одном из углов, и хотела что-то вымолвить; но Марианна стремительно продолжала:

- Вы были бы правы, тысячу раз правы, если вместо всего того, что вы теперь насчитали, вместо всех этих мнимых благодеяний и жертв, вы бы в состоянии были сказать: "Та девушка, которую я любила..." Но вы настолько честны, что так солгать не можете! - Марианна дрожала, как в лихорадке. - Вы всегда меня ненавидели. Вы даже теперь, в самой глубине вашего сердца, о которой вы сию минуту упомянули, рады - да, рады тому, что вот я оправдываю ваши всегдашние предсказания, покрываю себя скандалом, позором - и вам неприятно

только то, что часть этого позора должна пасть на ваш аристократический, честный дом.

- Вы меня оскорбляете, - шепнула Валентина Михайловна, - извольте выйти вон!

Но,уже Марианна не могла совладать с собою.

- Ваш дом, сказали вы, весь ваш дом, и Анна Захаровна, и все знают о моем поведении! И все приходят в ужас и негодование... Но разве я что-нибудь прошу у вас, у них, у всех этих людей? Разве я могу дорожить их мнением? Разве этот ваш хлеб не горек? Какую бедность не предпочту я этому богатству?. Разве между вашим домом и мною не целая бездна, бездна, которую ничто, ничто закрыть не может? Неужели вы - вы тоже умная женщина - вы этого не сознаете? И если вы питаете ко мне чувство ненависти, то неужели вы не понимаете того чувства, которое я питаю к вам и которого я не называю по имени только потому, что оно слишком явно?

- Sortez, sortez, vous dis-je... - повторила Валентина Михайловна и топнула при этом своей хорошенькой, узенькой ножкой.

Марианна шагнула в направлении двери...

- Я сейчас избавлю вас от моего присутствия; но знаете ли что, Валентина Михайловна? Говорят, даже Рашели в "Баязете" Расина не удавалось это "Sortez!" - а уж вам подавно! Да еще вот что: как бишь это вы сказали ... Je suis une honnete femme, je l'ai ete et le serai toujours? Представьте: я уверена в том, что я гораздо честнее вас! Прощайте!

Марианна поспешно вышла, а Валентина Михайловна вскочила с кресла, хотела было закричать, хотела заплакать... Но что закричать - она не знала; и слезы не повиновались ей.

Она ограничилась тем, что помахала на себя платком, но распространяемое им благовоние еще сильнее подействовало на ее нервы... Она почувствовала себя несчаствой, обиженной... Она сознавала некоторую долю правды в том, что она сейчас слышала. Но как же можно было так несправедливо судить о ней? "Неужели же я такая злая", - подумала она - и поглядела на себя в зеркало, находившееся прямо против нее между двумя окнами. Зеркало это отразило прелестное, несколько искаженное, с выступившими красными пятнами, но все-таки очаровательное лицо, чудесные, мягкие, бархатные глаза...

"Я? Я злая? - подумала она опять... - С такими глазами?" Но в это мгновение вошел ее супруг - и она снова закрыла платком лицо.

- Что с тобою? - заботливо спросил он. - Что с тобою, Валя? (Он придумал для нее это уменьшительное имя, которое, однако, позволял

себе употреблять лишь в совершенном tete-a-tete, преимущественно в деревне.)

Она сперва отнекивалась, уверяла, что с ней ничего... но кончила тем, что как-то очень красиво и трогательно повернулась на кресле, бросила ему руки на плечи (он стоял, наклонившись к ней), спрятала свое лицо в разрезе его жилета - и рассказала все; безо всякой хитрости и без задней мысли постаралась - если не извинить, то до некоторой степени оправдать Марианну; сваливала всю вину на ее молодость, страстный темперамент, на недостатки первого воспитания; также до некоторой степени - и также без задней мысли - упрекала самое себя. "С моей дочерью этого бы не случилось! Я бы не так за ней присматривала!" Сипягин выслушал ее до конца снисходительно, сочувственно - и строго; держал свой стан согбенным, пока она не сняла своих рук с его плеч и не отодвинула своей головы; назвал ее ангелом, поцеловал ее в лоб, объявил, что знает теперь, какой образ действия предписывает ему его роль - роль хозяина дома, - и удалился так, как удаляется человек гуманный, но энергический, который собирается исполнить неприятный, но необходимый долг...

Часу в восьмом, после обеда, Нежданов, сидя в своей комнате, писал своему другу, Силину.

"Друг Владимир, я пишу тебе в минуту решительного переворота в моем существовании. Мне отказали от здешнего дома, я ухожу отсюда. Но это бы ничего... Я отхожу отсюда не один. Меня сопровождает та девушка, о которой я тебе писал. Нас все соединяет: сходство жизненных судеб, одинаковость убеждений, стремлений - взаимность чувства наконец. Мы любим друг друга; по крайней мере, я убежден, что не в состоянии испытать чувство любви под другою формой, чем та, под которой она мне представляется теперь. Но я бы солгал перед тобою, если б сказал, что не ощущаю ни тайного страха, от даже какого-то странного сердечного замирания...

Все темно впереди - и мы вдвоем устремляемся в эту темноту. Мне не нужно тебе объяснять, на что мы идем и какую деятельность избрали. Мы с Марианной не ищем счастия; не наслаждаться мы хотим, а бороться вдвоем, рядом, поддерживая друг друга. Наша цель нам ясна; но какие пути ведут к ней - мы не знаем. Найдем ли мы если не сочувствие, не помощь, то хоть возможность действовать? Марианна - прекрасная, честная девушка; если нам суждено погибнуть, я не буду упрекать себя в том, что я ее увлек, потому что для нее другой жизни уже не было. Но, Владимир, Владимир! мне тяжело... Сомнение меня мучит - не в моем чувстве к ней, конечно, а...

я не знаю! Только теперь вернуться уже поздно. Протяни нам обоим издалека руки - и пожелай нам терпенья, силы самопожертвованья и любви... больше любви. А ты, неведомый нам, но любимый нами всем нашим существом, всею кровью нашего сердца, русский народ, прими нас - не слишком безучастно - и научи нас, чего мы должны ждать от тебя?

Прощай, Владимир, прощай!"

Написавши эти немногие строки, Нежданов отправился на деревню. В следующую ночь заря чуть-чуть брезжила - а он уже стоял на опушке березовой рощи, не в дальнем расстоянии от сипягинского сада. Немного позади его, из-за спутанной зелени широкого орехового куста, едва виднелась крестьянская тележка, запряженная парой разнузданных лошадок; в телеге, под веревочным переплетом, спал, лежа на клочке сена и натянув на голову заплатанную свитку, старенький, седой мужичок.

Нежданов неотступно глядел на дорогу, на купы ракит вдоль сада: серая, тихая ночь еще лежала кругом, звездочки слабо, вперебивку мигали, затерянные в небесной пустой глубине. По круглым нижним краям протянутых тучек шла с востока бледная алость, и оттуда же тянуло первым холодком утренней рани. Вдруг Нежданов вздрогнул и насторожился: где-то близко сперва взвизгнула, потом стукнула калитка; маленькое женское существо, окутанное платком, с узелком на голой руке, выступило не спеша из неподвижной тени ракит на мягкую пыль дороги - и, перейдя ее вкось, словно на цыпочках, направилось к роще. Нежданов бросился к нему.

- Марианна? - шепнул он.

- Я! - послышался тихий отзыв из-под нависшего платка.

- Сюда, за мной, - отвечал Нежданов, неловко хватая ее за голую руку с узелком.

Она пожималась, как бы чувствуя озноб. Он подвел ее к телеге, разбудил мужичка. Тот проворно вскочил, тотчас перебрался на облучок, ввел свитку в рукава, подхватил веревочные вожжи... Лошади зашевелились; он их осторожно отпрукнул охриплым от крепкого сна голосом. Нежданов посадил Марианну на тележный переплет, подостлав сперва свой плащ; окутал ей ноги одеялом - сено на дне было волжко, - уместился возле нее и, нагнувшись к мужику, тихо сказал: "Пошел, куда знаешь". Мужичок задергал вожжами, лошади выбрались из опушки, фыркая и ежась, и, подпрыгивая и постукивая узкими, старыми колесами, покатилась телега по дороге. Нежданов придерживал одной рукой стан Марианны; она приподняла платок

своими холодными пальцами - и, обернувшись к нему лицом и улыбаясь, промолвила:

- Как славно свежо, Алеша!

- Да, - отвечал мужичок, - роса будет сильная! Так была уже сильна роса, что втулки тележных колес, цепляясь за верхушки высоких придорожных былинок, сбивали с них целые гроздья тончайших водяных брызг - и зелень травы казалась сизо-серой. Марианна опять пожалась от холода.

- Свежо, свежо, - повторила она веселым голосом. - И воля, Алеша, воля!

XXVII

Соломин выскочил к воротам фабрики, как только прибежали ему сказать, что какой-то господин с госпожой приехали в тележке и спрашивают его. Не поздоровавшись с своими гостями, а только кивнув им несколько раз головою, он тотчас приказал мужичку-кучеру въезжать на двор - и, направив его прямо к своему флигельку, ссадил с телеги Марианну. Нежданов спрыгнул вслед за нею. Соломин повел обоих через длинный и темный коридорчик да по узенькой кривой лесенке в заднюю часть флигелька, во второй этаж. Там он отворил низенькую дверь - и все трое вошли в небольшую, довольно опрятную комнатку с двумя окнами.

- Добро пожаловать! - проговорил Соломин с своей завсегдашней улыбкой, которая на этот раз казалась и шире и светлее обыкновенного. - Вот вам квартира. Эта комната да вот, рядом, еще другая. Неказисто, да ничего: жить можно. И глазеть здесь на вас будет некому. Тут, под окнами у вас - по уверению хозяина - цветник, а по-моему - огород; упирается он в стену, а направо да налево заборы. Тихое местечко! Ну, здравствуйте вторично, милая барышня, и вы, Нежданов, здравствуйте! Он пожал им обоим руки. Они стояли неподвижно, не раздеваясь, и с молчаливым, полуизумленным, полурадостным волнением глядели оба прямо перед собою.

- Ну что ж вы? - начал опять Соломин. - Разоблачайтесь! Какие с вами есть вещи?

Марианна показала узелок, который она все еще держала в руке.

- У меня вот только это.

- А у меня саквояж и мешок в телеге остались. Да вот я сейчас...

- Оставайтесь, оставайтесь. - Соломин отворил дверь. - Павел! - крикнул он в темноту лесенки, - сбегай, брат... Там вещи в телеге... принеси.

- Сейчас! - послышался голос вездесущего.

Соломин обратился к Марианне, которая сбросила с себя платок и начала расстегивать мантилью.

- И все удалось благополучно? - спросил он.

- Все... никто нас не увидел. Я оставила письмо господину Сипягину. Я, Василий Федотыч, оттого не взяла с собою ни платьев, ни белья, что так как вы нас посылать будете... (Марианна почему-то не решилась прибавить: в народ) ведь все равно то бы не годилось. А деньги у меня есть, чтобы купить, что будет нужно.

- Все это мы устроим впоследствии... а вот, - промолвил Соломин, указывая на входившего с неждановскими вещами Павла, - рекомендую вам моего лучшего здешнего друга: на него вы можете положиться вполне... как на самого меня. Ты Татьяне насчет самовара сказал? - прибавил он вполголоса.

- Сейчас будет, - ответил Павел, - и сливки и все.

- Татьяна - это его жена, - продолжал Соломин, - и такая же неизменная, как он. Пока вы сами... ну, там, привыкнете, что ли, - она вам, моя барышня, прислуживать будет.

Марианна бросила свою мантилью на стоявший в уголку кожаный диванчик.

- Зовите меня Марианной, Василий Федотыч, - я не хочу быть барышней! И прислужницы мне не надо... Я не для того ушла оттуда, чтобы иметь прислужниц. Не глядите на мое платье; у меня - там - другого не было. Это все надо будет переменить.

Платье это, из коричневого драдедама, было очень просто; но, сшитое петербургской портнихой, оно красиво прилегало к стану и к плечам Марианны и вообще имело вид модный.

- Ну не прислужница - так помощница, по-американски.

А чаю вы все-таки напейтесь. Теперь еще рано - да и вы оба, должно быть, устали.

Я теперь отправляюсь по фабричным делам; позднее мы опять увидимся. Что нужно будет - скажите Павлу или Татьяне.

Марианна быстро протянула ему обе руки.

- Чем нам отблагодарить вас, Василий Федотыч? - Она с умилением глядела на него.

Соломин тихонько погладил ей одну руку.

- Я бы сказал вам: не стоит благодарности... да это будет неправда. Лучше же я скажу вам, что ваша благодарность мне доставляет великое удовольствие. Вот мы и квиты. До свиданья! Павел, пойдем. Марианна и Нежданов остались одни.

Она бросилась к нему - и, глядя на него тем же взглядом, как на

Соломина, только еще радостнее, еще умиленней и светлей:

- О мой друг! - проговорила она. - Мы начинаем новую жизнь... Наконец! наконец! Ты не поверишь, как эта бедная квартирка, в которой нам суждено прожить всего несколько дней, мне кажется любезна и мила в сравнении с теми ненавистными палатами! Скажи - ты рад?

Нежданов взял ее руки и прижал их к своей груди.

- Я счастлив, Марианна, тем, что я начинаю эту новую жизнь с тобою вместе! Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой, моим мужеством...

- Милый Алеша! Но постой - надо немножко почиститься и туалет свой привести в порядок. Я пойду в свою комнату... а ты - останься здесь. Я сию минуту... Марианна вышла в другую комнату, заперлась - и минуту спустя, отворив до половины дверь, высунула голову и проговорила:

- А какой Соломин славный!

Потом она опять заперлась - и послышался щелк ключа.

Нежданов подошел к окну, посмотрел на садик... Одна старая-престарая яблонь почему-то привлекла его особое внимание. Он встряхнулся, потянулся, раскрыл свой саквояж - и ничего оттуда не вынул; он задумался... Через четверть часа вернулась и Марианна с оживленным, свежевымытым лицом, вся веселая и подвижная; а несколько мгновений спустя появилась Павлова жена, Татьяна, с самоваром, чайным прибором, булками, сливками.

В противоположность своему цыганообразному мужу, это была настоящая русская женщина, дородная, русая, простоволосая, с широкой косой, туго завернутой около рогового гребня, с крупными, но приятными чертами лица, с очень добрыми серыми глазами. Одета она была в опрятное, хоть и полинялое, ситцевое платье; руки у ней были чистые и красивые, хоть и большие. Она спокойно поклонилась, произнесла твердым, отчетливым выговором, безо всякой певучести: "Здравы будете", - и принялась устанавливать самовар, чашки и т. д.

Марианна подошла к ней.

- Позвольте, Татьяна, я помогу вам. Дайте мне хоть салфетку.

- Ничего, барышня, мы к этому приобыкли. Мне Василий Федотыч сказывал. Коли что потребуется, извольте приказать, мы со всем нашим удовольствием.

- Татьяна, не зовите меня, пожалуйста, барышней... Одета я по-барски, а впрочем, я... я совсем...

Пристальный взгляд Татьяниных зорких глаз смутил Марианну;

она умолкла.

- А кто же вы такая будете? - спросила Татьяна своим ровным голосом.

- Коли вы хотите... я, точно... я из дворянок; только я хочу все это бросить - и сделаться как все... как все простые женщины.

А, вот что! Ну, теперь знаю. Вы, стало, из тех, что опроститься хотят. Их теперь довольно бывает.

- Как вы сказали, Татьяна? Опроститься?

- Да... такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть. Опроститься. Что ж? Это дело хорошее - народ поучить уму-разуму. Только трудное это дело! Ой, тру-удное! Дай бог час!

- Опроститься! - повторяла Марианна. - Слышишь, Алеша, мы с тобой теперь опростелые!

Нежданов засмеялся и тоже повторил:

- Опроститься! опростелые! - А что это у вас, муженек будет - али брат? спросила Татьяна, осторожно перемывая чашки своими большими ловкими руками и с ласковой усмешкой поглядывая то на Нежданова, то на Марианну.

- Нет, - отвечала Марианна, - он мне не муж - и не брат.

Татьяна приподняла голову.

- Стало, так, по вольной милости живете? Теперь и это - тоже часто бывает. Допрежь больше у раскольников водилось, а ноне и у прочих людей. Лишь бы бог благословил - да жилось бы ладно! А то поп и не нужен. На фабрике у нас тоже такие есть. Не из худших ребят.

- Какие у вас хорошие слова, Татьяна!.. "По вольной милости..." Очень это мне нравится. Вот что, Татьяна, я о чем вас просить буду. Мне нужно себе платье сшить или купить, такое вот, как ваше, или еще попроще. И башмаки, и чулки, и косынка - все, чтобы было, как у вас. Деньги у меня на это есть.

- Что же, барышня, это все можно... Ну, не буду, не извольте гневаться. Не буду вас барышней называть. Только как мне вас звать-то?

- Марианной.

- А по отчеству как вас величают?

- Да на что вам мое отчество? Зовите меня просто Марианной. Зову же я вас Татьяной.

- И то - да не то. Вы уж лучше скажите.

- Ну хорошо. Моего отца звали Викентьем. А вашего как?

- А моего - Осипом.

- Ну, так я буду вас звать Татьяной Осиповной.

- А я вас Марианной Викентьевной. Вот оно как славно будет!

- Что бы вам с нами чайку выпить, Татьяна Осиповна?

- На первый случай можно, Марианна Викентьевна. Чашечкой себя побалую. А то Егорыч забронит.

- Кто это Егорыч?

- А Павел, муж мой.

- Садитесь, Татьяна Осиповна.

- И то сяду, Марианна Викентьевна.

Татьяна присела на стул и начала пить чай вприкуску, беспрестанно поворачивая в пальцах кусочек сахара и щурясь глазом с той стороны, с какой она прикусывала сахар. Марианна вступила с нею в разговор.

Татьяна отвечала не чинясь и сама расспрашивала и рассказывала. На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего ставила тотчас после Василия Федотыча. Фабричным житьем она, однако, тяготилась.

- Ни тебе город здесь, ни деревня... Без Василия Федотыча и часу бы я не осталась!

Марианна слушала ее рассказы внимательно.

Усевшийся в сторонке Нежданов наблюдал за своей подругой и не удивлялся ее вниманию: для Марианны это все было внове - а ему казалось, что он подобных Татьян видел целые сотни и говорил с ними сотни раз.

- Вот что, Татьяна Осиповна, - сказала наконец Марианна, - вы думаете, что мы хотим учить народ; нет - мы служить ему хотим.

- Как так служить? Учите его, вот вам и служба. Я хоть с себя пример возьму. Я как за Егорыча вышла - ни читать, ни писать не умела; а теперь вот знаю, спасибо Василию Федотычу. Не сам он учил меня, а заплатил одному старичку. Тот и выучил. Ведь я еще молодая, даром что рослая.

Марианна помолчала.

- Мне, Татьяна Осиповна, - начала она опять, - хотелось бы выучиться какому-нибудь ремеслу... да мы еще поговорим об этом с вами. Шью я плохо; если б я выучилась стряпать - можно бы в кухарки пойти. Татьяна задумалась.

- Как же так в кухарки? Кухарки у богатых бывают, у купцов; а бедные сами стряпают. А на артель готовить, на рабочих... Ну уж это совсем последнее дело!

- Да мне бы хоть у богатого жить, а с бедными знаться. А то как я с ними сойдусь? Не все же такой случай выдет, как с вами.

Татьяна опрокинула пустую чашку на блюдечко.

- Это дело мудреное, - промолвила она наконец со вздохом, - около пальца не обвертишь. Что умею - покажу, а многому я сама не учена. С Егорычем потолковать надо. Ведь он какой? Книжки всякие читает! - и все может сейчас как руками развести. - Тут она взглянула на Марианну, которая свертывала папироску... - И вот еще что, Марианна Викентьевна: извините меня, но коли вы, точно, опроститься желаете, так это уж вам придется бросить. - Она указала на папироску. - Потому в тех званиях, хоть бы вот в кухарках, этого не полагается: и вас сейчас всякий признает, что вы есть барышня. Да.

Марианна выбросила папироску за окно.

- Я курить не буду... от этого легко отвыкнуть. Простые женщины не курят: стало быть, и мне не след курить.

- Это вы верно сказали,Марианна Викентьевна. Мужской пол этим балует и у нас; а женский - нет. Так-то!.. Э! да вот и сам Василий Федотыч сюда жалует. Его это шаги. Вы его спросите: он вам сейчас все определит - лучшим манером.

И точно: за дверью раздался голос Соломина.

- Можно войти?

- Войдите, войдите! - закричала Марианна.

- Это у меня английская привычка, - сказал, входя, Соломин. - Ну каково вы себя чувствуете? Не заскучали еще пока? Я вижу, вы здесь чайничаете с Татьяной. Вы слушайте ее: она разумница... А ко мне сегодня мой хозяин приезжает... вот некстати! И обедать остается. Что делать! На то он хозяин.

- Что за человек? - спросил Нежданов, выходя из своего уголка.

- Ничего... Тряпки не сосет. Из новых. Вежлив очень - и рукавчики носит, а глаз всюду запускает, не хуже старого. Сам шкурку дерет - и сам приговаривает: "Повернитесь-ка на этот бочок, сделайте одолжение; тут есть еще живое местечко... Надо его пообчистить!" Ну, да со мной он шелковый; я ему нужен! Только я пришел вам сказать, что уж сегодня вряд ли удастся нам свидеться. Обед вам принесут. А на двор не показывайтесь. Как вы думаете, Марианна, Сипягины будут вас отыскивать, за вами гнаться?

- Я думаю, что нет, - ответила Марианна.

- А я так уверен, что да, - сказал Нежданов.

- Ну, все равно, - продолжал Соломин, - надо быть осторожным на первых порах. Потом обойдется.

- Да; только вот что, - заметил Нежданов, - о моем местопребывании должен знать Маркелов; надо его известить.

- Зачем?

- Нельзя иначе; для нашего дела. Он должен всегда знать, где я. Слово дано. Да он не проболтает!

- Ну хорошо. Пошлем Павла.

- А платье мне будет готово? - спросил Нежданов.

- То есть костюм? - как же...как же. Тот же маскарад. Спасибо-недорого. Прощайте, отдохните. Татьяна, пойдем.

Марианна и Нежданов опять остались одни.

XXVIII

Сперва они опять крепко пожали друг другу руки; потом Марианна воскликнула: "Постой, я помогу тебе убрать твою комнату", - и начала выкладывать его вещи из саквояжа и мешка. Нежданов хотел было помочь ей; но она объявила, что все сделает одна. "Потому что надо привыкать служить". И действительно: сама развесила платье на гвоздики, которые нашла в ящике стола и вбила собственноручно в стену оборотной стороною щетки, за неимением молотка; уложила белье в старенький комодец, находившийся между окон.

- Что это? - спросила она вдруг, - револьвер? Он заряжен? На что он тебе?

- Он не заряжен... А впрочем, дай его сюда. Ты спрашиваешь: на что? Как же без револьвера в нашем-то звании?

Она засмеялась и продолжала свою работу, встряхивая каждую отдельную вещь и хлопая по ней ладонью; поставила даже две пары сапог под диван; а несколько книг, пачку бумаг и маленькую тетрадку со стихами расположила торжественно на трехногом угловом столе, назвав его письменным и рабочим, в противность другому, круглому, который назвала обеденным и чайным. Потом, взяв стихотворную тетрадь в обе руки, приподняв ее в уровень своего лица и глядя через ее край на Нежданова, она с улыбкой промолвила:

- Ведь мы все это перечтем вместе, в свободное от занятий время! А?

- Дай мне эту тетрадь! я ее сожгу! - воскликнул Нежданов. - Она другого не стоит!

- Зачем же ты ее взял с собою, коли так? Нет, нет, я тебе ее не дам на сожжение. А впрочем, говорят, сочинители только грозятся - и никогда своих вещей не жгут. Но я все-таки лучше унесу ее к себе!

Нежданов хотел протестовать, но Марианна выскочила в соседнюю комнату с тетрадью - и вернулась без нее.

Она подсела к Нежданову - и тотчас же встала.

- Ты у меня еще не был... в моей комнате. Хочешь посмотреть? Она не хуже твоей. Пойдем - я тебе покажу.

Нежданов тоже встал и последовал за Марианной. Комнатка ее, как она выразилась, была немного меньше его комнаты; но мебель в ней была как будто почище и поновей; на окне стояла хрустальная вазочка с цветами, а в углу железная кроватка.

- Видишь, какой он милый, Соломин, - воскликнула Марианна, - только не надо себя слишком нежить: такие квартиры нам не часто попадаться будут. А вот что я думаю; вот было бы хорошо: так устроиться, чтобы нам обоим, не расставаясь, на какое-нибудь место поступить! Трудно это будет, - прибавила она, погодя немного, - ну, там подумаем. Ведь все равно: в Петербург ты не вернешься?

- Что мне в Петербурге делать? В университет ходить да уроки давать? Это уж никуда не годится. - Вот что Соломин скажет, - промолвила Марианна, - он лучше решит, как и что.

Они вернулись в первую комнату и опять сели друг подле друга. Похвалили Соломина, Татьяну, Павла; упомянули о Сипягине, о том, как прежняя жизнь вдруг так далеко от них ушла, словно туманом покрылась; потом опять пожали друг другу руки - обменялись радостными взглядами; потом поговорили о том, в какие слои должно стараться проникать и как им надо будет держаться, чтобы их не подозревали.

Нежданов уверял, что чем меньше об этом думать, чем проще себя держать, тем лучше.

- Конечно! - воскликнула Марианна. - Ведь мы хотим опроститься, как говорит Татьяна.

- Я не в этом смысле, - начал было Нежданов. - Я хотел сказать, что не надо принуждать себя...

Марианна вдруг засмеялась.

- Я вспомнила, Алеша, как это я нас обоих назвала: опростелые!

Нежданов тоже посмеялся, повторил: "опростелые..." - а потом задумался.

И Марианна задумалась.

- Алеша! - промолвила она.

- Что?

- Мне кажется, нам обоим немного неловко. Молодые - des nouveaux maries, пояснила она, - в первый день своего брачного путешествия должны чувствовать нечто подобное. Они счастливы... им очень хорошо - и немножко неловко.

Нежданов улыбнулся - принужденной улыбкой.

- Ты очень хорошо знаешь, Марианна, что мы не молодые - в твоем смысле.

Марианна поднялась с своего места и стала прямо перед Неждановым.

- Это от тебя зависит.

- Как?

- Алеша, ты знаешь, что когда ты мне скажешь как честный человек - а я тебе верю, потому что ты точно честный человек, - когда ты мне скажешь, что ты меня любишь той любовью... ну, той любовью, которая дает право на жизнь другого, - когда ты мне это скажешь, - я твоя.

Нежданов покраснел и отвернулся немного.

- Когда я тебе это скажу...

- Да, тогда! Но ведь ты сам видишь, ты мне теперь этого не говоришь... О да, Алеша, ты, точно, честный человек. Ну, и давай толковать о вещах более серьезных.

- Но ведь я люблю тебя, Марианна!

- Я в этом не сомневаюсь... и буду ждать. Постой, я еще не совсем привела в порядок твой письменный стол. Вот тут что-то завернуто, что-то жесткое...

Нежданов рванулся со стула.

- Оставь это, Марианна... Это... пожалуйста, оставь. Марианна повернула к нему голову через плечо и с изумлением приподняла брови.

- Это - тайна? Секрет? У тебя есть секрет?

- Да... да, - промолвил Нежданов и, весь смущенный, прибавил - в виде объяснения: - Это... портрет. Слово это вырвалось у него невольно. В бумажке, которую Марианна держала в руках, был действительно завернут ее портрет, данный Нежданову Маркеловым.

- Портрет? - произнесла она протяжным голосом... - Женский?

Она подала ему пакетец; но он неловко его взял, он чуть не выскользнул у него из рук - и раскрылся.

- Да это... мой портрет! - воскликнула Марианна с живостью... - Ну свой-то портрет я имею право взять. - Она выхватила его у Нежданова.

- Это - ты нарисовал?

- Нет... не я.

- Кто же? Маркелов?

- Ты угадала... Он.

- Каким же образом он у тебя?

- Он мне подарил его.

- Когда?

Нежданов рассказал, когда и как. Пока он говорил, Марианна

взглядывала то на него, то на портрет... и у обоих, у Нежданова и у ней, мелькнула одна и та же мысль в голове: "Если бы он был в этой комнате, он бы имел право потребовать..." Но ни Марианна, ни Нежданов не высказали громко своей мысли... быть может потому, что каждый из них почувствовал ее в другом.

Марианна тихонько завернула портрет в бумажку и положила ее на стол.

- Добрый человек! - прошептала она. - Где-то он теперь?

- Как где?.. Дома, у себя. Я завтра или послезавтра пойду к нему за книжками, за брошюрами. Он хотел мне дать - да, видно, забыл при отъезде.

- И ты, Алеша, того мнения, что, отдавая тебе этот портрет, он уже ото всего отказывался... решительно ото всего?

- Мне так показалось.

- И ты надеешься его найти дома?

- Конечно.

- А! - Марианна опустила глаза, уронила руки. - А вот нам обед Татьяна несет! - вскрикнула она вдруг. - Какая она славная женщина!

Татьяна явилась с приборами, салфетками, судками. Пока она накрывала на стол, она рассказывала о том, что происходило на фабрике.

- Хозяин приехал из Москвы по чугунке - и пошел бегать по всем этажам, как оглашенный; да ведь он ничего как есть не смыслит, а только так, для, виду действует, для примеру. А Василий Федотыч с ним, как с малым младенцем; а хозяин хотел какую-то противность учинить, так его Василий Федотыч сейчас отчеканил; брошу, говорит, сейчас все; тот сейчас хвост и поджал. Теперь вместе кушают; а хозяин с собой компаньона привез...Так тот только всему удивляется. А денежный, должно быть, человек, этот кумпаньон, потому все больше молчит да головой потряхивает. А сам толстый-претолстый! Туз московский! Недаром пословица такая слывет, что Москва у всей России под горою: все в нее катится.

- Как вы все примечаете! - воскликнула Марианна.

- Я и то заметливая, - возразила Татьяна. - Вот, готов вам обед. Кушайте на здоровье. А я тут малость посижу, на вас погляжу.

Марианна и Нежданов принялись есть; Татьяна прикорнула на подоконник и подперла щеку рукою.

- Погляжу я на вас, - повторила она, - и какие же вы оба молоденькие да кволенькие... Так приятно на вас глядеть, что даже печально! Эх, голубчики мои! Берете вы на себя тяготу невмоготу!

Таких-то, как вас, пристава царские охочи в куролеску сажать!

- Ничего, тетушка, не пугайте нас, - заметил Нежданов. - Вы знаете поговорку: "Назвался груздем - полезай в кузов".

- Знаю... знаю; да кузовья-то пошли ноне тесные да невылазные!..

- Есть у вас дети? - спросила Марианна, чтобы переменить разговор.

- Есть; сынок. В школу ходить начал. Была и дочка; да не стало ее, сердешной! Несчастье с ней приключилось: попала под колесо. И хоть бы разом ее убило! А то - мучилась долго. С тех пор я жалостливая стала; а прежде - что жимолость, что я. Как есть дерево!

- Ну, а как же вы Павла Егорыча-то вашего - разве не любили?

- Э! то особ статья; то - дело девичье. Ведь вот и вы - вашего-то любите? Аль нет?

- Люблю.

- Очнно любите?

- Очень.

- Чтой-то... - Татьяна посмотрела на Нежданова, на Марианну - и ничего не прибавила.

Марианне опять пришлось переменить разговор. Она объявила Татьяне, что бросила табак курить; та ее похвалила. Потом Марианна вторично попросила ее насчет платья; напомнила ей, что она обещалась показать, как стряпают...

- Да вот еще что! Нельзя ли мне достать толстых суровых ниток? Я буду чулки вязать... простые.

Татьяна отвечала, что все будет исполнено как следует, и, убрав со стола, вышла из комнаты своей твердой, спокойной походкой.

- Ну, а мы что будем делать? - обратилась Марианна к Нежданову - и, не давши ему ответить: - Хочешь? так как только завтра начнется настоящее дело, посвятим нынешний вечер литературе. Перечтем твои стихи! Я судья буду строгий.

Нежданов долго не соглашался... однако кончил тем, что уступил, - и стал читать из тетрадки. Марианна села близко возле него и глядела ему в лицо, пока он читал. Она сказала правду: судьей она оказалась строгим.

Немногие стихотворения ей понравились: она предпочитала чисто лирические, короткие и, как она выражалась, не нравоучительные. Читал Нежданов не совсем хорошо: не решался декламировать - и не хотел впадать в сухой тон; выходило ни рыба ни мясо. Марианна вдруг перервала его вопросом: знает ли он удивительное стихотворение Добролюбова, которое начинается так: "Пускай умру печали мало", - и

тут же прочла его - тоже не совсем хорошо, как-то немножко по-детски.

Нежданов заметил, что оно горько и горестно донельзя, - и потом прибавил, что он, Нежданов, не мог бы написать это стихотворение уже потому, что ему нечего бояться слез над своей могилой... их не будет.

- Будет, если я тебя переживу, - произнесла медлительно Марианна - и, поднявши глаза к потолку да помолчав немного, вполголоса, как бы говоря с самой собою, спросила:

- Как же это он с меня портрет нарисовал? По памяти ?

Нежданов быстро обернулся к ней...

- Да; по памяти. Марианна удивилась, что он отвечал ей. Ей казалось, что она этот вопрос только подумала.

- Это удивительно... - продолжала она тем же голосом. - Ведь у него и таланта к живописи нет. Что я хотела сказать... - прибавила она громко, - да! насчет стихов Добролюбова. Надо такие стихи писать, как Пушкин, - или вот такие, как эти добролюбовские: это не поэзия... но что-то не хуже ее.

- А такие, как мои, - спросил Нежданов, - вовсе не следует писать? Не правда ли?

- Такие стихи, как твои, нравятся друзьям не потому, что они очень хороши, но потому, что ты хороший человек - и они на тебя похожи.

Нежданов усмехнулся.

- Похоронила же ты их - да и меня кстати!

Марианна ударила его по руке и назвала злым...

Скоро потом она объявила, что она устала - и пойдет спать.

- Кстати, ты знаешь, - прибавила она, встряхнув своими короткими, но густыми кудрями, - у меня сто тридцать семь рублей, - а у тебя?

- Девяносто восемь.

- О! да мы богаты... для опростелых. Ну - до завтра!

Она ушла; но через несколько мгновений ее дверь чуть-чуть отворилась - и из-за узкой щели послышалось сперва: "Прощай!" - потом более тихо: "Прощай!" И ключ щелкнул в замке.

Нежданов опустился на диван и закрыл глаза рукою... Потом он быстро встал, подошел к двери - и постучался.

- Чего тебе? - раздалось оттуда.

- Не до завтра, Марианна... а - завтра!

- Завтра, - отозвался тихий голос.

XXIX

На другой день поутру рано Нежданов постучался опять в дверь к

Марианне.

- Это я, - отвечал он на ее вопрос: кто там? - Можешь ты ко мне выйти?

- Погоди... сейчас.

Она вышла - и ахнула. В первую минуту она его не узнала. На нем был истасканный желтоватый нанковый кафтан с крошечными пуговками и высокой тальей; волосы он причесал по-русски - с прямым пробором; шею повязал синим платочком; в руке держал картуз с изломанным козырьком; на ногах у него были нечищеные выростковые сапоги.

- Господи! - воскликнула Марианна, - какой ты... некрасивый! - и тут же быстро обняла его и еще быстрей поцеловала. - Да зачем же ты так оделся? Ты смотришь каким-то плохим городским мещанином... или разносчиком ... или отставным дворовым. Отчего этот кафтан, а не поддевка или просто крестьянский армяк?

- То-то и есть, - начал Нежданов, который в своем костюме действительно смахивал на мелкого прасола из мещан - и сам это чувствовал и в душе досадовал и смущался; он до того смущался, что все потрогивал себя по груди растопыренными пальцами обеих рук, словно обчищался ... - В поддевке или в армяке меня бы сейчас узнали, по уверению Павла; а эта одежа - по его словам... словно я другой отроду и не нашивал! Что не очень лестно для моего самолюбия, замечу в скобках.

- Разве ты хочешь сейчас идти... начинать? - с живостью спросила Марианна.

- Да; я попытаюсь; хотя... по-настоящему...

- Счастливец! - перебила Марианна.

- Этот Павел какой-то удивительный, - продолжал Нежданов. - Все-то он знает, так тебя глазами насквозь и нижет; а то вдруг такое скорчит лицо, словно он ото всего в стороне и ни во что не мешается! Сам услуживает, а сам все подсмеивается. Книжки мне принес от Маркелова; он и его знает и Сергеем Михайловичем величает. А за Соломина и в огонь и в воду готов.

- И Татьяна тоже,- промолвила Марианна. - Отчего это ему люди так преданы?

Нежданов не отвечал.

- Какие книжки принес тебе Павел? - спросила Марианна.

Да... обыкновенные. "Сказка о четырех братьях"... Ну, еще там... обыкновенные, известные. Впрочем, эти лучше.

Марианна тоскливо оглянулась.

- Но что ж это Татьяна? Обещала, что придет ранехонько ...

- А вот она и я, - проговорила Татьяна, входя в комнату с узелком в руке. Она стояла за дверью и слышала восклицание Марианны.

- Успеете еще... вот невидаль!

Марианна так и бросилась ей навстречу,

- Принесли?

Татьяна ударила рукой по узелку.

- Все тут... в полном составе... Стоит только примерить ... да и ступай щеголять - народ удивлять!

- Ах, пойдемте, пойдемте, Татьяна Осиповна, милая.

Марианна увлекла ее в свою комнату.

Оставшись один, Нежданов прошелся раза два взад и вперед какой-то особенной, шмыгающей походкой (он почему -то воображал, что мещане именно так ходят), понюхал осторожно свой собственный рукав, внутренность фуражки - и поморщился; посмотрел на себя в маленькое зеркальце, прикрепленное на стене возле окна, и помотал головою: очень уж он был неказист. ("А впрочем, тем лучше", - подумал он.) Потом он достал несколько брошюр, запихнул их себе в задний карман и произнес вполголоса: "Што ш... робята... иефто... ничаво... потому шта"... "Кажется, похоже, - подумал он опять, - да и что за актерство! за меня мой наряд отвечает". И вспомнил тут Нежданов одного ссыльного немца, которому нужно было бежать через всю Россию, а он и по-русски плохо говорил; но благодаря купеческой шапке с кошачьим околышем, которую он купил себе в одном уездном городе, его всюду принимали за купца - и он благополучно пробрался за границу.

В это мгновенье вошел Соломин.

- Ага! - воскликнул он, - окопировался! Извини, брат: в этом наряде нельзя же тебе "вы" говорить.

- Да сделайте... сделай одолжение... я и то хотел тебя просить.

- Только рано уж больно; а то разве вот что: приобыкнуть желаешь. Ну, тогда - ничего. Все-таки подождать нужно: хозяин еще не уехал. Спит. - Я попозже выйду, - отвечал Нежданов, - похожу по окрестностям, пока получится какое распоряжение.

- Резон! Только вот что, брат Алексей... ведь так я говорю: Алексей?

- Алексей. Если хочешь: Ликсей, - прибавил, смеясь, Нежданов.

- Нет; зачем пересаливать. Слушай: уговор лучше денег. Книжки, я вижу, у тебя есть; раздавай их кому хочешь, - только в фабрике - ни-ни!

- Отчего же?

- Оттого, во-первых, что оно для тебя же опасно; во-вторых, я хозяину поручился, что этого здесь не будет, ведь фабрика все-таки -

его; в-третьих, у нас кое-что началось - школы там и прочее... Ну - ты испортить можешь. Действуй на свой страх, как знаешь, - я не препятствую; а фабричных моих не трогай.

- Осторожность никогда не мешает... ась? - с язвительной полуусмешкой заметил Нежданов.

Соломин широко улыбнулся, по-своему.

- Именно, брат Алексей; не мешает никогда. Но кого это я вижу? Где мы?

Эти последние восклицания относились к Марианне, которая в ситцевом, пестреньком, много раз мытом платьице, с желтым платочком на плечах, с красным на голове, появилась на пороге своей комнаты. Татьяна выглядывала из-за ее спины и добродушно любовалась ею. Марианна казалась и свежей и моложе в своем простеньком наряде: он пристал ей гораздо больше, чем долгополый кафтан Нежданову.

- Василий Федотыч, пожалуйста, не смейтесь, - взмолилась Марианна - и покраснела как маков цвет.

- Ай да парочка! - воскликнула меж тем Татьяна и в ладоши ударила. Только ты, мой голубчик, паренек, не прогневись: хорош ты, хорош, а против моей молодухи - фигурой не вышел.

"И в самом деле она прелесть, - подумал Нежданов, - о! как я ее люблю!"

- И глянь-ка, - продолжала Татьяна, - колечками со мной поменялась. Мне дала свое золотое, а сама взяла мое серебряное.

- Девушки простые золотых колец не носят, - промолвила Марианна.

Татьяна вздохнула.

- Я вам его сохраню, голубушка; не бойтесь.

- Ну, сядьте, сядьте оба, - начал Соломин, который все время, наклонив несколько голову, глядел на Марианну, - в прежние времена, вы помните, люди всегда саживались, когда в путь-дорогу отправлялись. А вам обоим дорога предстоит длинная и трудная.

Марианна, все еще красная, села; сел и Нежданов; сел Соломин... села, наконец, и Татьяна на "тычке", то есть на стоявшее стоймя толстое полено. Соломин посмотрел по очереди на всех:

Отойдем да поглядим.

Как мы хорошо сидим...

промолвил он, слегка прищурясь, и вдруг захохотал, да так славно, что не только никто не обиделся, а, напротив, всем очень стало приятно.

Но Нежданов внезапно поднялся.

- Я пойду, - сказал он, - теперь же; а то это все очень любезно - только слегка на водевиль с переодеваньем смахивает. Не беспокойся, - обратился он к Соломину, - я твоих фабричных не трону. Поболтаюсь по окрестностям, вернусь и тебе, Марианна, расскажу мои похождения, если только будет что рассказывать. Дай руку на счастье!

- Чайку бы сперва, - заметила Татьяна.

- Нет, что за чайничанье! Если нужно - я в трактир зайду или просто в кабак.

Татьяна качнула головой.

- У нас теперь по большим-то по дорогам трактиров этих развелось, что блох в овечьей шубе. Села все пространные, вот хоть бы Балмасово...

- Прощайте, до свиданья... счастливо оставаться! - поправил себя Нежданов, входя в свою мещанскую роль.

Но не успел он приблизиться к двери, как из коридора перед самым его носом вынырнул Павел и, вручая ему высокий, тонкий посох с вырезанной в виде винта, во всю его длину, полосой коры, промолвил:

- Извольте получить, Алексей Дмитрич, - подпирайтесь на ходу, и чем вы эту самую палочку дальше от себя отставлять будете, тем приятнее будет.

Нежданов взял посох молча и удалился; за ним и Павел. Татьяна хотела было уйти также; Марианна приподнялась и остановила ее.

- Погодите, Татьяна Осиповна; мне вы нужны.

- А я сейчас вернусь, да с самоваром. Ваш товарищ ушел без чаю; вишь - уж очень ему приспичило... А вам-то с чего себя казнить? Дальше - виднее будет.

Татьяна вышла, Соломин тоже встал. Марианна стояла к нему спиной; и когда она наконец обернулась к нему, - так как он очень долго не промолвил ни единого слова, - то увидена на его лице, в его глазах, на нее устремленных, выражение, какого она прежде у него не замечала: выражение вопросительное, беспокойное, почти любопытствующее. Она смутилась и опять покраснела. А Соломину словно стало совестно того, что она уловила на его лице, и он заговорил громче обыкновенного:

- Так так-то, Марианна... Вот вы и начали.

- Какое начала, Василий Федотыч! Что это за начало? Мне что-то вдруг очень неловко становится. Алексей правду сказал: мы точно какую-то комедию играем.

Соломин сел опять на стул.

- Да позвольте, Марианна...Как же вы себе это представляете: начать? Не баррикады же строить со знаменем наверху - да: ура! за республику! Это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучитесь; а пока - ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите... вот вам и начало.

- Да ведь это сестры милосердия делают, Василий Федотыч! Для чего ж мне тогда...все это? - Марианна указала на себя и вокруг себя неопределенным движением рукм. - Я о другом мечтала.

- Вам хотелось собой пожертвовать?

Глаза у Марианны заблистали.

- Да...да...да!

- А Нежданов?

Марианна пожала плечом.

- Нежданов! Мы пойдем вместе...или я пойду одна.

Соломин пристально посмотрел на Марианну.

- Знаете что, Марианна...Вы извините неприличность выражения...но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать - жертва, и большая жертва, на которую не многие способны.

- Да я и от этого не отказываюсь, Василий Федотыч.

- Я знаю, что не отказываетесь! Да, вы на это способны. И вы будете - пока - делать это; а потом, пожалуй, - и другое.

- Но для этого надо поучиться у Татьяны!

- И прекрасно...учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать кур...А там, кто знает, может быть, спасете отечество!

- Вы смеетесь надо мною, Василий Федотыч.

Соломин медленно потряс головою.

- О моя милая Марианна, поверьте: не смеюсь я над вами, и в моих словах простая правда. Вы уже теперь, все вы, русские женщины, дельнее и выше нас, мужчин.

Марианна подняла опустившиеся глаза.

- Я бы хотела оправдать ваши ожидания, Соломин... а там - хоть умереть!

Соломин встал.

- Нет, живите... живите! Это главное. Кстати, не хотите ли вы узнать, что происходит теперь в вашем доме по поводу вашего бегства? Не принимают ли мер каких? Стоит только слово шепнуть

Павлу - все разведает мигом.

Марианна изумилась.

- Какой он у вас необыкновенный человек!

- Да... довольно удивительный. Вот когда вас нужно будет браком сочетать с Алексеем - он тоже это устроит с Зосимой... Помните, я вам говорил, есть такой поп... Да ведь пока еще не нужно? Нет?

- Нет.

- А нет - так нет. - Соломин подошел к двери, разделявшей обе комнатки Нежданова и Марианны, - и нагнулся к замку.

- Что вы там смотрите? - спросила Марианна.

- А запирает ли ключ?

- Запирает, - шепнула Марианна.

Соломин обернулся к ней. Она не поднимала глаз.

- Так не нужно разведывать, какие намерения Сипягиных ? - весело промолвил он, - не нужно?

Соломин хотел удалиться.

- Василий Федотыч...

- Что прикажете?

- Скажите, пожалуйста, отчего вы, всегда такой молчаливый, так разговорчивы со мной? Вы не поверите, как это меня радует.

- Отчего? - Соломин взял обе ее маленькие, мягкие руки в свои большие, жесткие. - Отчего? Ну, да, должно быть, оттого, что я вас очень люблю. Прощайте.

Он вышел... Марианна постояла, поглядела ему вслед, подумала - и отправилась к Татьяне, которая еще не успела принести ей самовар и у которой она, правда, напилась чаю, но также мыла чумичкой горшки, и кур щипала, и даже расчесала какому-то мальчику его вихрястую голову.

К обеденному времени она вернулась на свою квартирку ... Ей не пришлось долго дожидаться Нежданова.

Он возвратился усталый, запыленный - и так и упал на диван. Она тотчас подсела к нему.

- Ну что? Ну что? Рассказывай!

- Ты помнишь эти два стиха, - отвечал он ей слабым голосом:

Все это было бы смешно.

Когда бы не было так грустно...

- Помнишь?

- Конечно, помню.

- Ну вот эти самые стихи отлично применяются к моему первому выходу. Но нет! Решительно, смешного в нем было больше. Во-

первых, я убедился, что ничего нет легче, как разыгрывать роль: никто и не думал подозревать меня. Только вот чего я не сообразил: надо сочинить наперед какую-нибудь историю... а то спрашивают: откуда? почему? - а у тебя ничего не готово. Впрочем, и это почти не нужно. Предложи только шкалик водки в кабаке - и ври что угодно.

- И ты... врал? - спросила Марианна.

- Врал... как умел. Во-вторых, все, решительно все люди, с которыми я разговаривал, - недовольны; и никому не хочется даже знать, как пособить этому недовольству! Но в пропаганде я оказался - швах; две брошюрки просто тайком оставил в горницах, одну засунул в телегу... Что из них выйдет - ты един, господи, веси! Четырем человекам предлагал брошюры.

Один спросил: божественная ли это книга? - и не взял; другой сказал, что не знает грамоте, - и взял для детей, потому на обложке есть рисунок; третий сперва все мне поддакивал - "тэ-ак, тэ-ак...", потом вдруг выругал меня самым неожиданным образом и тоже не взял; четвертый, наконец, взял - и много благодарил меня; но, кажется, ни бельмеса не понял изо всего того, что я ему говорил. Кроме того, одна собака укусила мне ногу; одна баба с порога своей избы погрозилась мне ухватом, прибавив: "У! постылый! Шалопуты вы московские! Погибели на вас нетути!" Да еще один солдат бессрочный все мне вслед кричал: "Погоди, постой! мы тебя, брат, распатроним!" - А на мои же деньги напился!

- А еще что?

- Еще что? Я натер себе мозоль: один сапог ужасно велик. А теперь я голоден, и голова трещит от водки.

- Да разве ты много пил?

- Нет, немного - для примера; но был в пяти кабаках. Только я совсем этой мерзости - водки - не переношу. И как это наш народ ее пьет - непостижимо! Если нужно пить водку, чтобы опроститься - слуга покорный!

- И так-таки никто тебя не заподозрил?

- Никто. Один целовальник, толстый такой, бледный человек с белыми глазами, был единственный человек, взглянувший на меня подозрительно. Я слышал, как он говорил своей жене: "Ты наблюдай этого рыжего... косого. (А я и не знал до тех пор, что я кос.) Это жулик. Вишь ты, как пьет вальяжно!" - Что в подобном случае значит "вальяжно" - я не понял; но едва ли это похвала. Вроде гоголевского "моветона" - помнишь, в "Ревизоре". Разве то, что я старался потихоньку расплескивать водку под стол. Ох, трудно, трудно

эстетику соприкасаться с действительной жизнью!

- В другой раз будет удачнее, - утешала Нежданова Марианна, - но я рада, что ты взглянул на первую свою попытку с юмористической точки зрения... Ведь, в сущности, ты не скучал?

- Нет, не скучал, даже забавлялся. Но я знаю наверное, что буду теперь обо всем этом думать - и мне будет гадко и грустно.

- Нет! нет! я не дам тебе думать - я буду рассказывать тебе, что я делала. Сейчас нам принесут обед; кстати, знай, что я отлично... вымыла горшок, в котором Татьяна нам сварила щи. И я буду тебе рассказывать... все, все, за каждым куском.

Так она и сделала. Нежданов слушал ее рассказы - и глядел, глядел на нее... так, что она несколько раз останавливалась, чтобы дать ему сказать, зачем он так на нее глядит... Но он молчал.

После обеда она предложила ему читать вслух из Шпильгагена. Но не успела она кончить первую страницу, как он стремительно встал - и, подойдя к ней, упал к ее ногам. Она приподнялась, он обхватил ее колени обеими руками и начал говорить страстные, бессвязные, отчаянные слова! "Он хотел умереть, он знал, что умрет скоро ..."

- Она не шевелилась, не сопротивлялась; спокойно покорялась его порывистому объятию, спокойно, даже ласково глядела на него сверху вниз. Она возложила обе руки на его голову, бившуюся в складках ее одежды.

Но самое это спокойствие сильнее подействовало на него, чем если бы она его оттолкнула. Он встал, промолвил: "Прости меня Марианна, за сегодняшнее и вчерашнее: повтори мне, что ты готова ждать, пока я стану достойным твоей любви, - и прости меня".

- Я дала тебе слово... и не умею меняться.

- Ну, спасибо; прощай.

Нежданов вышел; Марианна заперлась в своей комнате.

XXX

Две недели спустя, на той же самой квартире, вот что писал Нежданов другу Силину, нагнувшись над своим трехножным столиком, на котором скупо и тускло горела сальная свеча. (Было уже далеко за полночь. На диване, на полу валялась второпях сброшенная загрязненная одежда; в стекла окон постукивал мелкий непрерывный дождь, и широкий теплый ветер пробегал большими вздохами по крыше.)

"Милый Владимир, пишу тебе, не выставляя адреса, и даже это письмо будет послано с нарочным до отдаленной почтовой станции, потому что мое пребывание здесь - тайна, и выдать ее - значит

погубить не одного меня. С тебя довольно будет знать, что я живу на большой фобрике, вдвоем с Марианной, вот уже две недели. Мы бежали от Сипягиных в тот самый день, когда я писал тебе. Нас здесь приютил один приятель; буду звать его Василием. Он здесь главное лицо отличнейший человек. Пребывание наше в этой фабрике временное. Мы находимся здесь, пока наступит время действовать; хотя, если судить по тому, что произошло до сих пор, - время это едва ли когда наступит! Владимир, мне очень, очень тяжело.

Прежде всего я должен тебе сказать, что хотя мы с Марианной бежали вместе, но мы до сих пор - как брат с сестрою. Она меня любит... и сказала мне, что будет моею, если... я почувствую себя вправе потребовать этого от нее.

Владимир, я этого права за собой не чувствую! Она верит мне, моей честности - я ее обманывать не стану.

Я знаю, что никого не любил и не полюблю (это-то уж наверно!) больше, чем ее. Но все-таки! Как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо - к трупу? Ну, не к трупу - к существу полумертвому? Где же будет совесть? Ты скажешь: была бы сильная страсть - совесть замолчала бы. В том-то и дело, что я труп; честный, благонамеренный труп, коли хочешь. Пожалуйста, не кричи, что я всегда преувеличиваю... Все, что я тебе говорю, - правда! правда! Марианна - натура очень сдержанная - и теперь вся поглощена своей деятельностью, в которую верит... А я!

Ну - бросим любовь, и личное счастье, и все такое. Вот уже две недели, как я хожу "в народ" - и, ей-же-ей, ничего глупей и представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого дела. Положим, я не славянофил; я не из тех, которые лечатся народом, соприкосновением с ним: я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник... я хочу сам действовать на него,- но как?? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я все только приникаю да прислушиваюсь, а коли придется самому что сказать - из рук вон! Сам чувствую, что не гожусь. Точно скверный актер в чужой роли. Тут и добросовестность некстати, и скептицизм, и даже какой-то мизерный, на самого себя обращенный юмор... Гроша медного все это не стоит! Даже гадко вспоминать; гадко глядеть на эту ветошь, которую я таскаю, - на этот маскарад, как выражается Василий! Уверяют, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы ... Вздор! вздор! вздор! Нужно верить в то, что говоришь, а говори, как хочешь! Мне раз пришлось слышать нечто вроде проповеди одного раскольничьего пророка.

Черт знает, что он молол, какая это была смесь церковного языка, книжного, простонародного - да еще не русского, а белорусского какого-то... "Цобе" вместо "тебе"; "исть" вместо "есть"; "ы" вместо "и" - и ведь все одно и то же долбил, как тетерев какой! "Накатыл дух... накатыл дух..эх Зато глаза горят, голос глухой и твердый, кулаки сжаты - и весь он как железный! Слушатели не понимают - а благоговеют! И идут за ним. А я начну говорить, точно виноватый, все прощения прошу. Хоть в раскольники бы пошел, право; мудрость их невелика... да где веры-то взять, веры!! Вон Марианна верит. С утра работает, возится с Татьяной - тут есть одна такая баба, добрая и неглупая; кстати, она про нас говорит, что мы опроститься желаем, и зовет нас опростелыми; так вот с этой-то бабой Марианна возится, минуты не посидит - настоящий муравей! Радуется, что руки покраснели да заскорузли, и ждет, что вот-вот и она сейчас, коли нужно, на плаху!

Да что на плаху! Она даже башмаки с себя пробовала снять; ходила куда-то босая и вернулась босая. Слышу - потом - ноги себе долго мыла; виж, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки - больно; а лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило. Да, Марианна молодец! А я как стану с ней говорить о моих чувствах - так, во-первых, мне как-то стыдно станет, точно я на чужое руку заношу; а во-вторых, этот взгляд.., о, этот ужасный, преданный, непротивящийся взгляд ... "Возьми, мол, - меня... но помни!.. Да и к чему все это? Разве нет лучшего, высшего на земле?" То есть другими словами: надевай вонючий кафтан, иди в народ... И вот я иду в этот народ...

О, как я проклинаю тогда эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наследие моего аристократического отца! Какое право имел он втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые несвойственны среде, - в которой я должен вращаться? Создал птицу - да и пихнул ее в воду? Эстетика - да в грязь! демократа, народолюбца, в котором один запах этой поганой водки - "зелена вина" - возбуждает тошноту, чуть не рвоту!..

Вот до чего я договорился: стал бранить моего отца!

И демократом сделался я сам: тут он ни при чем. Да, Владимир, худо мне. Стали посещать меня какие-то серые, скверные мысли! Так неужто же, спросищь ты меня, я даже в течение этих двух недель не наткнулся на какое-нибудь отрадное явление, на какого-нибудь хорошего, живого, хоть и темного человека? - Как тебе сказать!

Встречал я нечто подобное...

Один даже очень хороший попался - славный, бойкий малый. Да как я ни вертелся - не нужен я ему с моими брошюрами - и все тут! У здешнего фабричного Павла (он правая рука Василия, преумный и прехитрый, будущая "голова"... я тебе, кажется, о нем писал) - у него есть приятель из мужиков, Елизаром его зовут... тоже светлый ум и душа свободная, безо всяких пут; но как только он со мною - точно стена между нами! так и смотрит "нетом"! А то еще вот на какого я наскочил... впрочем, этот был из сердитых. "Уж ты, говорит, барин, не размазывай, а прямо скажи: отдашь ли ты всю свою землю как есть, аль нет?" "Что ты, - отвечаю я ему, - какой я барин!" (И еще, помнится, прибавил: Христос с тобою!) - "А коли ты из простых, говорит, так какой в тебе толк? И оставь ты меня, сделай милость!"

И вот еще что. Я заметил: коли кто уж очень охотно тебя слушает и книжки сейчас берет - знай: этот из плохоньких, ветерком подбит. Или на какого краснобая наткнешься - из образованных, который только и знает, что одно облюбленное слово твердит. Один, например, просто замучил меня: все у него "прызводство!" Что ему ни говори, а он: "Такое, значит, прызводство!" А! черт тебя побери! Еще одно замечание...Помнишь, была когда-то - давно тому назад речь о "лишних" людях, о Гамлетах? Представь: такие "лишние" люди попадаются теперь между крестьянами! Конечно, с особым оттенком... притом они большей частью чахоточного сложения. Интересные субъекты - и идут к нам охотно; но, собственно, для дела - непригодные; так же, как и прежние Гамлеты. Ну что тут будешь делать? Типографию завести секретную? Да ведь книжек и без того уже довольно. И таких, что говорят: "Перекрестись да возьми топор", и таких, что говорят: "Возьми топор просто". Повести из народного быта сначинкой сочинять? Не напечатают, пожалуй. Или уж точно взять топор?.. А на кого идти, с кем, зачем? Чтобы казенный солдат тебя убубухал из казенного ружья? Да ведь это какое-то сложное самоубийство! Уж лучше же я сам с собой покончу. По крайней мере, буду знать, когда и как, и сам выберу, в какое место выпалить.

Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война - я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать других, когда свои несвободны!!), но чтобы покончить с собою...

Наш приятель Василий, тот, что здесь нас приютил, счастливый человек: он из нашего лагеря, да спокойный какой-то. Ему не к спеху. Другого я бы выбранил... а его не могу. И оказывается, что вся суть не

в убеждениях - а в характере. У Василия характер такой, что иголки не подпустишь. Ну, вот он и прав. Он много с нами сидит, с Марианной. И вот что удивительно. Я ее люблю, и она меня любит (я вижу, как ты улыбаешься при этой фразе - но, ей-богу же, это так!); а говорить мне с нею почти не о чем. А с ним она и спорит, и толкует, и слушает его. Не ревную я ее к нему; он же собирается ее куда-то поместить - по крайней мере, она его об этом просит; только горько мне, глядя на них. И ведь представь: заикнись я словом о женитьбе - она бы сейчас согласилась, и поп Зосима выступил бы на сцену - "Исайя, ликуй!" - и все как следует. Только от этого мне бы не было легче - и ничего бы не изменилось... Куда ни кинь - все клин!

Окургузила меня жизнь, мой Владимир, как, помнишь, говаривал наш знакомый пьянчужка-портной, жалуясь на свою жену.

Впрочем, я чувствую, что это долго не продлится. Чувствую я, что готовится что-то... Не сам ли я требовал и доказывал, что надо "приступить"? Ну, вот мы и приступим.

Я не помню: писал ли я тебе о другом моем знакомом, черномазом родственнике Сипягиных? Тот может, пожалуй, заварить такую кашу, что и не расхлебаешь. Совсем уже хотел кончить это письмо - да что! Ведь я все нет-нет - да настрочу стихи. Марианне я их не читаю - она их не очень жалует - а ты... иногда и похвалишь; а главное, никому не разболтаешь. Поражен я был одним всеобщим явлением на Руси... А врочем, вот они, эти стихи.

СОН

Давненько не бывал я в стороне родной...
Но не нашел я в ней заметной перемены.
Все тот же мертвенный, бессмысленный застой
- Строения без крыш, разрушенные стены,
И та же грязь, и вонь, и бедность и тоска!
И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый...
Народ наш вольным стал; и вольная рука
Висит по-прежнему какой-то плеткой хилой.
Все, все по-прежнему... И только лишь в одном
Европу, Азию, весь свет мы перегнали...
Нет! Никогда еще таким ужасным сном
Мои любезные соотчичи не спали!
Все спит кругом: везде, в деревнях, в городах,
В телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя...
Купец, чиновник спит; спит сторож на часах,
- Под снежным холодом и на припеке зноя!

- И подсудимый спит, и дрыхнет судия;
Мертво спят мужики: жнут, пашут - спят; молотят
Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья..
Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят!
Один царев кабак - тот не смыкает глаз;
И, штоф с очищенной всей пятерней сжимая,
Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ,
Спит непробудным сном отчизна, Русь святая!

Пожалуйста, извини меня; я не хотел послать тебе такое грустное письмо, не насмешив тебя хоть под конец (ты, наверное, заметишь несколько натянутых рифм: "молотят - колотят...", да мало ли чего). Когда я напишу тебе следующее письмо? И напишу ли? Что бы со мной ни было, я уверен, ты не забудешь твоего верного друга А. И.

P. S. Да, наш народ спит... Но, мне сдается, если что его разбудит - это будет не то, что мы думаем".

Дописав последнюю строку, Нежданов бросил перо и, сказав самому себе: "Ну - теперь постарайся заснуть и забыть всю эту чушь, стихотвор!" - лег на постель... но сон долго бежал его глаз.

На другое утро Марианна разбудила его, проходя через его комнату к Татьяне; но он только что успел одеться, как она уже вернулась снова. Ее лицо выражало радость и тревогу: она казалась взволнованной.

- Знаешь что, Алеша: говорят, в Т...м уезде - близко отсюда - уже началось!

- Как? Что началось? Кто это говорит?

- Павел. Говорят, крестьяне поднимаются - не хотят платить податей, собираются толпами.

- Ты сама это слышала?

- Мне Татьяна сказывала. Да вот и сам Павел. Спроси у него.

Павел вошел и подтвердил сказанное Марианной.

- В Т...м уезде беспокойно, это верно! - промолвил он, потряхивая бородкой и прищуривая свои блестящие черные глаза. - Сергея Михайловича, должно полагать, работа. Вот уже пятый день, как их нету дома.

Нежданов взялся за шапку.

- Куда ты? - спросила Марианна.

- Да... туда, - отвечал он, не поднимая глаз и сдвинув брови. - В Т..ий уезд.

- Так и я с тобой. Ведь ты меня возьмешь? Дай мне только большой платок надеть.

- Это не женское дело, - сумрачно промолвил Нежданов, по-прежнему глядя вниз, точно озлобленный.

- Нет... нет! Ты хорошо делаешь, что идешь, а то Маркелов счел бы тебя за труса... И я иду с тобой.

- Я не трус, - так же сумрачно промолвил Нежданов.

- Я хотела сказать, что он нас обоих за трусов бы принял. Я иду с тобой.

Марианна отправилась за платком в свою комнату, а Павел произнес исподтишка и как бы втягивая в себя воздух: "Эге-ге!" - и немедленно исчез. Он побежал предупредить Соломина.

Марианна еще не появилась, как уже Соломин вошел в комнату Нежданова. Он стоял лицом к окну, опершись лбом о руку, а рукой о стекло. Соломин тронул его за плечо. Он быстро обернулся. Взъерошенный, немытый, Нежданов имел вид дикий и странный. Впрочем, и Соломин изменился в последнее время. Он пожелтел, лицо его вытянулось, верхние зубы обнажились слегка... Он тоже казался встревоженным, насколько могла тревожиться его "уравновешенная" душа.

- Маркелов таки не выдержал, - начал он. - Это может кончиться худо; для него, во-первых... ну, и для других.

- Я хочу пойти посмотреть, что там такое... - промолвил Нежданов.

- И я, - прибавила Марианна, показавшись на пороге двери.

Соломин медленно обратился к ней.

- Я бы вам не советовал, Марианна. Вы можете выдать себя - и нас; невольно и безо всякой нужды. Пускай Нежданов идет да понюхает немножко воздух, коли он хочет... и то немножко! - а вы-то зачем?

- Я не хочу отстать от него.

- Вы его свяжете.

Марианна глянула на Нежданова. Он стоял неподвижно, с неподвижным, угрюмым лицом.

- Но если будет опасность? - спросила она.

Соломин улыбнулся.

- Не бойтесь... когда будет опасность - я вас пущу.

Марианна молча сняла платок с головы - и села. Тогда Соломин обратился к Нежданову.

- А ты, брат, в самом деле посмотри-ка немножко. Может быть, это все преувеличено. Только, пожалуйста, осторожнее. Впрочем, тебя подвезут. И вернись поскорее. Ты обещаешь? Нежданов, обещаешь?

- Да.

- Да - наверное?

- Коли тебе здесь все покоряются, начиная с Марианны!

Нежданов вышел в коридор не простившись. Павел вынырнул из темноты и побежал вперед по лестнице, стуча коваными подковами сапогов. Он должен был подвезти Нежданова.

Соломин подсел к Марианне.

- Вы слышали последние слова Нежданова?

- Да; он досадует, что я слушаюсь вас больше, чем его. И ведь это правда. Я люблю его, а слушаюсь вас. Он мне дороже... а вы мне ближе.

Соломин осторожно поласкал своей рукой ее руку.

- Эта история... очень неприятная, - промолвил он наконец. - Если Маркелов в ней замешан - он погиб.

Марианна вздрогнула.

- Погиб?

- Да. Он ничего не делает вполовину - и не прячется за других.

- Погиб! - шепнула Марианна снова, и слезы побежали по ее лицу. - Ах, Василий Федотыч! мне очень жаль его. Но почему же он не может восторжествовать? Почему он должен непременно погибнуть?

- Потому, Марианна, что в подобных предприятиях первые всегда погибают, даже если они удаются... А в этом деле, что он затеял, не только первые и вторые погибнут - но и десятые... и двадцатые...

- Так мы и не дождемся?

- Того, что вы думаете? - Никогда. Глазами мы этого не увидим; вот этими, живыми глазами. Ну - духовными ... это другое дело. Любуйся хоть теперь, сейчас. Тут контроля нет.

- Так зачем же вы, Соломин...

- Что?

- Зачем вы идете по этой дороге?

- Потому что нет другой. - То есть, собственно, цель у нас с Маркеловым одна; дорога другая.

- Бедный Сергей Михайлович! - уныло промолвила Марианна. Соломин опять осторожно поласкал ее.

- Ну, полноте; еще нет ничего верного. Посмотрим, какие известия привезет Павел. В нашем... звании надо быть твердым. Англичане говорят: "Never say die".

Хорошая поговорка. Лучше русской: "Пришла беда, растворяй ворота!" Заранее горевать нечего. Соломин поднялся со стула.

- А место, которое вы хотели мне достать? - спросила вдруг Марианна. Слезы блестели еще у ней на щеках, но в глазах уже не было печали...

Соломин сел опять..

- Разве вам так хочется поскорей уехать отсюда?

- О нет! Но я желала бы быть полезной.

- Марианна, вы очень полезны и здесь. Не покидайте нас, подождите. Чего вам? - спросил Соломин вошедшую Татьяну..(Он говорил "ты" одному Павлу - и то потому, что тот был бы слишком несчастлив, если б Соломин вздумал говорить ему "вы".)

- Да тут какой-то женский пол спрашивает Алексея Дмитрича, - отвечала Татьяна, посмеиваясь и разводя руками, - я было сказала, что его нет у нас, совсем нету. Мы, мол, и не знаем, что за человек такой? Но тут он...

- Да кто - он?

Да самый этот женский пол. Взял да написал свое имя на этой вот бумаге и говорит, чтобы я показала и что его пустят; и что, если точно Алексея Дмитрича дома нет, так он и подождать может.

На бумаге стояло крупными буквами: М а шу р и н а.

- Впустите, - сказал Соломин. - Вас, Марианна, не стеснит, если она сюда войдет? Она тоже - из наших.

- Нисколько, помилуйте.

Через несколько мгновений на пороге показалась Машурина - в том же самом платье, в каком мы ее видели в начале первой главы.

XXXI

- Нежданова нет дома? - спросила она; потом, увидела Соломина, подошла к нему и подала ему руку. - Здравствуйте, Соломин! - На Марианну она только кинула косвенный взгляд.

- Он скоро вернется, - отвечал Соломин. - Но позвольте спросить, от кого вы узнали...- От Маркелова. Впрочем, оно и в городе... двум-трем лицам уже известно.

- В самом деле?

- Да. Кто-нибудь проболтал. Да и Нежданова, говорят, самого узнали.

- Вот-те и переодевания! - проворчал Соломин. - Позвольте вас познакомить, - прибавил он громко. - Госпожа Синецкая, госпожа Машурина! Присядьте.

Машурина слегка кивнула головою и села.

- У меня к Нежданову есть письмо; а к вам, Соломин, словесный запрос.

- Какой? И от кого?

- От известного вам лица.,. Что, у вас... все готово?

- Ничего у меня не готово.

Машурина раскрыла, насколько могла, свои крохотные глазки.

- Ничего?

- Ничего.

- Так-таки решительно ничего?

- Решительно ничего.

- Так и сказать?

- Так и скажите.

Машурина подумала и вынула папироску из кармана.

- Огня можно?

- Вот вам спичка.

Машурина закурила свою папироску.

- "Они" другого ждали, - начала она. - Да и кругом - не так, как у вас. Впрочем, это ваше дело. А я к вам ненадолго. Только вот с Неждановым повидаться да письмо передать.

- Куда же вы едете?

- А далеко отсюда. (Она отправлялась, собственно, в Женеву, но не хотела сказать это Соломину. Она его находила не совсем надежным, да и "чужая" сидела тут. Машурину, которая едва знала по-немецки, посылали в Женеву для того, чтобы вручить там неизвестному ей лицу половину куска картона с нарисованной виноградной веткой и 279 рублей серебром.)

- А Остродумов где? С вами?

- Нет. Он тут близко... застрял. Да этот отзовется. Пимен - не пропадет. Беспокоиться нечего.

- Вы как сюда приехали?

- На телеге... А то как? Дайте-ка еще спичку...

Соломин подал ей зажженную спичку...

- Василий Федотыч! - прошептал вдруг чей-то голос из-за двери. Пожалуйте!

- Кто там? Чего нужно?

- Пожалуйте, - повторил голос внушительно и настойчиво. - Тут пришли чужие работники, чтой-то толкуют; а Павла Егорыча нету.

Соломин извинился, встал и вышел.

Машурина принялась глядеть на Марианну и глядела долго, так что той неловко стало.

- Простите меня, - промолвила она вдруг своим грубым, отрывистым голосом, - я простая, не умею... этак. Не сердитесь; коли хотите - не отвечайте. Вы та девица, что ушла от Сипягиных?

Марианна несколько изумилась, однако промолвила:

- Я.

- С Неждановым?

- Ну да.

- Позвольте... дайте мне руку. Простите меня, пожалуйста. Вы, стало быть, хорошая, коли он полюбил вас.

Марианна пожала руку Машуриной.

- А вы коротко знаете Нежданова?

- Я его знаю. Я в Петербурге его видала. Оттого-то я и говорю. Сергей Михайлыч тоже мне сказывал...

- Ах, Маркелов! Вы его недавно видели?

- Недавно. Теперь он ушел.

- Куда?

- Куда приказано.

Марианна вздохнула.

- Ах, госпожа Машурина, я боюсь за него.

- Во-первых, что я за госпожа? Эти манеры бросить надо. А во-вторых... вы говорите: "я боюсь". И это тоже не годится. За себя не будешь бояться - и за других перестанешь. Ни думать о себе, ни бояться за себя - не надо вовсе. Вот что разве... вот что мне приходит в голову: мне, Фекле Машуриной, легко этак говорить. Я дурна собою.

А ведь вы... вы красавица. Стало быть, это вам все труднее. (Марианна потупилась и отвернулась.) Мне Сергей Михайлыч говорил... Он знал, что у меня есть письмо к Нежданову... "Не ходи ты на фабрику, - говорил он мне, - не носи письма; оно там все взбудоражит. Оставь! Они там оба счастливы... Так пусть их! Не мешай!" Я бы рада не мешать... да как быть с письмом?

- Надо отдать его непременно, - подхватила Марианна. - Но только какой же он добрый, Сергей Михайлович! Неужели он погибнет, Машурина... или в Сибирь пойдет?

- Что ж? Из Сибири-то разве не уходят? А жизнь потерять?! Кому она сладка, кому горька. Его-то жизнь - тоже не рафинад.

Машурина снова взглянула на Марианну пристально и пытливо.

- А точно, красавица вы, - воскликнула она наконец, - настоящая птичка! Я уж думаю: Алексей не идет... Не отдать ли вам письмо? Чего ждать?

- Я ему передам, будьте уверены.

Машурина подперла щеку одной рукой и долго, долго молчала.

- Скажите, - начала она... - извините меня... вы очень его любите?

- Да.

Машурина встряхнула своей тяжелой головой.

- Ну, а о том и спрашивать нечего - любит ли он вас! Я, однако,

уеду, а то запоздаю, пожалуй. Вы ему скажите, что я была здесь... кланялась ему. Скажите: была Машурина. Вы моего имени не забудете? Нет? Машурина. А письмо... Постой, куда же это я его сунула?

Машурина встала, отвернулась, делая вид, что шарит у себя в карманах, а между тем быстро поднесла ко рту маленькую свернутую бумажку и проглотила ее.

- Ай, батюшки! Вот глупость-то! Неужто ж я его обронила? Обронила и есть. Ай, беда! Не нашел бы кто... Нету; нигде нету. Вот и вышло так, как желал Сергей Михайлыч!

- Поищите еще, - шепнула Марианна.

Машурина махнула рукой.

- Нет! Что искать! Потеряла!

Марианна пододвинулась к ней.

- Ну, так поцелуйте меня!

Машурина вдруг обняла Марианну и с неженской силой прижала ее к своей груди.

- Ни для кого бы я этого не сделала, - проговорила она глухо, - против совести... в первый раз! Скажите ему, чтобы он был осторожнее... И вы тоже. Смотрите! Здесь скоро всем худо будет, очень худо. Уходите-ка оба, пока... Прощайте! - прибавила она громко и резко. - Да вот еще что... скажите ему... Нет, ничего не надо. Ничего.

Машурина ушла, стукнув дверью, а Марианна осталась в раздумье посреди комнаты.

- Что это такое? - промолвила она наконец, - ведь эта женщина больше его любит, чем я его люблю! И что значат ее намеки! И отчего Соломин вдруг ушел и не возвращается?

Она начала ходить взад и вперед. Странное чувство - смесь испуга, и досады, и изумления - овладело ею. Зачем она не пошла с Неждановым? Соломин ее отговорил... но где же он сам? И что такое происходит кругом? Машурина, конечно, из участия к Нежданову не передала ей того опасного письма... Но как могла она решиться на такое непослушание? Хотела показать свое великодушие? С какого права? И почему она, Марианна, была так тронута этим поступком? Да и была ли она тронута?

Некрасивая женщина интересуется молодым человеком... В сущности - что же в этом необыкновенного? И почему Машурина предполагает, что привязанность Марианны к Нежданову сильнее чувства долга? Может быть, Марианна вовсе не требовала этой жертвы? И что могло заключаться в том письме? Призыв к

немедленной деятельности? Так что ж!!

"А Маркелов? Он в опасности... а мы-то что делаем? Маркелов щадит нас обоих, дает нам возможность быть счастливыми, не разлучает нас... что это? Тоже великодушие ... или презрение?

И разве мы для этого бежали из того ненавистного дома, чтобы оставаться вместе и ворковать голубками?" Так размышляла Марианна... и все сильнее и сильнее разыгрывалась в ней та взволнованная досада. К тому же ее самолюбие было задето. Почему все ее оставили - все? та "толстая" женщина назвала ее птичкой, красоткой... почему не прямо куколкой? И отчего это Нежданов отправился не один, а с Павлом? Точно ему нужен опекун! Да и какие, собственно, убеждения Соломина? Он вовсе не революционер! И неужели же кто-нибудь может думать, что она относится ко всему этому не серьезно?

Вот какие мысли кружились, перегоняя одна другую и путаясь, в разгоряченной голове Марианны. Стиснув губы и скрестив по-мужски руки, села она наконец возле окна и осталась опять неподвижной, не прислоняясь к спинке стула, - вся настороженная, напряженная, готовая тотчас вскочить. К Татьяне идти, работать - она не хотела; она хотела одного: ждать! И она ждала, упорно, почти злобно.

От времени до времени ей самой казалось странным и непонятным ее собственное настроение... Но все равно! Раз ей даже пришло в голову: уж не от ревности ли это все в ней? Но, вспомнив фигуру бедной Машуриной, она только пожала плечом и махнула рукою... не в действительности, а соответственным этому жесту внутренним движением.

Мариаине долго пришлось ждать; наконец она услышала стук от двух людей, взбиравшихся по лестнице. Она устремила глаза на дверь... шаги приближались. Дверь отворилась - и Нежданов, поддерживаемый под руку Павлом, появился на пороге. Он был смертельно бледен, без картуза; растрепанные волосы падали мокрыми клочьями на лоб; глаза глядели прямо, ничего не видя. Павел перевел его через комнату (ноги Нежданова двигались неверно и слабо) и посадил его на диван. Марианна вскочила с места.

- Что это значит? Что с ним? Он болен?

Но усаживавший Нежданова Павел отвечал ей с улыбкой, в полуоборот через плечо:

- Не извольте беспокоиться: это сейчас пройдет...Это только с непривычки.

- Да что такое? - настойчиво переспросила Марианна.

- Охмелели маленько. Выпили натощак, ну, оно и того!

Марианна нагнулась к Нежданову. Он полулежал поперек дивана; голова его спустилась на грудь, глаза застилались ... От него пахло водкой: он был пьян.

- Алексей! - сорвалось у ней с языка.

Он с усилием приподнял отяжелевшие веки и попытался усмехнуться.

- А! Марианна! - пролепетал он, - ты все говорила: о... опрос... опростелые; вот теперь я настоящий опростелый. Потому весь народ наш всегда пьян... значит... Он умолк; потом пробурчал что-то невнятное, закрыл глаза - и заснул. Павел заботливо уложил его на диван.

- Вы не беспокойтесь, Марианна Викентьевна, - повторил он, - часика два соснет и встанет как встрепанный.

Марианна намеревалась было спросить, как это случилось, но ее расспросы удержали бы Павла, а ей хотелось быть одной... то есть ей не хотелось, чтобы Павел дольше видел его в таком безобразии перед нею. Она отошла к окну, а Павел, который тотчас все постиг, бережно закрыл ноги Нежданова полами его кафтана, подложил ему под голову подушечку, еще раз промолвил: ничего! - и вышел на цыпочках.

Марианна оглянулась. Голова Нежданова тяжело ушла в подушку; на бледном лице замечалось недвижимое напряжение, как у трудно больного.

"Как же это случилось?" - думала она.

XXXII

А случилось это дело вот как.

Садясь на телегу к Павлу, Нежданов вдруг пришел в весьма возбужденное состояние; а как только они выехали с фабричного двора и покатили по дороге в направлении к Т...у уезду, - он начал окликать, останавливать проходивших мужиков, держать им краткие, но несообразные речи. "Что, мол, вы спите? Поднимайтесь! Пора! Долой налоги! Долой землевладельцев!"

Иные мужики глядели на него с изумлением; другие шли дальше, мимо, не обращая внимания на его возгласы: они принимали его за пьяного; один - так даже, придя домой, рассказывал, что ему навстречу француз попался, который кричал "непонятно таково, картаво". У Нежданова было довольно ума, чтобы понять, как несказанно глупо и даже бессмысленно было то, что он делал; но он постепенно до того "взвинтил" себя, что уже перестал понимать, что умно и что глупо. Павел старался успокоить его, говорил, что этак помилуйте, нельзя;

что вот скоро будет большое село, первое на границе Т...го уезда - "Бабьи ключи"; что там можно будет поразведать... но Нежданов не унимался...

И в то же время лицо у него было какое-то печальное, почти отчаянное. Лошадка у них была пребойкая, кругленькая, с остриженной гривой на зарезистой шее; она очень хлопотливо перебирала своими крепкими ножками и все просила поводьев, точно на дело спешила и нужных людей везла. Не доезжая "Бабьих ключей", Нежданов заметил - в стороне от дороги перед раскрытым хлебным амбаром - человек восемь мужиков; он тотчас соскочил с телеги, подбежал к ним и минут с пять говорил поспешно, с внезапными криками, наотмашь двигая руками. Слова: "За свободу! Вперед! Двинемся грудью!" - вырывались хрипло и звонко из множества других, менее понятных слов. Мужики, которые собрались перед амбаром, чтобы потолковать о том, как бы его опять насыпать - хоть для примера (он был мирской, следовательно пустой), - уставились на Нежданова и, казалось, с большим вниманием слушали его речь, но едва ли что-нибудь в толк взяли, потому что когда он, наконец, бросился от них прочь, крикнув последний раз: "Свобода!" - один из них, самый прозорливый, глубокомысленно покачав головою, промолвил: "Какой строгий!" - а другой заметил: "Знать, начальник какой!" - на что прозорливец возразил: "Известное дело - даром глотку драть не станет. Заплачут теперича наши денежки!"

Сам Нежданов, взлезая на телегу и садясь возле Павла, подумал про себя: "Господи! какая чепуха! Но ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ - может быть, оно и так? Разбирать тут некогда! Валяй! На душе скребет? Пускай!" Въехали они на улицу. По самой середине ее, перед кабаком, толпилось довольно много народу. Павел хотел было удержать Нежданова; но уж он кувырком слетел с телеги - да с воплем: "Братцы!" в толпу...

Она расступилась немного, и Нежданов пустился опять проповедовать, не глядя ни на кого - и как бы сердясь и плача. Но результат тут вышел другой, чем перед амбаром. Какой-то громадный парень с безбородым, но свирепым лицом, в коротком засаленном полушубке, высоких сапогах и бараньей шапке, подошел к Нежданову - и, с размаху треснув его по плечу: "Ладно! Молодца! - гаркнул он зычным голосом, - только стой! аль не знаешь, сухая ложка рот дерет? Подь сюда! Тут разговаривать много ловчей". Он потащил Нежданова в кабак; остальная толпа повалила за ними гурьбой."Михеич! - крикнул парень, - ну-тка десятикопеечную!

Мою любимую стопку! Приятеля угощаю! Кто он такой, чьего роду и племени бес его ведает, да бояр честит лихо. Пей! - обратился он к Нежданову, подавая ему тяжелый, полный, мокрый снаружи, словно потный, стакан, - пей, коли ты точно о нашем брате печалуешься!" - "Пей!" - зашумели голоса. Нежданов схватил стопку (он был как в чаду), закричал: "За вас, ребята !" - и выпил ее разом. Ух! Он выпил ее с той же отчаянной отвагой, с какой он бросился бы на штурм батареи или на строй штыков... Но что с ним сделалось! Что-то ударило вдоль спины да по ногам, обожгло ему горло, грудь, желудок, выдавило слезы на глаза... Судорога отвращения пробежала по всему его телу, и он едва сладил с нею... Он закричал во всю голову, чтобы только чем-нибудь утишить ее. В темной комнате кабака стало вдруг жарко; и липко, и душно; что народу набралось!

Нежданов начал говорить, говорить долго, кричать с ожесточеньем, с яростью, хлопать по каким-то широким деревянным ладоням, целовать какие-то осклизлые бороды...

Громадный парень в полушубке тоже целовался с ним - чуть ребра ему не продавил. Но этот оказался каким-то извергом. "Перерву глотку! - рычал он, перерву глотку всякому, кто нашего брата забижает! А не то - мякну его по макушке... Он у меня запищит! Ведь мне что: я мясником был; дела-то эти знаю хорошо!" И при том он показывал свой громадный, покрытый веснушками кулак... И вот -

господи! опять кто-то заревел: "Пей!" - и Нежданов опять выпил этот гадкий яд. Но этот второй раз был ужасен! Его точно рвануло по внутренностям тупыми крючьями. Голова поплыла - пошли зеленые круги. Гам поднялся, звон... О ужас!.. Третья стопка... Неужто он и ее проглотил? Багровые носы полезли к нему, пыльные волосы, загорелые шеи, затылки, иссеченные сетками морщин.

Жесткие руки хватали его. "Усердствуй! - орали неистовые голоса. Беседуй! Позавчера такой же чужак расписывал важно. Валяй, такой-сякой!.." Земля заколыхалась под ногами Нежданова. Собственный голос казался ему чужим, как бы извне приходящим...Смерть это, что ли? И вдруг впечатление свежего воздуха на лице - и нет уже ни толкотни, ни красных рож, ни смрада от вина, от овчин, от дегтя, от кожи... И он опять уже сидит на телеге с Павлом, сперва порывается и кричит: "Куда? Стой! Я еще ничего не успел сказать им, надо растолковать... - а потом прибавляет: - Да ты сам, черт, лукавый человек, какие твои мнения?" А Павел ему отвечает: "Хорошо бы, кабы не было господ и земли все были бы наши - чего бы лучше? - да приказа такого еще не вышло"; а сам тихонько заворачивает лошадь назад, да вдруг бьет ее вожжами по спипе, да прочь во всю прыть от того гвалта и гула... да на фабрику...

Дремлет Нежданов - и покачивается он, а ветер ему приятно дует в лицо и не дает возникать дурным мыслям ...

Только досадно ему, что как же это ему не дали высказаться ... И опять ветер ласкает его воспаленное лицо.

А там мгновенное явление Марианны, мгновенное, жгучее чувство позора - и сон, глубокий, мертвый сон... Все это рассказал Павел потом Соломину. Не скрыл он также и того, что сам не помешал Нежданову выпить... а то так-таки не вывел бы его из кружала. Другие бы его не пустили.

- Ну, а как заслабел-то он очень, я и попросил с поклонами: "Господа, мол, честные, отпустите паренька; видите, млад больно..." Ну и отпустили; только полтинник магарыча, говорят, подавай! Я так и дал.

- И хорошо сделал, - похвалил его Соломин. Нежданов спал; а Марианна сидела под окном и глядела в палисадник. И странное дело! Нехорошие, почти злые чувства и мысли, волновавшие ее до прибытия Нежданова с Павлом, покинули ее разом; сам Нежданов нисколько не был ни противен ей, ни гадок: она жалела его. Она знала очень хорошо, что он не развратник и не пьяница - и уже думала о том, что сказать ему, когда он проснется, что-нибудь дружелюбное, чтобы он

не слишком совестился и огорчался. "Надо так сделать; надо, чтобы он сам рассказал, как эта беда стряслась над ним".

Она не волновалась; но ей было грустно... безотрадно грустно. На нее как будто повеяло настоящим запахом того мира, куда она стремилась... и содрогнулась она от этой грубости и темноты. Какому Молоху собиралась она принести себя в жертву?

Однако - нет! Быть не может! Это - так; это случайно и сейчас пройдет. Мгновенное впечатление, которое потому только ее поразило, что было слишком неожиданно. Она встала, подошла к дивану, на котором лежал Нежданов, утерла платком его бледный, даже во сне мучительно стянутый лоб, откинула назад его волосы... Ей снова стало жалко его; так мать жалеет своего больного ребенка. Но глядеть на него ей было немного жутко - и она тихонько ушла в свою комнату, оставив дверь незапертою.

Никакой работы не взяла она в руки; и села опять - и опять нашли на нее думы. Она чувствовала, как время таяло, как минута исчезала за минутой, и ей было даже приятно это чувствовать, и сердце у ней билось - и она опять принялась ждать чего-то. Куда это Соломин делся?

Дверь тихонько скрипнула - и Татьяна вошла в комнату .

- Что вам? - спросила Марианна почти с досадой.

- Марианна Викентьевна, - начала Татьяна вполголоса. - Вот что. Вы не огорчайтесь; потому дело житейское; и еще, слава богу...

- Я нисколько не огорчаюсь, Татьяна Осиповна, - перебила ее Марианна. Алексей Дмитрич не совсем здоров, важность невелика!..

- Ну и чудесно! А то я думаю: не идет моя Марианна Викентьевна; думаю: что с ней? Но я все-таки не пошла бы к вам, потому в этом разе первое правило: не трожь, не ворошь! Только тут явился к нам на фабрику какой-то - кто его знает? Маленький такой да хроменький: вынь да положь ему Алексея Дмитрича! И что за чудеса: сегодня утром эта женка его спрашивала... а теперь вот этот хромой. А коли, говорит, Алексея Дмитрича нет, - подавай ему Василья Федотыча! Не пойду без того, говорит; потому, говорит, дело оченно важное. Мы его гнать, как ту женку. Василия-то Федотыча, точно, нет... отлучился; а тот-то, хромой: - Не пойду, говорит, буду ждать хотя до ночи... Так по двору и ходит. Вот подите сюда, в коридорчик; увидеть его из окошка можете... Не узнаете ли, что за кавалер такой.

Марианна последовала за Татьяной - ей пришлось пройти мимо Нежданова, и она опять заметила болезненно нахмуренный лоб и опять провела по нем платком. Сквозь пыльное стекло окошка она

увидела посетителя, о котором говорила Татьяна. Он был ей незнаком. Но в ту же минуту из-за угла дома показался Соломин. Маленький хромой человечек быстро подошел к нему, протянул ему руку. Соломин взял ее. Он, очевидно, знал этого человека. Оба скрылись...

Но вот уже слышатся их шаги по лестнице... Они идут сюда...

Марианна проворно вернулась в свою комнату - и остановилась посередине, с трудом переводя дыхание. Ей было страшно... чего? Она сама не знала.

Голова Соломина показалась в дверях.

- Марианна Викентьевна, позвольте войти к вам. Я привел человека, которого вам непременно нужно видеть. Марианна только головой кивнула в ответ, и вслед за Соломиным явился - Паклин.

XXXIII

- Я друг вашего супруга, - промолвил он, низко склоняясь перед Марианной и как бы стараясь скрыть от нее свое перетревоженное, перепуганное лицо; я также друг Василия Федотыча. Алексей Дмитрич спит - он, я слышу, нездоров; а я, к сожаленью, привез дурные вести, которые я уже успел частью сообщить Василию Федотычу и вследствие которых нужно принять некоторые решительные меры.

Голос Паклина беспрестанно обрывался, как у человека, которого сушит и мучит жажда. Вести, которые он привез, были действительно очень дурны. Маркелова схватили крестьяне и препроводили в город. Дурковатый приказчик выдал Голушкина: его арестовали. Он в свою очередь все и всех выдает, желает перейти в православие, жертвует в гимназию портрет митрополита Филарета и препроводил уже пять тысяч рублей для раздачи "увечным воинам". Нет никакого сомнения, что он выдал Нежданова; полиция может ежеминутно нагрянуть на фабрику. Василию Федотычу тоже грозит опасность.

- Что касается до меня, - прибавил Паклин, - то я удивляюсь, как я еще расхаживаю на свободе; хотя ведь, собственно, политикой я никогда не занимался и ни в каких планах не участвовал! Я воспользовался забывчивостью или оплошностью полиции, чтобы предуведомить вас и сообразить, какие можно употребить средства... к удалению всяких неприятностей.

Марианна выслушала Паклина до конца. Она не испугалась - она даже осталась спокойною... Но ведь точно! надобно же было что-нибудь предпринять! Первым ее движением было обратить глаза на Соломина.

Он тоже казался спокойным; только вокруг губ чуть-чуть шевелились мускулы - и это была не его обычная улыбка.

Соломин понял значение Марианнина взгляда: она ждала, что он скажет, чтобы так поступить.

- Дело действительно довольно щекотливое, - начал он, - Нежданову, я полагаю, не худо на время скрыться. Кстати, каким манером узнали вы, что он здесь, господин Паклин?

Паклин махнул рукою.

- Один индивидуй сказал. Видел его, когда он расхаживал по окрестностям и проповедовал. Ну и выследил его, хоть и не с дурной целью. Он из сочувствующих. Извините, - прибавил он, обратившись к Марианне, - но, право же, друг наш Нежданов был очень... очень неосторожен.

- Упрекать его теперь не к чему, - заговорил опять Соломин. - Жаль, что с ним посоветоваться нельзя; но до завтра болезнь его пройдет, а полиция не так быстра, как вы предполагаете. Ведь и вам, Марианна Викентьевна, придется с ним удалиться.

- Непременно, - глухо, но твердо отвечала Марианна.

- Да! - сказал Соломин. - Надо будет подумать; надо будет поискать: где и как?

- Позвольте изложить вам одну мысль, - начал Паклин, - мысль эта пришла мне в голову, когда я сюда ехал. Спешу заметить, что извозчика из города я отпустил за версту отсюда.

- Какая эта мысль? - спросил Соломин.

- Вот что. Дайте мне сейчас лошадей... и я поскачу к Сипягиным.

- К Сипягиным! - повторила Марианна. - Зачем?

- А вот увидите.

- Да разве вы их знаете?

- Ни малейше! Но послушайте. Обсудите мою мысль хорошенько. Она мне кажется просто гениальной. Ведь Маркелов - зять Сипягина, брат его жены. Не так ли? Неужели же этот барин ничего не сделает, чтобы спасти его? И к тому же - сам Нежданов! Положим, что господин Сипягин сердит на него... Но ведь все же Нежданов стал его родственником, женившись на вас. И опасность, которая висит над головою нашего друга...

- Я не замужем, - заметила Марианна.

Паклин даже вздрогнул.

- Как?! Не успели в течение всего этого времени! Ну, ничего, - прибавил он, - соврать можно. Все равно: вы теперь вступите же в брак. Право, другого ничего не придумаешь! Обратите внимание на то, что до сих пор Сипягин не решился вас преследовать. Следовательно, в нем есть некоторое... великодушие.

Я вижу, вам это выражение не нравится - скажем: некоторая чванливость. Отчего же нам ею не воспользоваться и в данном случае? Посудите!

Марианна подняла голову и провела рукой по волосам.

- Вы можете пользоваться чем вам угодно для Маркелова, господин Паклин... или для вас самих; но мы с Алексеем не желаем ни заступничества, ни покровительства господина Сипягина. Мы покинули его дом не для того, чтобы стучаться в его дверь просителями. Ни до великодушия, ни до чванливости господина Сипягина или его жены нам нет никакого дела!

- Это чувства весьма похвальные, - отвечал Паклин (а сам подумал: "Вишь ты! как водой меня окатила!"), - хотя, с другой стороны, если сообразить... Впрочем, я готов повиноваться. Буду хлопотать о Маркелове, об одном нашем добром Маркелове! Замечу только, что он ему родственник не по крови, а по жене - между тем как вы.

- Господин Паклин, прошу вас!

- Слушаю... слушаю! Только не могу не выразить своего сожаления, потому что Сипягин человек очень сильный.

- А за себя вы не боитесь? - спросил Соломин.

Паклин выставил грудь.

- В подобные минуты о себе не следует думать! - промолвил он гордо. А между тем он именно думал о себе. Он хотел (бедненький, слабенький!) забежать, как говорится, зайцем. В силу оказанной услуги Сипягин мог, если бы предстала в том нужда, замолвить о нем слово. Ведь и он, - как там ни толкуй! - был замешан, - слышал ... и даже сам болтал!

- Я нахожу, что ваша мысль недурна, - промолвил наконец Соломин, - хоть, собственно, на успех надеюсь мало. Во всяком случае, попытаться можно. Испортить - вы ничего не испортите.

- Конечно, ничего. Ну, положим самое худшее: прогонят меня взашей... Что за беда!

- Беды в том, точно, нет никакой... ("Merci", - подумал Паклин, а Соломин продолжал.) Который-то час? Пятый. Времени терять нечего. Лошади вам сейчас будут. Павел!

Но на место Павла на пороге комнаты показался Нежданов. Он пошатывался на ногах, придерживаясь одной рукой за притолку, и, бессильно раскрыв губы, глядел помутившимся взором. Он ничего не понимал.

Паклин первый подошел к нему.

- Алеша! - воскликнул он, - ведь ты меня признаешь?

Нежданов посмотрел на него, медленно мигая.

- Паклин? - проговорил он наконец.

- Да, да; это я. Ты нездоров?

- Да... Я нездоров. Но... зачем ты здесь?

- Зачем я... - Но в эту минуту Марианна тихонько тронула Паклина за локоть. Он оглянулся и увидел, что она ему делает знаки... - Ах, да! пробормотал он. - Да... точно! Вот видишь ли, Алеша, - прибавил он громко, - я приехал сюда по одному важному делу - и сейчас отправляюсь дальше...

Тебе Соломин все расскажет, а также Марианна. Марианна Викентьевна. Они оба вполне одобряют мое намерение.

Дело идет обо всех нас, то есть нет, нет, - подхватил он в ответ на взгляд и движение Марианны ... - Дело идет о Маркелове; о нашем общем приятеле Маркелове - о нем одном. Но теперь прощай! Минута каждая дорога, прощай, друг... Мы еще увидимся. Василий Федотыч, угодно вам пойти со мною распорядиться насчет лошадей?

- Извольте. Марианна, я хотел было сказать вам: будьте тверды! - да это не нужно. Вы - настоящая!

- О да! О да! - поддакнул Паклин. - Вы римлянка времен Катона! Утического Катона! Однако пойдемте, Василий Федотыч, пойдемте!

- Успеете, - с ленивой усмешкой промолвил Соломин.

Нежданов посторонился немного, чтобы пропустить их обоих... но в глазах его было все то же непонимание. Потом он шагнул раза два - и тихо сел на стул, лицом к Марианне.

- Алексей, - сказала она ему, - все открылось; Маркелова схватили крестьяне, которых он пытался поднять; он сидит арестованным в городе, так же как и тот купец, с которым ты обедал; вероятно, и за нами скоро приедет полиция. А Паклин отправился к Сипягину.

- Зачем? - прошептал едва слышно Нежданов. Но глаза его просветлели - лицо приняло обычное выражение. Хмель мгновенно соскочил с него.

- А затем, чтобы попытаться, не заступится ли он...

Нежданов выпрямился...

- За нас?

- Нет; за Маркелова. Он хотел было просить и за нас... да я не позволила. Хорошо я сделала, Алексей?

- Хорошо ли? - промолвил Нежданов и, не поднимаясь со стула, протянул к ней руки. - Хорошо ли? - повторил он и, приблизив ее к себе и прижавшись лицом к ее стану, внезапно залился слезами.

- Что с тобой? Что с тобой? - воскликнула Марианна. - Как в тот

раз, когда он пал перед ней на колени, замирая и задыхаясь от внезапно нахлынувшей страсти, она и теперь положила обе свои руки на его трепетавшую голову. Но что она теперь чувствовала - было уже совсем не то, что тогда. Тогда она отдавалась ему - она покорялась - и только ждала, что он ей скажет. Теперь она жалела его - и только думала о том, как бы его успокоить.

- Что с тобой? - повторила она. - Зачем ты плачешь? Неужели оттого, что пришел домой в немного... странном виде? Быть не может! Или тебе жаль Маркелова - и страшно за меня, за себя? Или наших надежд тебе жаль? Не ожидал же ты, что все пойдет как по маслу!

Нежданов вдруг приподнял голову.

- Нет, Марианна, - проговорил он, как бы оборвав свои рыдания, - не страшно мне ни за тебя, ни за себя... А точно... мне жаль...

- Кого?

- Тебя, Марианна! Мне жаль, что ты соединила свою судьбу с человеком, который этого не стоит.

- Почему так?

- А хоть бы потому, что этот человек в такую минуту может плакать!

- Это не ты плачешь; плачут твои нервы.

- Мои нервы и я - все едино! Ну послушай, Марианна, посмотри мне в глаза: неужели ты можешь мне теперь сказать, что не раскаиваешься...

- В чем?

- В том, что ты ушла со мною?

- Нет!

- И ты пойдешь со мною дальше? Всюду?

- Да!

- Да? Марианна... да?

- Да. Я дала тебе руку, и пока ты будешь тем, кого я полюбила, - я ее не отниму.

Нежданов продолжал сидеть на стуле; Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана, ее руки опирались об его плечи. "Да; нет, - думал Нежданов, - а между тем, бывало, прежде, когда мне случалось держать ее в своих объятиях - вот так, как теперь, - ее тело оставалось, по крайней мере, неподвижным; а теперь я чувствую: оно тихо и, быть может, против ее воли бежит от меня прочь!"

Он разжал свои руки... И точно: Марианна чуть заметно отодвинулась назад.

- Вот что! - промолвил он громко. - Ведь если мы должны бежать...

прежде чем полиция нас накрыла... я думаю, не худо бы нам сперва обвенчаться. В другом месте, пожалуй, такого податливого попа Зосиму не найдешь!

- Я готова, - промолвила Марианна.

Нежданов внимательно посмотрел на нее.

- Римлянка! - проговорил он с нехорошей полуулыбкой. - Чувство долга!

Марианна пожала плечом.

- Надо будет сказать Соломину.

- Да... Соломину... - протянул Нежданов. - Но ведь и ему, чай, угрожает опасность. Полиция и его возьмет. Мне кажется, он участвовал и знал еще больше моего.

- Это мне неизвестно, - отвечала Марианна. - Он никогда не говорит о самом себе.

"Не то, что я! - подумал Нежданов. - Вот что она хотела сказать". Соломин... Соломин! - прибавил он после долгого молчания. - Вот, Марианна, я бы не жалел тебя, если б человек, с которым ты связала навсегда свою жизнь, был такой же, как Соломин... или был сам Соломин.

Марианна в свою очередь внимательно посмотрела на Нежданова.

- Ты не имел права это сказать, - промолвила она наконец.

- Не имел права! В каком смысле мне понять эти слова? В том ли, что ты меня любишь, или в том, что я не должен был вообще касаться этого вопроса?

- Ты не имел права, - повторила Марианна.

Нежданов понурил голову.

- Марианна! - произнес он несколько изменившимся голосом.

- Что?

- Если б я теперь... если б я сделал тебе тот вопрос, ты знаешь!.. Нет, я ничего у тебя не спрошу... прощай

Он встал и вышел; Марианна его не удерживала. Нежданов сел на диван и закрыл лицо руками. Он пугался своих собственных мыслей и старался не размышлять. Он чувствовал одно: какая-то тесная, подземная рука ухватилась за самый корень его существования - и уже не выпустит его. Он знал, что то хорошее, дорогое существо, которое осталось в соседней комнате, к нему не выйдет; а войти к нему он не посмеет. Да и к чему? Что сказать?

Быстрые, твердые шаги заставили его раскрыть глаза. Соломин переходил через его комнату и, постучавшись в дверь Марианны, вошел к ней.

- Честь и место! - шепнул горьким шепотом Нежданов.

XXXIV

Было уже десять часов вечера, и в гостиной села Аржаного Сипягин, его жена и Калломейцев играли в карты, когда вошедший лакей доложил о приезде какого-то незнакомца, г. Паклина, который желал видеть Бориса Андреича по самонужнейшему и важнейшему делу.

- Так поздно! - удивилась Валентина Михайловна.

- Как? - спросил Борис Андреич и наморщил свой красивый нос. - Как ты сказал фамилию этого господина?

- Они сказали: Паклин-с.

- Паклин!- воскликнул Калломейцев. - Прямо деревенское имя. - Паклин... Соломин... De vrais noms ruraix, hein?

- И ты говоришь, - продолжал Борис Андреич, обращаясь к лакею все с тем же наморщенным носом, - что дело его важное, нужное?

- Они говорят-с.

- Гм... Какой-нибудь нищий или интриган. ("Или то и другое вместе", ввернул Калломейцев.) Очень может быть. Попроси его в кабинет. - Борис Андреич встал. - Pardon, ma bonne. Сыграйте пока в экарте. Или подождите меня... я скоро вернусь.

- Nous causerons...allez! - промолвил Калломейцев. Когда Сипягин вошел к себе в кабинет и увидал мизерную, тщедушную фигурку Паклина, смиренно прижавшуюся в простенок между камином и дверью, им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду. "Господи! Какая несчастная пигалица! - подумал он, - да еще, кажется, хромает!"

- Садитесь, - промолвил он громко, пуская в ход свои благосклоннейшие баритонные ноты, приятно подергивая назад закинутой головкой и садясь прежде гостя. - Вы, я полагаю, устали с дороги; садитесь и объяснитесь: какое такое важное дело привело вас ко мне столь поздно?

- Я, ваше превосходительство, - начал Паклин, осторожно опускаясь на кресло, - позволил себе явиться к вам...

- Погодите, погодите, - перебил его Сипягин. - Я вас вижу не в первый раз. Я никогда не забываю ни одного лица, с которым мне случилось встретиться; я помню все. А... а... а... Собственно... где я вас встретил?

- Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь. Я имел честь встретиться с вами в Петербурге, у одного человека, который...

который с тех пор... к сожалению... возбудил ваше негодование...

Сипягин быстро поднялся с кресла.

- У господина Нежданова! Я вспоминаю теперь. Уж не от него ли вы приехали?

- Никак нет, ваше превосходительство; напротив...я...

Сипягин снова сел.

- И хорошо сделали. Потому что я в таком случае попросил бы вас немедленно удалиться. Никакого посредника между мною и господином Неждановым я допустить не могу. Господин Нежданов нанес мне одно из тех оскорблений, которые не забываются... Я выше мести; но ни о нем я не хочу ничего знать, ни о той девице - впрочем, более развращенной умом, нежели сердцем (эту фразу Сипягин повторял чуть не в тридцатый раз после бегства Марианны), - которая решилась покинуть кров дома, ее приютившего, чтобы сделаться любовницей безродного проходимца! Довольно с них того, что я их забываю! При этом последнем слове Сипягин двинул кистью руки прочь от себя, снизу вверх.

- Ваше превосходительство, я уже доложил вам, что я явился сюда не от их имени; хотя все-таки могу, между прочим, сообщить вашему превосходительству, что они уже сочетались узами законного брака... ("А! все равно! - подумал Паклин, - я сказал, что совру... вот и соврал. Куда ни шло!")

Сипягин поерзал затылком по спинке кресла вправо и влево.

- Это меня нисколько не интересует, милостивый государь. Одним глупым браком на свете больше - вот и все. Но какое же то самонужнейшее дело, которому я обязан удовольствием вашего посещения? "А! проклятый директор департамента! - снова подумал Паклин. - Будет тебе ломаться, английская морда!"

- Брат вашей супруги, - промолвил он громко, - господин Маркелов схвачен мужиками, которых вздумал возмущать, - и сидит взаперти в губернаторском доме.

Сипягин вскочил во второй раз.

Что... что вы сказали? - залепетал он уж вовсе не министерским баритоном, а так, какою-то гортанной дрянью.

- Я сказал, что ваш зять схвачен и сидит на цепи. Я, как только узнал об этом, взял лошадей и приехал вас предуведомить. Я полагал, что могу оказать этим некоторую услугу и вам и тому несчастному, которого вы можете спасти!

- Очень вам благодарен, - проговорил все тем же слабым голосом Сипягин и, с размаху ударив ладонью по колокольчику в виде гриба,

наполнил весь дом металлическим звоном стального тембра. - Очень вам благодарен, - повторил он уже более резко, - но знайте: человек, решившийся попрать все законы божеские и человеческие, будь он сто раз мне родственник, в моих глазах не есть несчастный: он - преступник!

Лакей вскочил в кабинет.

- Изволите приказать?

- Карету! Сию минуту карету четверней! Я еду в город. Филипп и Степан со мною! - Лакей выскочил. - Да, сударь, мой зять есть преступник; и в город еду я не затем, чтобы его спасать! - О нет!

- Но, ваше превосходительство...

- Таковы мои правила, милостивый государь; и прошу меня возражениями не утруждать!

Сипягин принялся ходить взад и вперед по кабинету, а Паклин даже глаза вытаращил. "Фу ты, черт! - думал он, - да ведь про тебя говорили, что ты либерал?! А ты лев рыкающий!"

Дверь распахнулась - и проворными шагами вошли: сперва Валентина Михайловна, а за нею Калломейцев.

- Что это значит, Борис? Ты велел карету заложить? Ты едешь в город? Что случилось?

Сипягин приблизился к жене - и взял ее за правую руку, между локтем и кистью.

- Il faut vous armer de courage, ma chere. Вашего брата арестовали.

- Моего брата? Сережу? за что?

- Он проповедовал мужикам социалистические теории! (Калломейцев слабо взвизгнул.) Да! Он проповедовал им революцию, он пропагандировал! Они его схватили - и выдали. Теперь он сидит... в городе.

- Безумец! Но кто это сказал?..

- Вот господин... господин... как бишь его?.. Господин Конопатин привез эту весть.

Валентина Михайловна взглянула на Паклина. Тот уныло поклонился. ("А баба какая знатная!" - подумалось ему. Даже в подобные трудные минуты... ах, как был доступен Паклин влиянию женской красоты!)

- И ты хочешь ехать в город - так поздно?

- Я еще застану губернатора на ногах.

- Я всегда предсказывал, что это так должно было кончиться, - вмешался Калломейцев. - Это не могло быть иначе! Но какие славные русские наши мужички! Чудо! Pardon, madame, c' est votre frere! Mais la

verite avant tout!

- Неужели ты в самом деле хочешь ехать, Боря? - спросила Валентина Михайловна.

- Я убежден также, - продолжал Калломейцев, - что и тот, тот учитель, господин Нежданов, тут же замешан. J'en mettrais ma main au feu. Это все одна шайка! Его не схватили? Вы не знаете?

Сипягин опять двинул кистью руки.

- Не знаю - и не желаю знать! Кстати, - прибавил он, обращаясь к жене, il parait, qu'ils sont maries.

- Кто это сказал? Тот же господин? - Валентина Михайловна опять посмотрела на Паклина, но прищурилась на этот раз.

- Да; тот же.

- В таком случае, - подхватил Калломейцев, - он непременно знает, где они. Вы знаете, где они? Знаете, где они? А? А? А? Знаете? - Калломейцев начал шмыгать перед Паклиным, как бы желая преградить ему дорогу, хотя тот и не изъявлял никакого поползновения бежать. - Да говорите же! Отвечайте! А? А? Знаете? Знаете?

- Хоть бы знал-с, - промолвил с досадой Паклин, - в нем желчь наконец шевельнулась и глазки его заблистали, - хоть бы знал-с, вам бы не сказал-с.

- О... о... о... - пробормотал Калломейцев. - Слышите ... Слышите! Да этот тоже - этот тоже, должно быть, из их банды!

- Карета готова! - гаркнул вошедший лакей.

Сипягин схватил свою шляпу красивым, бойким жестом; но Валентина Михайловна так настойчиво стала его упрашивать остаться до завтрашнего утра; она представила ему такие убедительные доводы: и ночь-то на дворе, и в городе все будут спать, и он только расстроит свои нервы и простудиться может, - что Сипягин, наконец, согласился с нею; воскликнул:

- Повинуюсь! - и таким же красивым, но уже не бойким жестом поставил шляпу на стол.

- Карету отложить! - скомандовал он лакею, - но завтра ровно в шесть часов утра чтобы она была готова! Слышишь? Ступай! Стой! Экипаж господина... господина гостя отослать! Извозчику заплатить! А? Вы, кажется, что-то говорите, господин Конопатин? Я возьму вас завтра с собою, господии Конопатин! Что вы говорите? Я не слышу ... Вы ведь пьете водку? Подай водки господину Конопатину! Нет? Не пьете? В таком случае... Федор! отведи их в зеленую комнату! Спокойной ночи, господин Коно...

Паклин вышел, наконец, из терпения.

- Паклин! - завопил он. - Моя фамилия: Паклин!

- Да... да; ну, да это все равно. Похоже, знаете. Какой у вас, однако, громкий голос при вашей сухощавой комплекции! До завтра, господин... Паклин... Так я теперь сказал? Simeon, vous viendrez avec nous?

- Je crois bien!

И Паклина отвели в зеленую комнату. И даже заперли его. Ложась спать, он слышал, как щелкнул ключ в звонком английском замке. Сильно он себя выбранил за свою "гениальную" мысль - и спал очень дурно.

На другое утро рано, в половине шестого, его пришли разбудить. Подали ему кофе; пока он пил - лакей, с пестрым аксельбантом на плече, ждал, держа поднос на руках и переминаясь ногами: "Поспешай, мол, - господа дожидаются". Потом его повели вниз. Карета уже стояла перед домом. Тут же стояла и коляска Калломейцева. Сипягин появился на крыльце, в камлотовой шинели с круглым воротником. Таких шинелей никто уже давно не носил, за исключением одного очень сановного лица, которому Сипягин старался прислуживать и подражать. В важных, официальных случаях он потому и надевал подобную шинель.

Сипягин довольно приветливо раскланялся с Паклиным - и, энергическим движением руки указав ему на карету, попросил его сесть в нее. - Господин Паклин, вы едете со мною, господин Паклин! Положите на козла саквояж господина Паклина! Я везу господина Паклина, - говорил он, напирая на слово: Паклин! - и на букву а! "Ты, мол, имеешь такое прозвище, да еще обижаешься, когда тебе его иначат? - Так вот же тебе! Кушай! Подавись!" Господин Паклин! Паклин! Звучно раздавалось злосчастное имя в свежем утреннем воздухе. Он был так свеж, что заставил вышедшего за Сипягиным Калломейцева несколько раз произнести по-французски: Brrr! brrr! brrr! - и плотнее завернуться в шинель, садясь в свою щегольскую коляску с откинутым верхом. (Бедный его друг, князь Михаил Сербский Обренович, увидев ее, купил себе точно такую же у Бендера... "Vous savez, Binder, le grand carrossier des Champs Elysees?"). Из-за полураскрытых ставен окна в спальне выглядывала, "в чепце, в ночном платочке", Валентина Михайловна.

Сипягин сел, сделал ей ручкой.

- Вам ловко, господин Паклин? Трогай!

- Je vous recommande mon frere! epargnez-le - послышался голос

Валентины Михайловны.

- Soyez tranquille! - воскликнул Калломейцев, бойко взглянув на нее из-под околыша какой-то им самим сочиненной дорожной фуражки с кокардой... - C'est surtout l'autre qu'il faut pincer!

- Трогай! - повторил Сипягин. - Господин Паклин,

вам не холодно? Трогай!

Экипажи покатились.

Первые десять минут и Сипягин и Паклин безмолвствовали. Злополучный Силушка, в своем неказистом пальтишке и помятой фуражке, казался еще мизернее на темно-синем фоне богатой шелковой материи, которою была обита внутренность кареты. Он молча оглядывал и тонкие голубые шторы, быстро взвивавшиеся от одного прикосновения пальца к пружине, и полость из нежнейшей белой бараньей шерсти в ногах, и вделанный спереди ящик красного дерева с выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой для книг (Борис Андреич не то что любил, а желал, чтобы другие думали, что он любит работать в карете, подобно Тьеру, во время путешествия). Паклин чувствовал робость. Сипягин раза два взглянул на него через выбритую до лоска щеку и, - с медлительной важностью вынув из бокового кармана серебряную сигарочницу с кудрявым вензелем славянской вязью, предложил ... действительно предложил ему сигару, едва держа ее между вторым и третьим пальцем руки, облеченной в желтую английскую перчатку из собачьей кожи.

- Я не курю, - пробормотал Паклин.

- А! - отвечал Сипягин и сам закурил сигару, которая оказалась превосходнейшей регалией.

- Я должен вам сказать... любезный господин Паклин, - начал он, вежливо попыхивая и испуская тонкие круглые струйки благовонного дыма... - что я... в сущности ... очень вам... благодарен... Я мог показаться... вам вчера... несколько резким... что не в моем... характере (Сипягин с намерением неправильно рассекал свою речь).

Смею вас в этом уверить. Но, господин Паклин! войдите же и вы в мое... положение (Сипягин перекатил сигару из одного угла рта в другой). Место, которое я занимаю, ставит меня... так сказать... на виду; и вдруг... брат моей жены... компрометирует и себя... и меня таким невероятным образом! А? Господин Паклин! Вы, может быть, думаете: это - ничего?

- Я этого не думаю, ваше превосходительство.

- Вы не знаете, за что собственно... и где именно его арестовали?

- Слышал я, что в Т...м уезде.

- От кого вы это слышали?

- От... от одного человека.

- Конечно, не от птицы. Но от какого человека?

- От... от одного помощника правителя дел канцелярии губернатора...

- Как его зовут?

- Правителя?

- Нет, помощника!

- Его... его зовут Ульяшевичем. Он очень хороший чиновник, ваше превосходительство. Узнав об этом происшествии, я тотчас поспешил к вам.

- Ну да, ну да! И я повторяю, что весьма вам благодарен. Но какое безумие! Ведь это безумие? а? Господин Паклин, а?

- Совершенное безумие! - воскликнул Паклин - а у самого по спине теплой змейкой заструился пот. - Это значит, - продолжал он, - не понимать вовсе русского мужика. У господина Маркелова, сколько я его знаю, сердце очень доброе и благородное; но русского мужика он никогда не понимал (Паклин глянул на Сипягина, который слегка повернувшись к нему, обдавал его холодным, но не враждебным взором). - Русского мужика даже в бунт можно вовлечь не иначе, как пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду. Должно выдумать какую-нибудь легенду - вспомните Лжедимитрия, - показать какие-нибудь царские знаки на груди, выжженные раскаленными пятаками.

- Да, да, как Пугачев, - перебил Сипягин таким тоном, как будто хотел сказать: "Мы историю еще не забыли... не расписывай!" - и прибавив: - Это безумие! Это безумие! - погрузился в созерцание быстрой струйки дыма, поднимавшейся с конца сигары.

- Ваше превосходительство! - заметил осмелившийся Паклин, - я сейчас сказал вам, что я не курю... но это неправда - я курю; и сигара ваша так восхитительно пахнет.

- А? Что? что такое? - проговорил Сипягин, как бы просыпаясь; и, не давши Паклину повторить сказанное, чем самым, несомненно, доказал, что очень хорошо слышал его слова, но сделал учащенные вопросы единственно для важности, подал ему раскрытую сигарочницу. Паклин осторожно и благодарно закурил. "Вот, кажется, удобная минута", - подумал он; но Сипягин его предупредил.

- Вы, помнится, говорили мне также, - произнес он небрежным голосом, перерывая самого себя, рассматривая свою сигару, передвигая шляпу с затылка на лоб, - вы говорили ... а? вы говорили о

том... о том вашем приятеле, который женился на моей... родственнице. Вы их видаете? Они недалеко поселились отсюда? ("Эге! - подумал Паклин, - Сила, берегись!")

- Я их видел всего раз, ваше превосходительство! Они живут действительно... - не в слишком далеком расстоянии отсюда.

- Вы, конечно, понимаете, - продолжал тем же манером Сипягин, - что я не могу более серьезно интересоваться, как я уже объяснил вам, ни той легкомысленной девицей, ни вашим приятелем. Боже мой! предрассудков у меня нет, но ведь согласитесь: это уже из рук вон. Глупо, знаете. Впрочем, я полагаю, их соединила более политика ... (политика!! - повторил он и пожал плечами) - чем какое-либо иное чувство.

- И я так полагаю, ваше превосходительство!

- Да, господин Нежданов был совсем красный. Отдаю ему справедливость: он своих мнений не скрывал.

- Нежданов, - рискнул Паклин, - быть может, увлекался; но сердце в нем...

- Доброе, - подхватил Сипягин, - конечно... конечно, как у Маркелова. У всех у них сердца добрые. Вероятно, и он участвовал; и будет тоже завлечен... Придется еще заступаться за него!

Паклин сложил руки перед грудью.

- Ах, да, да, ваше превосходительство! Окажите ему ваше покровительство! Право... он стоит... стоит вашего участия.

Сипягин хмыкнул.

- Вы полагаете?

- Наконец, если не для него... то для вашей племянницы; для его супруги! ("Боже мой! Боже мой! - думал Паклин, - что это я вру!")

Сипягин прищурился.

- Вы, я вижу, очень преданный друг. Это хорошо; это похвально, молодой человек. Итак, вы говорите, они живут здесь близко?

- Да, ваше превосходительство; в одном большом заведении ... - Тут Паклин прикусил себе язык.

- Те, те, те, те... у Соломина! Вот где! Впрочем, я это знал; мне это сказывали; мне говорили... Да. (Г-н Сипягин нисколько этого не знал и никто об этом ему не говорил; но, вспомнив посещение Соломина, ночные их свидания, он запустил эту удочку... И Паклин разом пошел на нее.)

- Коли вы это знаете... - начал он и вторично прикусил язык. Но уже было поздно... По одному взгляду, брошенному на него Сипягиным, он понял, что тот все время играл с ним, как кошка с

мышью.

- Впрочем, ваше превосходительство, - залепетал было несчастный, - я должен сказать, что, собственно, ничего не знаю...

- Да я вас не расспрашиваю, помилуйте! Что вы?! За кого вы меня и себя принимаете? - надменно промолвил Сипягин и немедленно ушел в свою министерскую высь.

А Паклин снова почувствовал себя мизерным, маленьким, пойманным... До того мгновения он, куря, клал свою сигару в угол рта, не обращенный к Сипягину, и пускал дым тихонько, в сторону; тут он совсем ее вынул изо рта и совсем перестал курить

"Боже мой! - внутренно простонал он, а горячий пот обильнее прежнего заструился по его членам. - Что это я сделал! Я выдал все и всех... Меня одурачили, меня подкупили хорошей сигарой!!. Я доносчик... и как теперь помочь беде.

Помочь беде было невозможно. Сипягин начал засыпать достойно, важно, тоже как министр, завернувшись в свою "степенную" шинель... К тому же и четверти часа не прошло, как оба экипажа остановились перед губернаторским домом.

XXXV

Губернатор города С... принадлежал к числу добродушных, беззаботных, светских генералов - генералов, одаренных удивительно вымытым белым телом и почти такой же чистой душой, генералов породистых, хорошо воспитанных и, так сказать, крупичатых, которые, никогда не готовившись быть "пастырями народов", выказывают, однако, весьма изрядные администраторские способности и, мало работая, постоянно вздыхая о Петербурге и волочась за хорошенькими провинциальными дамами, приносят несомненную пользу губернии и оставляют о себе хорошую память. Он только что поднялся с постели и, сидя в шелковом шлафроке и ночной рубашке нараспашку перед туалетным зеркалом, вытирал себе одеколоном с водою лицо и шею, с которой предварительно снял целую коллекцию образков и ладанок, - когда ему доложили о приезде Сипягина и Калломейцева по важному и спешному делу.

С Сипягиным он был очень короток, на "ты", знал его с молодых лет, беспрестанно встречался с ним в петербургских гостиных - и в последнее время начал мысленно прибавлять к его имени - всякий раз, когда оно приходило ему в голову, - почтительное: "А!" - как к имени будущего сановника. Калломейцева он знал несколько меньше и уважал гораздо меньше, так как на него стали с некоторых пор поступать "нехорошие" жалобы; однако считал его за человека, qui fera

son chemin - так или иначе.

Он велел попросить посетителей пожаловать к нему в кабинет и немедленно вышел к ним в том же шелковом шлафроке, не извиняясь даже, что принимает их в таком неофициальном убранстве, и дружелюбно потрясая им руки. Впрочем, в кабинет губернатора вошли только Сипягин и Калломейцев; Паклин остался в гостиной. Вылезая из кареты, он хотел было ускользнуть, пробормотав, что у него дома дела; но Сипягин с вежливой твердостью удержал его (Калломейцев подскочил и шепнул Сипягину на ухо: Ne le lachez pas! Tonnerre de tonnerres!) и повел его с собою. В кабинет, однако, он его не ввел и попросил - все с тою же вежливою твердостью - подождать в гостиной, пока его позовут. Паклин и тут надеялся улизнуть ... но в дверях появился дюжий жандарм, предупрежденный Калломейцевым... Паклин остался.

- Ты, наверное, догадываешься, что меня привело к тебе, Voldemar? - начал Сипягин.

- Нет, душа, не догадываюсь, - отвечал милый эпикуреец, между тем как приветливая улыбка округляла его розовые щеки и выставляла его блестящие зубы, полузакрытые шелковистыми усами.

- Как?.. Но ведь Маркелов?

- Что такое Маркелов? - повторил с тем же видом губернатор. Он, во-первых, не совсем ясно помнил, что вчерашнего арестованного звали Маркеловым; а во-вторых, он совершенно позабыл, что у жены Сипягина был брат, носивший эту фамилию. - Да что ты стоишь, Борис, сядь; не хочешь ли чаю?

Но Сипягипу было не до чаю.

Когда он растолковал наконец, в чем было дело и по какой причине они явились оба с Калломейцевым, губернатор издал огорченное восклицание, ударил сеня по лбу, и лицо его приняло выражение печальное.

- Да... да... да! - повторял он, - какое несчастье! И он у меня тут сидит - сегодня, пока; ты знаешь, мы таких никогда больше одной ночи у себя не держим; да жандармского начальника нет в городе: твой зять и застрял... Но завтра его препроводят. Боже мой, как это неприятно! Как твоя жена должна быть огорчена!! Чего же ты хочешь?

- Я бы хотел свидеться с ним у тебя здесь, если это не противно закону.

- Помилуй, душа моя! Для таких людей, как ты, закон не писан. Я так тебе сочувствую... C'est affreux tu sais!

Он позвонил особенным манером. Явился адъютант.

- Любезный барон, пожалуйста, там - распорядитесь. - Он сказал ему, как и что делать. Барон исчез. - Представь, mon cher ami: ведь его чуть не убили мужики. Руки назад, в телегу - и марш! И он - представь! - нисколько на них не сердится и не негодует, ей-ей! И вообще такой спокойный... Я удивился! да вот ты увидишь сам. C'est un fanatique tranquille.

- Ce sont les pires, - сентенциозно произнес Калломейцев.

Губернатор посмотрел на него исподлобья.

- Кстати, мне нужно переговорить с вами, Семен Петрович.

- А что?

- Да так; нехорошо.

- А отменно?

- Да знаете, ваш должник-то, мужик этот, что ко мне жаловаться приходил...

- Ведь он повесился.

- Когда?

- Это все равно когда; а только нехорошо.

Калломейцев пожал плечами и отошел, щегольски покачиваясь, к окну. В это мгновенье адъютант ввел Маркелова.

Губернатор сказал о нем правду: он был неестественно спокоен. Даже обычная угрюмость сошла с его лица и заменилась выражением какой-то равнодушной усталости. Оно осталось тем же, когда он увидел своего зятя; и только во взгляде, брошенном им на приведшего его немца адъютанта, мелькнул мгновенный остаток его старинной ненависти к этому сорту людей. Пальто на нем было разорвано в двух местах и наскоро зашито толстыми нитками; на лбу, над бровью и на переносице виднелись небольшие ссадины с засохшей кровью. Он не умылся, но волосы причесал. Глубоко засунув обе кисти рук в рукава, он остановился недалеко от двери. Дышал он ровно.

- Сергей Михайлович! - начал взволнованным голосом Сипягин, подойдя к нему шага на два и протянув настолько правую руку, чтобы она могла тронуть или остановить его, если б он сделал движение вперед, - Сергей Михайлович! я прибыл сюда не для того только, чтобы выразить тебе наше изумление, наше глубокое огорчение; в нем ты не можешь сомневаться! Ты сам хотел погубить себя! И погубил!! Но я желал тебя видеть, чтобы сказать тебе... э... э... чтобы дать... чтобы поставить тебя в возможность услышать голос благоразумия, чести и дружбы!

Ты можешь еще облегчить свою участь: и, поверь, я, с своей стороны, сделаю все, что будет от меня зависеть! Вот и почтенный

начальник здешней губернии тебе это подтвердит. - Тут Сипягин возвысил голос. - Чистосердечное раскаяние в твоих заблуждениях, полное признание, безо всякой утайки, которое будет заявлено где следует...

- Ваше превосходительство, - заговорил вдруг Маркелов, обращаясь к губернатору, и самый звук его голоса был спокоен, хоть и немного хрипл, - я полагал, что вам угодно было меня видеть - и снова допросить меня, что ли... Но если вы призвали меня только по желанию господина Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвести: мы друг друга понять не можем. Все, что он говорит, - для меня та же латынь.

- Позвольте... латынь! - вмешался Калломейцев заносчиво и пискливо, - а это латынь: бунтовать крестьян? Это - латынь? А? Латынь это?

- Что это у вас, ваше превосходительство, чиновник по тайной полиции, что ли? такой усердный? - спросил Маркелов - и слабая улыбка удовольствия тронула его бледные губы.

Калломейцев зашипел, затопотал ногами... Но губернатор остановил его.

- Вы сами виноваты, Семен Петрович. Зачем мешаетесь не в ваше дело?

- Не в мое дело... не в мое дело... Кажется, это дело общее... всех нас, дворян...

Маркелов окинул Калломейцева холодным, медленным, как бы последним взором - и повернулся немного к Сипягипу.

- А коли вы, зятек, хотите, чтобы я вам объяснил мои мысли - так вот вам: я признаю, что крестьяне имели право меня арестовать и выдать, коли им не нравилось то, что я им говорил. На то была их воля. Я к ним пришел; не они ко мне. И правительство, - если оно меня сошлет в Сибирь... я роптать не буду хоть и виноватым себя не почту. Оно свое дело делает, потому - защищается. Довольно с вас этого?

Сипягин воздел руки горе.

- Довольно!! Что за слово! Не в том вопрос - и не нам судить, как поступит правительство; а я желаю знать, чувствуете ли вы - чувствуешь ли ты, Сергей (Сипягин решился затронуть сердечные струны), безрассудство, безумие своего предприятия, готов ли ты доказать свое раскаяние на деле, и могу ли я поручиться - до некоторой степени поручитьея - за тебя, Сергей!

Маркелов сдвинул свои густые брови.

- Я сказал... и повторять сказанное не хочу.

- Но раскаяние? раскаяние где?

Маркелова вдруг передернуло.

- Ах, отстаньте с вашим "раскаянием"! Вы хотите мне в душу залезть? Предоставьте это хоть мне самому.

Сипягин пожал плечами.

- Вот - ты всегда так; не хочешь внять голосу рассудка! Тебе предстоит возможность разделаться тихо, благородно ...

- Тихо, благородно... - повторил угрюмо Маркелов. - Знаем мы эти слова! Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова!

- Мы о вас сожалеем, - продолжал усовещивать Маркелова Сипягин, - а вы нас ненавидите.

- Хорошо сожаление! В Сибирь нас, в каторгу,- вот как вы сожалеете о нас! Ах, оставьте... оставьте меня, ради бога!

И Маркелов понурил голову.

На душе у него было очень смутно, как ни тих был его наружный вид. Больше всего его грызло и мучило то, что выдал его - кто же? Голоплецкий Еремей! Тот Еремей, в которого он так слепо верил! Что Менделей Дутик не пошел за ним, это его, в сущности, не удивляло... Менделей был пьян и потому струсил. Но Еремей!! Для Маркелова Еремей был как бы олицетворением русского народа...

И он ему изменил! Стало быть все, о чем хлопотал Маркелов все было не то, не так? И Кисляков врал, и Василий Николаевич приказывал пустяки, и все эти статьи, книги, сочинения социалистов, мыслителей, каждая буква которых являлась ему чем-то несомненным и несокрушимым, все это - пуф? Неужели? И это прекрасное сравнение назревшего вереда, ожидавшего удара ланцета, - тоже фраза? "Нет! нет! - шептал он про себя, и на его бронзовые щеки набегала слабая краска кирпичного цвета, - нет; то все правда, все... а это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться

- пулю ему в лоб! тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет... Убивают же шпионов, как собак, хуже чем собак!"

И представлялись - Маркелову подробности, как его схватили... Сперва молчание, перемигивания, крики в задних рядах... Вот один приближается боком, как бы кланяется. Потом эта внезапная возня! И как его оземь... "Ребята ... ребята... что вы?" А они: "Кушак давай! Вяжи!.." Кости трещат... и бессильная ярость... и вонючая пыль во рту, в ноздрях... "Вали, вали его... на телегу". Кто-то густо хохочет... фай!

- Не так... не так я взялся...

Вот что, собственно, его грызло и мучило; а что он сам попал под колесо, это была его личная беда: она не касалась общего дела, - ее бы можно было перенести... но Еремей ! Еремей!

Между тем как Маркелов стоял с головой, опущенной на грудь, Сипягин отвел губернатора в сторону и начал говорить ему вполголоса, разводя немного руками, выделывая двумя пальцами небольшую трель на своем лбу, как бы желая показать, что тут, дескать, у этого несчастного неладно, и вообще стараясь возбудить если не сочувствие, то снисхождение к безумцу. А губернатор пожимал плечами, то поднимал, то закрывал глаза, сожалел о собственном бессилии - и, однако, что-то обещал..."Tous les egards... certainement, tous les egards... слышались приятно картавые слова, мягко проходившие сквозь раздушенные усы... - Но ты знаешь: закон!" - "Конечно: закон!" - подхватывал Сипягин с какой-то строгой покорностью.

Пока они так разговаривали в уголку, Калломейцев просто не мог утерпеть на месте: двигался взад и вперед, слегка чмокал, кряхтел, являл все признаки нетерпения. Наконец он подошел к Сипягину и поспешно промолвил:

- Vous oubliez l'autre!

- А, да! - промолвил Сипягин громко. - Merci de me l'avoir rappele. Я должен довести следующий факт до сведения вашего превосходительства, обратился он к губернатору ... (Он величал так друга своего Voldemar'a, собственно, для того, чтобы не скомпрометировать престижа власти перед бунтовщиком.) - Я имею основательные причины предполагать, что сумасбродное предприятие моего beau-frere'a имеет некоторые рамификации; и что одна из этих ветвей - то есть одно из заподозренных мною лиц находится в недальнем расстоянии от сего города. Вели ввести, - прибавил он вполголоса, - там у тебя в гостиной есть один... Я его привез.

Губернатор взглянул на Сипягина, подумал с уважением: "Каков!"

- и отдал приказ. Минуту спустя раб божий, Сила Паклин, предстал пред его очи.

Сила Паклин начал с того, что низко поклонился губернатору, но, увидев Маркелова, не докончил поклона и так и остался, наполовину согнутый, переминая шапку в руках. Маркелов бросил на него рассеянный взгляд, но едва ли узнал его, ибо снова погрузился в думу.

- Это - ветвь? - спросил губернатор, указывая на Паклина большим белым пальцем, украшенным бирюзою.

- О нет! - с полусмехом отвечал Сипягин. - А впрочем ! - прибавил он, подумав немного. - Вот, ваше превосходительство, - заговорил он снова громко, - перед вами некто господин Паклин.

Он, сколько мне известно, петербургский житель и близкий приятель некоторого лица, которое состояло у меня в качестве учителя и покинуло мой дом, увлекши за собою, - прибавлю, краснея, - одну молодую девицу, мою родственницу.

- Ah! oui oui, - пробормотал губернатор и покачал сверху вниз головою, - я что-то слышал... Графиня сказывала ...

Сипягин возвысил голос.

- Это лицо есть некто господин Нежданов, сильно мною заподозренный в превратных понятиях и теориях...

- Un rouge a tous crins, - вмешался Калломейцев...

- ...В превратных понятиях и теориях, повторил еще отчетливее Сипягин, - и уж, конечно, не чуждый всей этой пропаганде; он находится... скрывается, как мне сказывал господин Паклин, на фабрике купца Фалеева... При словах: "как мне сказывал" - Маркелов вторично бросил взгляд на Паклина и только усмехнулся, медленно и равнодушно.

- Позвольте, позвольте, ваше превосходительство, - закричал Паклин, - и вы, господин Сипягин, я никогда... никогда...

- Ты говоришь: купца Фадеева? - обратился губернатор к Сипягину, поиграв только пальцами в направлении Паклина: потише, дескать, братец, потише. - Что с ними делается, с нашими почтенными бородачами? Вчера тоже одного схватили по тому же делу. Ты, может, слышал его имя: Голушкин, богач. Ну, этот революции не сделает. Так на коленках и ползает.

- Купец Фалеев тут ни ини чем, - отчеканил Сипягин, - я его мнений не знаю; я говорю только о его фабрике, на которой, по словам господина Паклина, находится в настоящую минуту господин Нежданов.

- Этого я не говорил! - возопил опять Паклин. - Это вы говорили!

- Позвольте, господин Паклин, - все с тою же неумолимой отчетливостью произнес Сипягин. - Я уважаю то чувство дружбы, которое внушает вам вашу "денегацию" ("Экий... Гизо!" - подумал тут про себя губернатор). Но возьму смелость поставить вам себя в пример. Полагаете ли вы, что во мне чувство родственное не столь же сильно, как ваше дружеское? Но есть другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнее и которое должно руководить всеми нашими действиями и поступками: чувство долга!

- Le sentiment du devoir, - пояснил Калломейцев.

Маркелов окинул взором обоих говоривших.

- Господин губернатор, - промолвил ошн, - повторяю мою просьбу: велите, пожалуйста, увести меня прочь от этих болтунов.

Но тут губернатор потерял немножко терпение.

- Господин Маркелов! - воскликнул он, - я советовал бы вам, в вашем положении, более сдержанности в языке и более уважения к старшим... особенно, когда они выражают патриотические чувства, подобные тем, которые вы сейчас слыхали в устах вашего beau-frere'a!

Я счастливым себя почту, любезный Борис, - прибавил губернатор, обратясь к Сипягину, - довести твои благородные поступки до сведения министра. Но у кого же, собственно, находится - этот господин Нежданов на этой фабрике?

Сипягин нахмурился.

- У некоего господина Соломина, тамошнего главного механика, как мне сказывал тот же господин Паклин.

Казалось, Сипягину доставляло особенное удовольствие терзать бедного Силушку: он вымещал на нем теперь и данную ему в карете сигару, и фамильярную вежливость своего обращения с ним, и некоторое даже заигрывание.

- И этот Соломин, - подхватил Калломейцев, - есть несомненный радикал и республиканец - и вашему превосходительству не худо было бы обратить ваше внимание также и на него.

- Вы знаете этих... господ... Соломина... и как бишь! и... Нежданова? немного по-начальнически, в нос, спросил губернатор Маркелова.

Маркелов злорадно раздул ноздри.

- А вы, ваше превосходительство, знаете Конфуция и Тита Ливия?

Губернатор отвернулся.

- Il n'y a pas moyen de causer avec cet homme,- промолвил он, пожимая плечами. - Господин барон, пожалуйте сюда.

Адъютант подскочил к нему; а Паклин, улучив время, приблизился,

ковыляя и спотыкаясь, к Сипягину.

- Что же это вы делаете, - прошептал он, - зачем же вы губите вашу племянницу? Ведь она с ним, с Неждановым!..

- Я никого не гублю, милостивый государь, - отвечал Сипягин громко, - я делаю то, что мне повелевает совесть и...

- И ваша супруга, моя сестра, у которой вы под башмаком, - ввернул столь же громко Маркелов

Сипягин, как говорится, даже не чукнул... Так это было ниже его!

- Послушайте, - продолжал шептать Паклин - все его тело трепетало от волнения и, быть может, от робости, а глаза сверкали злобой и в горле клокотали слезы - слезы сожаления о тех и досады на себя, - послушайте: я сказал вам, что она замужем - это неправда, я вам солгал! Но брак этот должен совершиться, и если вы этому помешаете, если туда явится полиция, на вашей совести будет лежать пятно, которое вы ничем не смоете, - и вы...

- Известие, сообщенное вами, - перебил еще громче Сипягин, - если оно только справедливо, в чем я имею право сомневаться, - это известие может только ускорить те меры, которые я почел бы нужным предпринять; а о чистоте моей совести я уж буду просить вас, милостивый государь, не заботиться.

- Вылощена она, брат, - ввернул опять Маркелов, - петербургский лак на нее наведен; никакая жидкость ее не берет! А ты, господин Паклин, шепчи, шепчи, сколько хочешь: не отшепчешься, шалишь!

Губернатор почел за нужное прекратить все эти пререкания.

- Я полагаю, - начал он, - что вы, господа, уже достаточно высказались, а потому, любезный барон, уведите господина Маркелова. N'est ce pas, Boris, ты не нуждаешься более...

Сипягин развел руками.

- Я сказал все, что мог!.

- И прекрасно!.. Любезный барон!..

Адъютант приблизился к Маркелову, щелкнул шпорами, сделал горизонтальное движение ручкою...

"Пожалуйте, мол!" Маркелов повернулся и пошел вон. Паклин, правда мысленно, но с горьким сочувствием и жалостью, пожал ему руку.

- А на фабрику мы пошлем наших молодцов, - продолжал губернатор. - Только вот что, Борис: мне сдается - этот барин (он указал подбородком на Паклина) тебе что-то сообщал насчет твоей родственницы... Будто она там, на той фабрике... Так как же...

- Ее арестовать, во всяком случае, нельзя, - заметил

глубокомысленно Сипягин, - может быть, она одумается и вернется. Если позволишь, я напишу ей записочку.

- Сделай одолжение. И вообще ты можешь быть уверен ... Nous cofférerons le quidam...mais nous sommes galants avec les dames...et avec celle-la donc!

- Но вы не принимаете никаких распоряжений насчет этого Соломина, жалобно воскликнул Калломейцев, который все время приникал ухом и старался вслушаться в маленькое a parte губернатора с Сипягиным. - Уверяю вас: это главный зачинщик! У меня на это нюх... такой нюх!

- Pas trop de zele, любезнейший Семен Петрович, заметил, осклабясь, губернатор. - Вспомните Талейрана! Коли что, тот от нас тоже не уйдет. Вы лучше подумайте о вашем... как... к! - И губернатор сделал знак удушения на своей шее... - Да кстати, - обратился он снова к Сипягину, - et ce gaillaard-la (он опять указал подбородком на Паклина). - Qu'en ferons-nous? На вид он не страшен.

- Отпусти его, - сказал тихо Сипягин и прибавил по-немецки: - Lassen Lumpen laufen!

Он почему-то подумал, что делает цитату из Гете, из "Геца фон Берлихингена".

- Вы можете идти, милостивый государь! - промолвил громко губернатор. - Мы более в вас не нуждаемся. До зобаченья!

Паклин отдал общий поклон и вышел на улицу, весь уничтоженный и разбитый. Боже! боже! Это презрение его доконало.

"Что же это такое? - думал он с невыразимым отчаянием, - и трус и доносчик? Да нет... нет; я честный человек, господа, - и я не совсем уже лишен всякого мужества!"

Но что за знакомая фигура торчит на крыльце губернаторского дома и смотрит на него унылым, исполненным упрека взором? Да это - старый слуга Маркелова. Он, видно, пришел за своим барином в город и не отходит прочь от его тюрьмы... Только зачем же он смотрит так на Паклина? Ведь не он же Маркелова выдал!

"И зачем я совался туда, куда мне - ни к коже, ни к роже? - думал он опять свою отчаянную думу. - Не мог сидеть смирно на своей лавочке! А теперь они говорят и, пожалуй, напишут: некто господин Паклин все рассказал, выдал их... своих друзей выдал врагам!"

Вспомнился ему тут взгляд, брошенный на него Маркеловым, вспомнились эти последние слова: "Не отшепчешься, шалишь !" - а тут эти старческие, унылые, убитые глаза! И, как сказано в Писании, он "плакася горько" и побрел себе в "оазис", к Фомушке и Фимушке, к

Снандулии...

XXXVI

Когда Марианна, в то самое утро, вышла из своей комнаты - она увидела Нежданова одетым и сидящим на диване. Одной рукой он поддерживал голову, другая бессильно и недвижимо лежала на коленях. Она подошла к нему.

- Здравствуй, Алексей... Ты не раздевался? не спал? Какой ты бледный!

Отяжелевшие веки его глаз приподнялись медленно.

- Я не раздевался, я не спал.

- Ты нездоров? или это еще след вчерашнего?

Нежданов покачал головою.

- Я не спал с тех пор, как Соломин вошел в твою комнату.

- Когда?

- Вчера вечером.

- Алексей, ты ревнуешь? Вот новость! И нашел время, когда ревновать! Он остался у меня всего четверть часа... И мы говорили об его двоюродном брате, священнике, и о том, как устроить наш брак.

- Я знаю, что он остался всего четверть часа: я видел, когда он вышел. И я не ревную, о нет! Но все-таки я не мог заснуть с тех пор.

- Отчего же?

Нежданов помолчал.

- Я все думал... думал... думал!

- О чем?

- О тебе... о нем... и о самом себе.

- И до чего же ты додумался?

- Сказать тебе, Марианна?

- Скажи.

- Я думал, что я мешаю - тебе... ему... и самому себе.

- Мне! ему! Я воображаю, что ты этим хочешь сказать, хотя ты и уверяешь, что не ревнуешь. Но: самому себе?

Марианна, во мне сидят два человека - и один не дает жить другому. Так я уж полагаю, что лучше перестать обоим жить.

- Ну, полно, Алексей, пожалуйста. Что за охота себя мучить и меня? Нам следует теперь сообразить, какиенадо принять меры... Ведь нас в покое не оставят.

Нежданов ласково взял ее за руку.

- Сядь возле меня, Марианна, и поболтаем немного, по-дружески. Пока есть время. Дай мне руку. Мне кажется, что нам не худо объясниться - хотя, говорят, всякие объяснения ведут обыкновенно

только к большей путанице. Но ты умна и добра; ты все поймешь, и чего я не доскажу - ты додумаешь. Сядь.

Голос Нежданова был очень тих, и какая-то особенная, дружеская нежность и просьба высказывались в его глазах, пристально устремленных на Марианну.

Она тотчас охотно села возле него и взяла его руку

- Ну, спасибо, моя милая, - и слушай. Я тебя долго не задержу. Я уже ночью в голове все приготовил, что я должен тебе сказать. Ну - слушай. Не думай, чтобы вчерашнее происшествие меня слишком смутило: я был, вероятно, очень смешон и немножко даже гадок; но ты, конечно, не подумала обо мне ничего дурного или низкого ... ты меня знаешь.

Я сказал, что это происшествие меня не смутило; это - неправда, это вздор... оно смутило меня, но не потому, что меня привезли домой пьяного; а потому, что оно окончательно доказало мне мою несостоятельность! И не только в том, что я не могу пить, как пьют русские люди, - а вообще! вообще! Марианна, я обязан сказать тебе, что я не верю больше в то дело, которое нас соединило, в силу которого мы вместе ушли из того дома и к которому я, говоря правду, уже охладевал, когда твой огонь согрел и зажег меня; не верю! не верю!

Он положил свою свободную руку себе на глаза и умолк на мгновенье. Марианна тоже ни слова не промолвила и потупилась... Она почувствовала, что он ей не сказал ничего нового.

- Я думал прежде, - продолжал Нежданов, отняв руку от глаз, но уже не глядя больше на Марианну, - что я в самое-то дело верю, а только сомневаюсь в самом себе, в своей силе, в своем уменье; мои способности, думал я, не соответствуют моим убеждениям... Но, видно, этих двух вещей отделить нельзя да и к чему обманываться! Нет - я в самое дело не верю. А ты веришь, Марианна?

Марианна выпрямилась и подняла голову.

- Да, Алексей, верю. Верю всеми силами души - и посвящу этому делу всю свою жизнь! До последнего дыхания!

Нежданов повернулся к ней и измерил ее всю умиленным и завидующим взглядом. - Так, так; я ждал такого ответа. Вот ты и видишь, что нам вместе делать нечего: ты сама одним ударом перерубила нашу связь.

Марианна молчала.

- Вот и Соломин, - начал снова Нежданов, - хоть и он не верит...

- Как?

- Нет! Он не верит... да это ему и не нужно; он подвигается спокойно вперед. Человек, который идет по дороге в город, не спрашивает себя: да существует ли, полно, этот город? Он идет себе да идет. Так и Соломин. И больше ничего не нужно. А я... вперед не могу; назад не хочу; оставаться на месте - томно. Кому же дерзну я предложить быть моим товарищем? Знаешь поговорку: один под один конец, другой под другой - и пошло дело на лад? А коли один не сможет нести - как быть другому?

- Алексей, - промолвила нерешительно Марианна, - ты, мне кажется, преувеличиваешь. Мы ведь любим друг друга.

Нежданов глубоко вздохнул.

- Марианна... Я преклоняюсь перед тобою... а ты жалеешь меня - и каждый из нас уверен в честности другого: вот настоящая правда! А любви между нами нет.

- Но постой, Алексей, что ты говоришь! Ведь сегодня же, сейчас, за нами явится погоня... Ведь нам надобно уходить вместе, а не расставаться.

- Да; и ехать к попу Зосиме, чтобы он нас обвенчал, по предложению Соломина. Я хорошо знаю, что в твоих глазах этот брак не что иное, как паспорт, как средство избегнуть полицейских затруднений... но все-таки он некоторым образом обязывает... к житию вместе, рядом... или если не обязывает, то, по крайней мере, предполагает желание жить вместе.

- Что ж это, Алексей? Ты здесь останешься?

У Нежданова чуть было не сорвалось с языка: "Да" - но он одумался и промолвил:

- Н... н... нет.

- В таком случае ты удалишься отсюда не туда, куда я.

Нежданов крепко пожал ее руку, которая все еще лежала на его руке.

- Оставить тебя без покровителя, без защитника было бы преступно - и я этого не сделаю, как я ни плох. У тебя будет защитник... Не сомневайся в том!

Марианна нагнулась к Нежданову - и, заботливо приблизив свое лицо к его лицу, старалась заглянуть ему в глаза, в душу - в самую душу.

- Что с тобой, Алексей? Что у тебя на сердце? Скажи !.. Ты меня беспокоишь. Твои слова так загадочны, так странны... И лицо твое! Я никогда не видала у тебя такого лица!

Нежданов тихонько отклонил ее и тихонько поцеловал у ней руку.

На этот раз она не противилась - и не засмеялась, и все продолжала заботливо и тревожно глядеть на него.

- Не беспокойся, пожалуйста! Тут ничего страшного нет. Вся беда моя вот в чем. Маркелова, говорят, мужики побили; он отведал их кулаков, они помяли ему бока... Меня мужики не били, они даже пили со мною, пили мое здоровье... но душу они мою помяли, хуже чем бока у Маркелова. Я был рожден вывихнутым... хотел себя вправить, да еще хуже себя вывихнул. Вот именно то, что ты замечаешь на моем лице.

- Алексей, - медленно промолвила Марианна, - тебе было бы грешно не быть откровенным со мною.

Он стиснул свои руки.

- Марианна, все мое существо перед тобою как на ладони; и что бы я ни сделал, говорю тебе наперед: в сущности, ничему, ничему ты не удивишься!

Марианна хотела попросить объяснения этих слов, однако не попросила... притом в это мгновенье в комнату вошел Соломин.

Движенья его были быстрей и резче обыкновенного. Глаза прищурились, широкие губы сжались, все лицо как будто заострилось и приняло выражение сухое, твердое и несколько грубое.

- Друзья мои, - начал он, - я пришел вам сказать, что мешкать нечего. Собирайтесь... ехать вам пора. Через час надо вам быть готовыми. Надо вам ехать венчаться. От Паклина нет никакого известия; лошадей его сперва задержали в Аржаном, а потом прислали назад... Он остался там. Вероятно, его увезли в город. Он, конечно, не донесет, но бог его знает, разболтает, пожалуй. Да и по лошадям могли узнать. Мой двоюродный предупрежден. Павел с вами поедет. Он и свидетелем будет.

- А вы... а ты? - спросил Нежданов. - Разве ты не поедешь? Я вижу, ты одет по-дорожному, - прибавил он, указав глазами на высокие болотные сапоги, в которых пришел Соломон.

- Это я... так... на дворе грязно.

- Но отвечать ты за нас ведь не будешь?

- Не полагаю... во всяком случае - это уж мое дело. Итак, через час. Марианна, Татьяна желает вас видеть. Она что-то там приготовила.

- А! Да! Я и сама хотела к ней идти...

Марианна направилась к двери...

На лице Нежданова изобразилось нечто странное, нечто вроде испуга, тоски...

- Марианна, ты уходишь? - промолвил он внезапно упавшим

голосом.

Она остановилась.

- Я через полчаса вернусь. Мне уложиться недолго.

- Да; но подойди ко мне...

- Изволь; зачем?

- Мне еще раз хочется взглянутъ на тебя. - Он посмотрел на нее долгим взором. - Прощай, прощай, Марианна ! - Она изумилась. - То бишь... Что это я? Это я так... сболтнул. Ты ведь через полчаса вернешься? Да?

- Конечно.

- Ну, да... да... Извини. У меня в голове путаница от бессонницы. Я тоже сейчас... уложусь.

Марианна вышла из комнаты. Соломин хотел было пойти за ней.

Нежданов остановил его:

- Соломин!

- Что?

- Дай мне руку. Надо ж мне поблагодарить тебя за твое гостеприимство.

Соломин усмехнулся.

- Вот что вздумал! - Однако подал ему руку.

- И вот еще что, - продолжал Нежданов, - если со мной что случится, могу я надеяться на тебя, что ты не оставишь Марианну?

-Твою будущую жену?

- Ну да, Марианну.

- Во-первых, я уверен, что с тобой ничего не случится; а во-вторых, ты можешь быть спокоен: Марианна мне так же дорога, как и тебе.

- О! Я это знаю... знаю... знаю! Ну и прекрасно. И спасибо. Так через час?

- Через час.

- Я буду готов. Прощай!

Соломин вышел и догнал Марианну на лестнице. Он намеревался ей сказать что-то насчет Нежданова, да промолчал. И Марианна, с своей стороны, поняла, что Соломин намеревался ей что-то сказать - и именно насчет Нежданова - и что он промолчал. И она промолчала тоже.

XXXVII

Как только Соломин вышел, Нежданов мгновенно вскочил с дивана, прошелся раза два из одного угла в другой, потом постоял с минуту в каком-то каменном раздумье посреди комнаты; внезапно встрепенулся, торопливо сбросил с себя свой "маскарадный" костюм,

отпихнул его ногою в угол, достал и надел свое прежнее платье. Потом он подошел к трехногому столику, вынул из ящика две запечатанные бумажки и еще какой-то небольшой предмет, сунул его в карман, а бумажки оставил на столе.

Потом он присел на корточки перед печкой, отворил заслонку... В печке оказалась целая груда пепла. Это было все, что оставалось от бумаг Нежданова, от заветной тетрадки... Он сжег все это в течение ночи. Но тут же в печке, сбоку, прислоненный к одной из стенок, находился портрет Марианны, подаренный ему Маркеловым. Видно, у него не хватило духа сжечь и этот портрет! Нежданов бережно вынул его и положил на стол рядом с запечатанными бумажками.

Потом он решительным движением руки сгреб свою фуражку и направился было к двери... но остановился, вернулся назад и вошел в комнату Марианны. Там он постоял с минуту, оглянулся кругом и, приблизившись к ее узенькой кроватке, нагнулся - и с одиночным немым рыданьем приник губами не к изголовью, а к ногам постели ... Потом он разом выпрямился - и, надвинув фуражку на лоб, бросился вон.

Ни с кем не встретившись ни в коридоре, ни на лестнице, ни внизу, Нежданов проскользнул в палисадник. День был серый, небо висело низко, сырой ветерок шевелил верхушки трав и качал листья деревьев; фабрика стучала и шумела меньше, чем о ту же пору в другие дни; с двора ее несло запахом угля, дегтя, сала. Зорко и подозрительно оглянулся Нежданов и пошел прямо к той старой яблоне, которая привлекла его внимание в самый день его приезда, когда он в первый раз выглянул из окна своей квартирки. Ствол этой яблони оброс сухим мохом; шероховатые обнаженные сучья, с кое-где висевшими красноватыми листьями, искривленно поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук. Нежданов стал твердой ногою на темную землю, окружавшую корень яблони, и вынул из кармана тот небольшой предмет, который находился в ящике стола. Потом он внимательно посмотрел на окна флигелька...

"Если кто-нибудь меня увидит в эту минуту, - подумал он, - тогда, быть может, я отложу..." Но нигде не показалось ни одного человеческого лица... точно все вымерло, все отвернулось от него, удалилось навсегда, оставило его на произвол судьбы. Одна фабрика глухо гудела и воняла, да сверху стали сеяться мелкие, иглистые капли холодного дождя.

Тогда Нежданов, взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно-слепое и мокрое небо,

зевнул, пожался, подумал: "Ведь ничего другого не осталось, не назад же в Петербург, в тюрьму", сбросил фуражку долой и, заранее ощутив во всем теле какую-то слащавую, сильную, томительную потяготу, приложил к груди револьвер, дернул пружину курка...

Что-то разом толкнуло его, даже не слишком сильно... но он уже лежал на спине и старался понять: что с ним и как он сейчас видел Татьяну?.. Он даже хотел позвать ее, сказать: "Ах, не надо!" - но вот уже он весь , онемел, и над лицом его, в глазах, на лбу, в мозгу завертелся мутно-зеленый вихрь - и что-то страшно тяжелое и плоское придавило его навсегда к земле.

Татьяна недаром померещилась Нежданову; в ту самую минуту, как он спустил курок револьвера, она подошла к одному из окон флигелька и свидела его под яблонью. Не успела она подумать: "Что это он в такую погоду торчит под яблонью, простоволосый?" - как он повалился навзничь, точно сноп. Выстрела она не слыхала - звук его был очень слаб, - но тотчас почуяла что-то недоброе и опрометью бросилась вниз, в палисадник...

Она добежала до Нежданова... "Алексей Дмитрич, что с вами?" Но уже им овладела темнота. Татьяна нагнулась к нему, увидала кровь...

- Павел! - закричала она не своим голосом. - Павел!

Несколько мгновений спустя Марианна, Соломин, Павел и еще двое фабричных уже были в палисаднике. Нежданова тотчас подняли; понесли во флигель и положили на тот самый диван, на котором он провел свою последнюю ночь.

Он лежал на спине, с полузакрытыми недвижными глазами, с посинелым лицом, хрипел протяжно и туго, изредка всхлипывая и как бы давясь. Жизнь еще не покинула его. Марианна и Соломин стояли по обеим сторонам дивана, оба почти такие же бледные, как и сам Нежданов. Поражены, потрясены, уничтожены были оба - особенно Марианна, - но не изумлены. "Как мы этого не предвидели?" думалось им; и в тоже время им казалось, что они... да, они это предвидели. Когда он сказал Марианне: "Что бы я ни сделал, говорю тебе наперед: ничему ты не удивишься", - и еще когда он говорил о тех двух человеках, которые в нем ужиться не могут, - разве не шевельнулось в ней нечто вроде смутного предчувствия?

Почему же она не остановилась тотчас и не вдумалась и в эти слова, и в это предчувствие? Отчего она теперь не смеет взглянуть на Соломина, как будто он ее сообщник... как будто и он ощущает угрызения совести? Отчего ей не только бесконечно, до отчаяния жаль Нежданова, но как-то страшно и жутко - и совестно? Может быть, от

нее зависело его спасти? Отчего они оба не смеют произнести слова? Почти не смеют дышать - и ждут... Чего? Боже мой!

Соломин послал за доктором, хотя, конечно, надежды не было никакой. На маленькую, уже почерневшую, бескровную рану Нежданова Татьяна положила большую губку с холодною водой, намочила его волосы тоже холодной водою с уксусом. Вдруг Нежданов перестал хрипеть и пошевельнулся.

- Приходит в память, - прошептал Соломин.

Марианна стала на колени возле дивана... Нежданов взглянул на нее... до того времени его глаза были недвижны, как у всех умирающих.

- А я еще... жив, - проговорил он чуть слышно. - И тут не сумел... задерживаю вас.

- Алеша, - простонала Марианна.

- Да вот... сейчас... Помнишь, Марианна, в моем... стихотворении... "Окружи меня цветами"... Где же цветы?.. Но зато ты тут... Там, в моем письме...

Он вдруг затрепетал весь.

- Ох, вот она... Дайте оба... друг другу... руки - при мне... Поскорее... дайте...

Соломин схватил руку Марианны. Голова ее лежала на диване, лицом вниз, возле самой раны.

Сам Соломин стоял прямо и строго, сумрачный как ночь.

- Так... хорошо... так...

Нежданов опять начал всхлипывать, но как-то уж очень необычно... Грудь выставилась, бока втянулись...

Он явно пытался положить свою руку на их соединенные руки, но его руки уже были мертвы.

- Отходит, - шепнула Татьяна, стоявшая у двери, и стала креститься.

Всхлипыванья стали реже, короче... Он еще искал взором Марианну... но какая-то грозная белесоватость уже заволакивала изнутри его глаза...

"Хорошо"... - было его последним словом.

Его не стало... а соединенные руки Соломина и Марианны все еще лежали на его груди.

Вот что писал он в двух оставленных им коротких записках. Одна была адресована Силину и содержала всего несколько строк:

"Прощай, брат, друг, прощай! Когда ты получишь этот клочок - меня уже не будет. Не спрашивай, как, почему - и не сожалей; знай,

что мне теперь лучше. Возьми ты нашего бессмертного Пушкина и прочти в "Евгении Онегине" описание смерти Ленского. Помнишь: "Окна мелом забелены; хозяйки нет" и т.д. Вот и все. Сказать мне тебе нечего... оттого, что слишком много пришлось бы говорить, а времени нет. Но я не хотел уйти, не уведомив тебя; а то ты бы думал обо мне, как о живом, и я согрешил бы перед нашей дружбой. Прощай; живи. Твой друг А. Н."

Другое письмо было несколько длиннее. Оно было адресовано на имя Соломина и Марианны. Вот что стояло в нем:

"Дети мои!

(Тотчас после этих слов был перерыв; что-то было зачеркнуто или скорее замарано; как будто слезы брызнули тут.)

Вам, быть может, странно, что я вас так величаю, я сам почти ребенок - и ты, Соломин, конечно, старше меня. Но я умираю - и, стоя на конце жизни, гляжу на себя как на старика. Я очень виноват пред вами обоими, особенно пред тобой, Марианна, - в том, что причиняю вам такое горе (я знаю, Марианна, ты будешь горевать) - и доставил вам столько беспокойства. Но что было делать?

Я другого выхода не нашел. Я не умел опроститься; оставалось вычеркнуть себя совсем. Марианна, я был бы бременем и для себя, и для тебя. Ты великодушная - ты бы обрадовалась этому бремени, как новой жертве... но я не имел права налагать на тебя эту жертву: у тебя есть лучшее и большее дело. Дети мои, позвольте мне соединить вас как бы загробной рукою. Вам будет хорошо вдвоем. Марианна, ты окончательно полюбишь Соломина - а он... он тебя полюбил, как только увидел тебя у Сипягиных. Это не осталось для меня тайной, хотя мы несколько дней спустя бежали с тобою. Ах, то утро! Какое оно было славное, свежее, молодое! Оно представляется мне теперь как знамение, как символ вашей двойной жизни - твоей и его; и я только случайно находился тогда на его месте. Но пора кончить; я не желаю тебя разжалобить... я желаю только оправдаться. Завтра будут несколько очень тяжелых минут... Но что же делать? Другого выхода ведь нет? Прощай, Марианна, моя хорошая, честная девушка! Прощай, Соломин! Поручаю тебе ее. Живите счастливо - живите с пользой для других; а ты, Марианна, вспоминай обо мне только, когда будешь счастлива.

Вспоминай обо мне, как о человеке тоже честном и хорошем, но которому было как-то приличнее умереть, нежели жить. Любил ли я тебя любовью - не знаю, милый друг, но знаю, что сильнее чувства я никогда не испытал и что мне было бы еще страшнее умереть, если б я

не уносил такого чувства с собой в могилу. Марианна! Если ты встретишь когда-нибудь девушку, Машурину по имени, - Соломин ее знает, впрочем и ты, кажется, ее видела, - скажи ей, что я с благодарностью вспомнил о ней незадолго перед кончиной... Она уж поймет.

Надо ж, однако, оторваться. Я сейчас выглянул из окна: среди быстро мчавшихся туч стояла одна прекрасная звезда. Как быстро они ни мчались - они не могли ее закрыть. Эта звезда напомнила мне тебя, Марианна! В это мгновенье ты спишь в соседней комнате - и ничего не подозреваешь... Я подошел к твоей двери, приложил ухо и, казалось, уловил твое чистое, спокойное дыхание... Прощай! прощай! прощайте, мои дети, мои друзья !

Ваш А.

Ба, ба, ба! как же это я в предсмертном письме ничего не сказал о нашем великом деле? Знать, потому, что перед смертью лгать уже не приходится... Марианна, прости мне эту приписку... Ложь была во мне - а не в том, чему ты веришь!

Да вот еще что: ты, быть может, подумаешь, Марианна: он испугался тюрьмы, в которую его непременно засадили бы, и нашел это средство ее избегнуть? Нет: тюрьма еще не важность; но сидеть в тюрьме за дело, в которое не веришь, - это уже никуда не годится. И я кончаю с собою - не из страха тюрьмы. Прощай, Марианна! Прощай, моя чистая, нетронутая!" Марианна и Соломин поочередно прочли это письмо. Потом она положила и портрет свой, и обе бумажки к себе в карман - и осталась неподвижной.

Тогда Соломин сказал ей:

- Все готово, Марианна; поедем. Надо исполнить его волю.

Марианна приблизилась к Нежданову, прикоснулась устами к его уже похолодевшему лбу - и, обернувшись к Соломину, сказала:

- Поедем.

Он взял ее за руку - и оба вышли из комнаты. Когда, несколько часов спустя, полиция нагрянула на фабрику, она, конечно, нашла Нежданова - но уже трупом. Татьяна опрятно убрала его, положила ему под голову белую подушку, скрестила его руки, поставила даже букет цветов возле него на столик.

Павел, получивший все нужные инструкции, принял полицейских чиновников с величайшим подобострастием и таковым же глумлением, - так что те не знали, благодарить ли его или тоже арестовать. Он рассказал обстоятельно, как происходило дело самоубийства, накормил их швейцарским сыром, напоил мадерой; но

насчет настоящего местопребывания Василия Федотыча и приезжей барышни отозвался совершенным неведеньем и только ограничился увереньем, что Василий, мол, Федотыч никогда долго в отсутствии не пребывает - потому дела; что он не нынче - завтра вернется и тогда тотчас, минуточки не теряя, даст о том знать в город. Человек он на это аккуратный.

Так господа чиновники и отъехали ни с чем, приставив сторожей к телу и обещавшись прислать судебного следователя.

XXXVIII

Через два дня после всех этих происшествий на двор к "складному" попу Зосиме въехала тележка, в которой сидели мужчина и женщина, уже известные нам, и на другой же день после их приезда они сочетались браком. Вскоре потом они исчезли - и добрый Зосима нисколько не горевал о том, что он сделал.

На фабрике, оставленной Соломиным, оказалось письмо; адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павлом; в нем отдавался полный и точный отчет о положении дел (оно было блестящее) и выпрашивался трехмесячный отпуск. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, из чего можно было заключить, что Соломин уже тогда считал нужным уехать с ним и с Марианной и скрыться на время. Следствие, произведенное по поводу самоубийства, ничего не открыло. Труп похоронили; Сипягин прекратил всякое дальнейшее искание своей племянницы.

А месяцев девять спустя судили Маркелова. Он и на суде держал себя так же, как перед губернатором: спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась - но не от малодушия: тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал; его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение: покорности судьбе и твердости; а его короткие, но прямые и правдивые ответы возбуждали в самих его судьях чувство, похожее на сострадание.

Даже крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали против него, даже они разделяли это чувство и говорили о нем, как о барине "простом" и добром. Но вина его была слишком явна; избегнуть наказания он не мог и, казалось, сам принял это наказание как должное. Из остальных его, впрочем немногочисленных, соучастников - Машурина скрылась; Остродумов был убит одним мещанином, которого он подговаривал к восстанию и который "неловко" толкнул его; Голушкина, за его "чистосердечное раскаяние" (он чуть с ума не

сошел от ужаса и тоски), подвергли легкому наказанию; Кислякова продержали с месяц под арестом, а потом выпустили и даже не препятствовали ему снова "скакать" по губерниям; Нежданова избавила смерть; Соломина, за недостатком улик, оставили в некотором подозрении - и в покое. (Он, впрочем, не уклонился от суда и явился в срок.) О Марианне не было и речи... Паклин окончательно вывернулся; да на него и не обратили особенного внимания..

Прошло года полтора. Настала зима 1870 года. В Петербурге, в том самом Петербурге, где тайный советник в камергер Сипягин готовился играть значительную роль, где его жена покровительствовала всем искусствам, давала музыкальные вечера и устраивала дешевые кухни, а г. Калломейцев считался одним из надежнейших чиновников своего министерства, - по одной из линий Васильевского острова шел, ковыляя и слегка переваливаясь, маленький человек в скромном пальто с кошачьим воротником.

То был Паклин. Он порядком изменился в последнее время: в концах висков, выдававшихся из-под краев меховой шапки, виднелось несколько серебряных нитей. Навстречу ему двигалась по тротуару дама довольно полная, высокого роста, плотно закутанная в темный суконный плащ.

Паклин бросил на нее рассеянный взгляд, прошел мимо... потом вдруг остановился, задумался, расставил руки и, с живостью обернувшись и нагнав ее, взглянул ей под шляпку в лицо.

- Машурина? - промолвил он вполголоса.

Дама величественно измерила его взором и, не сказав слова, пошла дальше.

- Милая Машурина, я вас узнал, - продолжал Паклин, ковыляя с нею рядом, только вы, пожалуйста, не бойтесь. Ведь я вас не выдам - я слишком рад, что встретил вас! Я Паклин, Сила Паклин, знаете, приятель Нежданова ... Зайдите ко мне; я живу в двух шагах отсюда... Пожалуйста.

- Ио соно контесса Рокко ди Санто-Фиуме! - отвечала дама низким голосом, но с удивительно чистым русским акцентом.

- Ну что контесса....какая там контесса... Зайдите, поболтаемте.

- Да где вы живете? - спросила вдруг по-русски итальянская графиня. - Мне некогда.

- Я живу здесь, в этой линии, вот мой дом, тот серый, трехэтажный. Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мною! Дайте мне руку, пойдемте. Давно ли вы здесь? И почему вы графиня? Вышли замуж за какого-нибудь итальянского конте?

Машурина ни за какого конте не выходила; ее снабдили паспортом, выданным на имя некоей графини Рокко ди Санто-Фиуме, недавно перед тем умершей, - и она с ним преспокойно отправилась в Россию, хотя ни слова не понимала по-итальянски и имела лицо самое русское.

Паклин привел ее в свою скромную квартиру. Горбатая сестра, с которой он жил, вышла навстречу гостье из-за перегородки, отделявшей крохотную кухню от такой же передней.

- Вот, Снапочка, - промолвил он, -рекомендую, большая моя приятельница; дай-ка нам поскорее чаю.

Машурина, которая не пошла бы к Паклину, если б он не упомянул имени Нежданова, сняла шляпу с головы - и, поправивши своей мужественной рукой свои по-прежнему коротко остриженные волосы, поклонилась и села молча. Она так вовсе не изменилась; даже платье на ней было то же самое, как и два года тому назад, но в глазах ее установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нечто трогательное обычно суровому выражению ее лица.

Снандулия побежала за самоваром, а Паклин поместился против Машуриной, слегка похлопал ее по колену и понурил голову; а когда хотел заговорить, принужден был откашляться: голос его прервался, и слезинки сверкнули на глазах. Машурина сидела неподвижно и прямо, не прислоняясь к спинке стула, и угрюмо смотрела в сторону.

- Да, да, - начал Паклин, - были дела! Гляжу на вас и вспоминаю... многое и многих. Мертвых и живых. Вот и мои переклитки умерли... да вы их, кажется, не знали; и обе, как я предсказывал, в один день. Нежданов... бедный Нежданов!.. Вы ведь, вероятно, знаете...

- Да, знаю, - промолвила Машурина, все так же глядя в сторону.

- И об Остродумове тоже знаете?

Машурина только кивнула головою. Ей хотелось, чтобы он продолжал говорить о Нежданове, но она не решилась просить его об этом. Он ее понял и так.

- Я слышал, что он в своем предсмертном письме упомянул о вас. Правда это?

Машурина не тотчас отвечала.

- Правда, - произнесла она наконец.

- Чудесный был человек! Только не в свою колею попал! Он такой же был революционер, как и я! Знаете, кто он, собственно, был? Романтик реализма! Понимаете ли вы меня?

Машурина бросила быстрый взгляд на Паклина. Она его не поняла - да и не хотела дать себе труд его понять. Ей показалось неуместным и странным, что он осмеливается приравнивать себя к Нежданову, но

она подумала: "Пускай хвастается теперь". (Хоть он вовсе не хвастался - а скорей, по его понятиям, принижал себя.)

- Меня тут отыскал некто Силин, - продолжал Паклин, - Нежданов тоже писал к нему перед смертью. Так вот он, этот самый Силин, просил: нельзя ли найти какие-нибудь бумаги покойного? Но Алешины вещи были опечатаны... да и бумаг там не было; он все сжег - и стихи свои сжег. Вы, может быть, не знали, что он стихи писал? Мне их жаль; я уверен - иные должны были быть очень недурны. Все это исчезло вместе с ним - все попало в общий круговорот - и замерло навеки! Только что у друзей осталось воспоминание, пока они сами не исчезнут в свою очередь!

Паклин помолчал.

- Зато Сипягины, - подхватил он снова, - помиите, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы - они теперь наверху могущества и славы! Машурина вовсе не "помнила" Сипягиных; но Паклин так их ненавидел обоих особенно его, - что не мог отказать себе в удовольствии их "продернуть". Говорят, у них в доме такой высокий тон! Все о добродетели толкуют!! Только я заметил: если где слишком много толкуют о добродетели - это все равно, как если в комнате у больного слишком накурено благовониями: наверно, пред этим совершилась какая-нибудь тайная пакость! Подозрительно это! Бедного Алексея они погубили, эти Сипягины!

- Что Соломин? - спросила Машурина. Ей вдруг перестало хотеться слышать что-нибудь от этого о нем!

- Соломин! - воскликнул Павлин. - Этот молодцом вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел. Там был один... голова, говорят, бедовая! Павлом его звали... так и того увел. Теперь, говорят, свой завод имеет - небольшой - где-то там, в Перми, на каких-то артельных началах. Этот дела своего не оставит! Он продолбит! Клюв у него тонкий - да и крепкий зато. Он - молодец! А главное: он не внезапный исцелитель общественных ран. Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь - и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей?

Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! только, батюшка, рви зуб!! Это все - леность, вялость, недомыслие. А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает - он молодец!

Машурина сделала знак рукою, как бы желая сказать, что "этого, стало быть, похерить надо".

- Ну, а та девушка, - спросила она, - я забыла ее имя, которая тогда с ним - с Неждановым - ушла?

- Марианна? Да она теперь этого самого Соломина жена. Уж больше года, как она за ним замужем. Сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала. Да-а.

Машурина опять сделала тот же знак рукою.

Бывало, она ревновала Нежданова к Марианне; а теперь она негодовала на нее за то, что как могла она изменить его памяти?!

- Чай, ребенок уже есть, - прибавила она с пренебрежением.

- Может быть, не знаю. Но куда же вы, куда? - прибавил Паклин, видя, что она берется за шляпу. - Подождите; Снапочка нам сейчас чаю подаст.

Ему не столько хотелось удержать собственно Машурину, сколько не упустить случая высказать все, что накопилось и накипело у него на душе. С тех пор, как Паклин вернулся в Петербург, он видел очень мало людей, особенно молодых. История с Неждановым его напугала, он стал очень осторожен и чуждался общества, - и молодые люди, с своей стороны, поглядывали на него подозрительно.

Один так даже прямо в глаза обругал его доносчиком. С стариками он сам неохотно сближался; вот ему и приходилось иногда молчать по неделям. Перед сестрой он не высказывался; не потому, чтобы воображал ее не способной его понять, - о нет! Он высоко ценил ее ум... Но с ней надо было говорить серьезно и вполне правдиво: а как только он пускался "козырять" или "запускать брандер" - она тотчас принималась глядеть на него каким-то особенным, внимательным и соболезнующим взглядом, и ему становилось совестно. Но скажите, возможно ли обойтись без легкой "козырки"? Хоть с двойки - да козыряй! Оттого-то и жизнь в Петербурге начала становиться тошна Паклину, и он уже думал, как бы перебраться в Москву, что ли? Разные соображения, измышления, выдумки, смешные или злые слова набирались в нем, как вода на запертой мельнице... Заставок нельзя было поднимать: вода делалась стоячей и портилась. Машурина подвернулась... Вот он и поднял заставки и заговорил, заговорил...

Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей России! Никому и ничему не было ни малейшей пощады!

Машурину все это занимало весьма умеренно; но она не возражала и не перебивала его... а ему больше ничего не требовалось.

- Да-с, - говорил он, - веселое наступило времечко, доложу вам! В обществе застой совершенный; все скучают адски! В литературе пустота - хоть шаром покати!

В критике... если молодому передовому рецензенту нужно сказать, что "курице свойственно нести яйца", - подавай ему целых двадцать страниц для изложения этой великой истины - да и то он едва с нею сладит! Пухлы эти господа, доложу вам, как пуховики, размазисты, как тюря, и с пеной у рта говорят общие места! В науке... ха-ха-ха! ученый Кант есть и у нас; только на воротниках инженеров! В искусстве то же самое! Не угодно ли вам сегодня пойти в концерт? Услышите народного певца Агремантского... Большим успехом пользуется... А если бы лещ с кашей - лещ с кашей, говорю вам, был одарен голосом, то он именно так бы и пел, как этот господин! И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный Аристарх, его хвалит! Это, мол, не то, что западное искусство! Он же и наших паскудных живописцев хвалит! Я, мол, прежде сам приходил в восторг от Европы, от итальянцев; а услышал Россини и подумал "Э! э!"; увидел Рафаэля - "Э! э!.." - и этого Э! э! нашим молодым людям совершенно; достаточно; и они за Скоропихиным повторяют: "Э! э!" - и довольны, представьте! А в то же время народ бедствует страшно, подати его разорили вконец, и

только та и совершилась реформа, что все мужики картузы надели, а бабы бросили кички... А голод! А пьянство А кулаки!

Но тут Машурина зевнула - и Павлин понял, что надо переменить разговор.

- Вы мне еще не сказали, - обратился он к ней где вы эти два года были, и давно ли приехали, и что делали, и каким образом превратились в итальянку и почему ...

- Вам все это не следует знать, - перебила Машурина, - к чему? Ведь уж это теперь не по вашей части. Паклина как будто что-то кольнуло, и он, чтоб скрыть свое смущение, посмеялся коротеньким, натянутым смехом.

- Ну как угодно, - промолвил он, - я знаю, я в глазах нынешнего поколения человек отсталый; да и точно, я уже не могу считаться... в тех рядах... - Он не закончил своей фразы. - Вот нам Снапочка чай несет... Вы выкушайте чашечку да послушайте меня... Может быть, в моих словах будет что-нибудь интересное для вас.

Машурина взяла чашку, кусочек сахару и принялась пить вприкуску.

Паклин рассмеялся уже начисто.

- Хорошо, что полиции здесь нет, а то итальянская графиня... как, бишь?

- Рокко ди Санто-Фиуме, - с невозмутимой важностью проговорила Машурина, втягивая в себя горячую струю.

- Рокко ди Санто-Фиуме, - повторил Паклин, - и пьет вприкуску чай! Уж очень неправдоподобно! Полиция сейчас возымела бы подозрения.

- Ко мне и то на границе, - заметила Машурина, - приставал какой-то в мундире; все расспрашивал; я уж и не вытерпела: "Отвяжись ты от меня, говорю, ради бога!"

- Вы это по-итальянски ему сказали?

- Нет, по-русски.

- И что же он?

- Что? Известно, отошел!

- Браво! - воскликнул Паклин. - Ай да контесса! Еще чашечку! Ну так вот что я хотел вам сказать. Вы вот о Соломине отозвались сухо. А знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он - они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусить, а они - настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это - не герои; это даже не те "герои труда", о которых какой-то чудак - американец или англичанин - написал книгу для назидания нас, убогих; это - крепкие, серые, одноцветные,

народные люди. Теперь только таких и нужно!

Вы смотрите на Соломина: умен - как день, и здоров - как рыба... Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием - так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, - и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат и все тело повинуется как следует... значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом - и без фразы; образованный - и из народа; простой - и себе на уме... Какого вам еще надо?

- И вы не глядите на то, - продолжал Паклин, приходя все более и более в азарт и не замечая, что Машурина его уже давно не слушала и опять уставилась куда-то в сторону, - не глядите на то, что у нас теперь на Руси всякий водится народ: и славянофилы, и чиновники, и простые, и махровые генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чудаки (знавал же я одну барыню, Хавронью Прыщову по имени, которая вдруг с бухта-барахта сделалась легитимисткой и уверяла всех, что когда она умрет, то стоит только вскрыть ее тело - и на сердце ее найдут начертанным имя Генриха Пятого... Это у Хавроньи Прыщовой-то!). Не глядите на все это, моя почтеннейшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога - там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины! Вспомните, кагда я это говорю вам, - зимой тысяча восемьсот семидесятого года, когда Германия собирается уничтожить Францию... когда...

- Силушка, - послышался за спиной Паклина тихий голосок Снандулии, - мне кажется, в твоих рассуждениях о будущем ты забываешь нашу религию и ее влияние... И к тому же, - поспешно прибавила она, - госпожа Машурина тебя не слушает... Ты бы лучше предложил ей еще чашку чаю.

Паклин спохватился.

- Ах да, моя почтенная, - не хотите ли вы в самом деле?..

Но Машурина медленно перевела на него свои темные глаза и задумчиво промолвила:

- Я хотела спросить у вас, Паклин, нет ли у вас какой-нибудь записки Нежданова - или его фотографии?

- Есть фотография... есть; и, кажется, довольно хорошая. В столе. Я сейчас отыщу вам ее.

Он стал рыться у себя в ящике, а Снандулия подошла к Машуриной и с участием, долго и пристально посмотрев на нее, пожала ей руку - как собрату.

- Вот она! Нашел! - воскликнул Паклин и подал фотографию.

Машурина быстро, почти не взглянув на нее и не сказав спасибо, но покрасневши вся, сунула ее в карман, надела шляпу и направилась к двери.

- Вы уходите? - промолвил Паклин. - Где вы живете, по крайней мере?

- А где придется.

- Понимаю; вы не хотите, чтоб я об этом знал. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы все по приказанию Василия Николаевича действуете?

- На что вам знать?

- Или, может, кого другого, - Сидора Сидорыча?

Машурина не отвечала.

- Или вами распоряжается безымянный какой?

Машурина уже перешагнула порог.

- А может быть, и безымянный!

Она захлопнула дверь.

Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью.

"Безымянная Русь!" - сказал он наконец.

1877